

**НОВЫЙ  
Журнал**

**152**

**THE NEW  
REVIEW**

**THE  
NEW REVIEW**  
**Новый Журнал**

---

*Основатели — М. Алданов и М. Цетлин — 1942*  
*С 1946 по 1959 редактор М. Карпович*  
*С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев*  
*С 1966 по 1975 редактор Роман Гуль*  
*С 1975 по 1976 редакция: Р. Гуль (главный редактор),*  
*Г. Андреев, Л. Ржевский*

*Сорок второй год издания*

РЕДАКЦИЯ: РОМАН ГУЛЬ И Е. Л. МАГЕРОВСКИЙ  
СЕКРЕТАРЬ: ЗОЯ ЮРЬЕВА

NEW REVIEW. SEPTEMBER 1983

*Quarterly No. 152*

NEW REVIEW (ISSN 596680) is published quarterly by New Review Inc., 2700 Broadway, New York, NY 10025. Second Class postage paid at New York, N.Y. POSTMASTER: Send address changes to the New Review, 2700 Broadway, New York, N.Y. 10025.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>Р. Гуль</i> — Я унес Россию. Т. 2. Россия во Франции .....	5
<i>И. Чиннов</i> — Стихи .....	65
<i>П. Палий</i> — Оловянные солдатики. Глава из романа .....	68
<i>М. Волкова</i> — Два стихотворения .....	108
<i>Ю. Кашкаров</i> — Тем летом в Тарусе .....	109
<i>Л. Владимирова</i> — Стихи .....	117
<i>В. Кудрявцев</i> — Дома и в лодке с Леонидом Зуровым .....	118
<i>Ю. Иваск</i> — Образы России в мире Марины Цветаевой .....	131
<i>Ю. Зорин</i> — Сергей Голлербах: Приобщение к жизни .....	141

## ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ

Переписка <i>И. А. Бунина</i> с <i>М. А. Алдановым</i> . Публикация <i>А. Зверса</i> .....	153
<i>М. Шапиро</i> — Женский концлагерь .....	192

## ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА

<i>А. Федосеев</i> — "Спаситель" Андропов .....	226
<i>А. Авторханов</i> — Убил ли Сталин Ленина? .....	240
<i>И. Мацкевич</i> — Победа провокации .....	260
<i>А. Солженицын</i> — Ответное слово при получении премии .....	274
<i>Игум. Г. Эйкалович</i> — О некоторых месснианских мотивах у <i>С. Н. Булгакова</i> .....	284

## СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

<i>А. Иванов</i> — Письмо в редакцию .....	301
--------------------------------------------	-----

Printed in U.S.A. by Computoprint Corporation •  
335 Clifton Avenue • Clifton, New Jersey 07011

# Я УНЕС РОССИЮ

## Т. 2. РОССИЯ ВО ФРАНЦИИ

### Монпарнас

С юности (по книгам) я, конечно, знал, что в Париже (каким невероятным представлялся из Пензы Париж!) среди прочих "чудес" есть Монмартр и Монпарнас. Там общаются знаменитые художники, писатели, "бьет" какая-то особая, сверхъестественная жизнь всемирной богемы. Но тогда в Пензе я никак не мог бы себе представить, что русская революция, бросая меня из страны в страну, сделает меня и "парижанином", выбросив именно почти что на самый Монпарнас.

Тутже после нашего вселения с Олечкой на рю Олье 16, я, конечно же пошел на эту самую всесветную знаменитость — на Монпарнас. Прошел рю де Вожирар, возле которой жил, свернул на Бульвар Пастёр, а с него — вот он, и батюшка Бульвар Монпарнас! И я уже на всемирно знаменитом пупе земли — на Монпарнасе, как раз на пересечении бульвара Распай и бульвара Монпарнас и двух улиц — Бреа и Делабр. А в широкие бульвары втекают еще какие-то улочки, так что всё вместе образует некую как бы площадь по окраине которой и расположены знаменитые кафэ — "Ротонда", "Дом", немного подальше — "Селект", "Куполь", какие-то еще. Столики со стульями стоят прямо на широком тротуаре, заполнены разными, красочными по одежде (а иногда и по цвету кожи: японцы, индусы, мулаты) людьми. Тут спившиеся гении, и гениальные неудачники, и проходимцы, невропаты, и признанные художники, и всякий сброд, не относящийся к искусству.

Сначала я стал обходить и осматривать эти кафэ внутри. И вот, когда я подходил к "Куполь" (довольно неприятное большое буржуазное, а не богемное кафэ-ресторан), из-за крайнего столика мне навстречу вдруг поднялся человек и с широко раскрытыми объятиями пошел прямо на меня. Я без труда узнал его. Это был Владимир Евгеньевич Татаринов, тот сотрудник берлинской газеты "Руль", по заявлению которого 10 лет тому назад всех сотрудников газеты "Накануне" (в том числе и меня) исключили из Союза Русских Писателей и Журналистов в Берлине.

— Роман Борисович! Господи! Как я рад, что вы вырвались из этого проклятого концлагеря! — проговорил он, обнимая меня. Надо сказать, что с Татариновым в Берлине я лично даже не был знаком. И тем приятнее была мне эта неожиданная дружеская встреча.\* Мы облобызались, сказали друг другу несколько дружеских фраз. И я пошел на другую сторону бульвара, взглянуть, что это там еще за кафэ "Селект". Но из всех монпарнасских кафэ понравился мне больше всего угловой "Дом". Там я и воссел за столик. Лакей меланхолично, больше для вида, обмахнул столик какой-то тряпкой, я заказал знаменитый "кафэ-крэм" за 20 сантимов. За этим грязноватым стаканом кофе с молоком вы могли тут сидеть и день и ночь, никто вас не беспокоит платежом — это традиция, естественно установленная безденежными завсегдатаями Монпарнаса. Позднее я узнал, что некоторые из них иногда сидят тут за кафэ-кремом до тех пор, пока какой-нибудь приятель не подвернется и не заплатит эти 20 сантимов.

Надо оговориться. Я "одним боком" всегда любил и люблю богему. А "другим боком" — не очень, не чересчур. В качестве классического "монпарно" (так французы называли завсегдатаев Монпарнаса) я не мог бы проводить тут ночи и дни, как проводили многие русские эмигранты — литераторы, художники, актеры. Почему я не мог превратиться в "монпарно"? Да наверное потому, что по нутру я человек земский, "толстопятый пензенский" и никак не превращусь в эдакую "столичную штучку". Я невольно "любил и лелеял" эту свою природную земскость.

---

\*В "Последних Новостях" (№ 4490) было напечатано о моем освобождении.

Но я все-таки любил поболтаться на Монпарнасе в "Доме". Оттого, что тут можно было удобно предаться некой "творческой лени". Кажется, у Льва Толстого где-то сказано что-то вроде того, что лучше всего думается тогда, когда ни о чем не думается. Вот — Монпарнас и был именно местом такого душевного состояния. Конечно, тут я встречал иногда кое-кого из приятелей. Но любил больше сидеть один. Помню как-то сижу один у самого прохода и вдруг кто-то кладет мне руку на шею и говорит: "Вот сидит дикий Гуль". Оглядываюсь, а это Ваня Пуни, знакомый еще по Берлину, улыбается, проходя дальше, кого-то разыскивая. В Париже Пуни, как художник, сделал себе большое имя. И его, и его жену Ксану Богуславскую я любил: милые были люди!

Запойными "монпарно" из русской богемы были многие. Например, одареннейший поэт Борис Поплавский. Но в Париже я его никогда не встречал. А в Берлине была одна "как бы встреча". И характерная (для него). Но сначала приведу — "Розу смерти" — одно из лучших его стихотворений:

В черном парке мы весну встречали  
Тихо врал копеечный смычок,  
Смерть спускалась на воздушном шаре,  
Трогала влюбленных за плечо.

Розов вечер, розы носит ветер,  
На полях поэт рисунок чертит,  
Розов вечер, розы пахнут смертью  
И зеленый снег идет на ветви.

Темный воздух осыпает звезды,  
Соловьи поют моторам вторя,  
И в киоске над зеленым морем  
Полыхает газ туберкулезный.

Корабли отходят в небе звездном,  
По мосту платками машут духи,  
И сверкая через темный воздух  
Паровоз поет на виадуке.

Темный город убегает в горы,  
Ночь шумит у танцевальной залы,

И солдаты, покидая город,  
Пьют густое пиво у вокзала.

Низко, низко, задевая души,  
Лунный шар плывет над балаганом,  
А с бульвара, как орган тшедушный  
Машет карусель руками дамам.

И весна, бездонно розовея  
Улыбаясь, отступая в твердь,  
Раскрывает темно-синий веер  
С надписью отчетливою: смерть.

А вот единственная (но запомнившаяся) "встреча" с Поплавским. Было это в 20-х гг. в Берлине. Мы тогда вели молодую, беспутную, беспечную и не всегда сытую жизнь. По субботам своей компанией (я, Офросимов, Иванов, Коровин-Пиотровский) собирались в пивной около Штутгартерпляц у легендарной фрау Утеш. Фрау Утеш легендарна была своим гостеприимством. Полнотелая, дебелая, молодая типичная немка-берлинка, фрау Утеш была большой любительницей выпить (даже "врезать как следует") вместе с гостями. И когда у нас не хватало денег, милая Утеш записывала "в долг", долг позднее погашался, а иногда и не погашался, на что фрау Утеш не очень обижалась. Она нас любила за веселье, за беззаботность, а меня почему-то неизменно называла не иначе, как Fürstchen (князек, князенька), как я ни уверял ее, что никаким "князьком" не являюсь.

Так вот. В ее пивной обычно бывало полным полно: русские студенты, болгарские студенты (чудесные ребята — Зубов, Гумнеров, уж не знаю где они, живы ли, тоже хватили горя через край!), бывали начинающие литераторы (вроде нас), всякая богема. И вот однажды сидим мы за столом вчетвером. А неподалеку с кем-то за столиком наша приятельница поэтесса Татида (по фамилии Цемах, уверявшая, что ее род идет прямехенько от царя Соломона!). У Татиды (близкой подруги по Крыму Макса Волошина) — оригинальное, очень узкое лицо с большим прямым (скорее греческим, чем еврейским) носом. Наружностью она обращала на себя внимание.

И вот среди пивного веселья, хохота, криков вдруг — все-

общее замешательство. Сидевшие, как пружинные, повскакали с мест. Сначала мы не могли понять, в чем дело, из-за чего весь сыр-бор? Оказывается, сидевший за соседним (с Татидой) столиком, совершенно неизвестный ей молодой человек, странный, неопрятно одетый, вдруг встал, подошел к Татиде и ни с того ни с сего дал ей пощечину. Татида вскрикнула, упав на стол головой. Все вскочившие бросились на странного молодого человека. Схватили, кто за шиворот, кто за руки, вывернув ему их за спину и с шумом потащили к выходной двери, где (буквально) вышвырнули на улицу с трех-четырёх ступенек.

Я подошел к рыдавшей Татиде. Она рассказала, что в жизни никогда не видела этого молодого человека и не знает, кто он, почему на нее так пристально смотрел, а потом, подойдя, ударил ее по лицу. Это был Борис Поплавский, позднее автор "Розы смерти" и других прекрасных стихов. Те, кто сидели с ним, тоже ничего не могли объяснить в этом его "безобразии". Один сказал, что он — Борис Поплавский, студент Художественной Школы. Причем, постучав пальцем по лбу, добавил: "Борис немного того..."

У Достоевского Николай Всеволодович Ставрогин проделывал такие же "эксперименты". Бедного губернатора Ивана Осиповича вместо того, чтобы прошептать ему что-то на ухо — "он вдруг прихватил зубами и довольно крепко стиснул в них верхнюю часть его уха. Губернатор задрожал и дух его прервался — Nicolas! Что за шутки! — простонал он не своим голосом". А Петра Павловича Гаганова, любившего ко всему приговаривать: "Нет-с, меня не проведут за нос!" — Николай Всеволодович, стоявший в стороне один... вдруг подошел к Петру Павловичу, неожиданно, но крепко ухватил его за нос двумя пальцами и успел протянуть за собой по зале два-три шага. Злобы он не мог иметь никакой на господина Гаганова. Можно было подумать, что это чистое школьничество, разумеется, непростительнейшее, и однако же рассказывали потом, что он в самое мгновение операции был почти задумчив "точно как бы с ума сошел", но это уж долго спустя припоминали и ообразили". Вспомнил я эту единственную "встречу" с Поплавским потому, что она говорила о его серьезном душевном "неустройстве". О том же говорили и многие его стихи и "декадентский"

его Дневник, опубликованный уже после смерти поэта. О Дневнике интересную статью написал тогда "сам" Николай Александрович Бердяев.

Поплавский был несчастнейшим "монпарно". Приведу еще одно его упадочно-прекрасное стихо:

Снег идет над белой эспланадой.  
 Как деревьям холодно нагим.  
 Им должно быть ничего не надо,  
 Только бы заснуть хотелось им.

Скоро вечер. День прошел бесследно.  
 Говорил; измучился; замолк.  
 Женщина в окне рукою бледной  
 Лампу ставит желтую на стол.

Что же Ты, на улице, не дома,  
 Не за книгой, слабый человек?  
 Полон странной снежною истомой  
 Смотришь без конца на первый снег.

Все вокруг Тебе давно знакомо.  
 Ты простил, но Ты не в силах жить.  
 Скоро ли уже Ты будешь дома?  
 Скоро ли Ты перестанешь быть?

Борис Поплавский (этот "царства Монпарнасского царевич", как сказал о нем Николай Оцуп) умер в своем "царстве" страшной смертью: от чрезмерной дозы героина и кокаина.

Конечно, среди русских поэтов-монпарнасцев Поплавский был исключением. Он нигде не работал. "По убеждению". Жил в полной нищете, которой не тяготился, а даже ею бравировал. Вот запись из его "Дневника": "В совершенном покое, до отказа "выкатив" коричневую грудь, прохожу я одною ногою по воде (левая подошва пьет воду), другою ногою в огне (правый, резиновый башмак греет), нарочно усиливая, сгущая нищету своего лица (не бреюсь) и своего платья (люблю рванье) тогда, когда я победил всякую жажду и усомнился в счастье Иисуса..."

По смерти Поплавского литературный критик "Последних Новостей" Г. В. Адамович назвал его "гениально вдохновенным русским мальчиком, нашим Рэмбо". Я никогда (с юных лет) не

был поклонником этих самых "русских мальчиков" Достоевского. В тургеневском "Рудине" Лежнев так говорит о типе "русских мальчиков": — "в глазах у каждого восторг и щеки пылают, и сердце бьется, и говорили мы о Боге, о правде, о будущем человечества, о поэзии..." А наш старший современник Влад. Мих. Зензинов, которого я хорошо знал и в Париже, и в Нью Йорке, в своих "Воспоминаниях" так пишет на ту же тему: — "С юности с меньшим чем счастье всего человечества мы не мирились". В юности и молодости я знавал таких "русских мальчиков", но меня почему-то не только не притягивал их душевно-духовный мир (пусть и искренний, и внутренне-честный), но отталкивал, как некий душевный вывих, некое никому ненужное уродство. Мне казалось, что они проходили мимо *своей собственной жизни*, мимо *своей особи*. А она-то и была мне всегда дорога. Я никогда не хотел "переделывать мир", мне хотелось "переделывать себя". Конечно, примененное Г. Адамовичем к Поплавскому наименование "русский мальчик" было и неверной и неуместной литературной болтологией. Поплавский к категории "Белинских" никак не принадлежал. Его природа была совершенно иной, ставрогинско-декадентской. А вот что он внутренне, вероятно, был весьма схож с Артюром Рэмбо, это, конечно, верно. Но вряд ли мыслимо "впрячь в одну телегу" автора "Пьяного корабля" и "русского мальчика". Рэмбо был чисто "французский мальчик". Кстати, у Поплавского есть хорошие стихи и о Рэмбо, и о Верлене.

Монпарнасская группа молодых русских поэтов, названная тем же Поплавским — "парижская нота" — была разношерстна и по составу и по дарованиям. Кроме вопросов поэзии и литературы, толковалось о "проклятых вопросах", о Боге, о Маркионе, о судьбе человечества, о вечности и гробе и т. п.. Мне все эти РАЗГОВОРЧИКИ были совершенно чужды, я их не только не любил, но находил какой-то безвкусной кошунственной болтовней. Нормально, если человек думает о Боге, нормально, если человек пишет о Боге, нормально, если человек проповедует Бога. Но душевно-противно, когда на каком-то собрании люди РАЗГОВАРИВАЮТ о Боге. "С кем же вы?! — кричал разнервничавшийся Мережковский на одном из таких собраний с этой монпарнасской молодежью (собрания эти у Мережковских

назывались "Зеленая лампа") — с кем? С Христом или с Адамовичем?" Думаю, что "Монпарнас" был много-много ближе к Адамовичу чем к Христу.

Помню, однажды сижу я в "Доме", подходит художник Сергей Шаршун, я его знал по Берлину. — "Что, говорит, вы один сидите? Там же, — он показал на дальний угол кафэ, — вся литературная братия". Я в шутку говорю: — "Не люблю толпы, Сергей Иванович". — "Аааа.." — засмеялся Шаршун и пошел к "братии". Позже поэт Перикл Ставров, вместе с французом Ланье переводивший на французский моего "Дзержинского", рассказал, что моя фраза о "толпе" была принята "братией" не то как заносчивость, не то как поза. Я же на самом деле никогда не любил, так называемое, "общество литераторов". Поэтому в Париже знал большинство монпарнасцев издалека.

Молодых русских поэтов и прозаиков тогда в Париже было много. И все они (в противоположность Поплавскому) днем работали, кто окномоем в магазинах, кто телефонистом, кто на фабрике, кто таксистом, кто маляром, кто в автомобильном гараже. Счастливыми считались те, у кого жены хорошо зарабатывали в "модных домах" (как портнихи или манекенши). О их мужьях по Монпарнасу даже ходило некое двустиише:

Жена работает в "кутюре",  
А он, мятежный, ишет бури!

Таланты многих эмигрантских поэтов-монпарнасцев я ценил. В противоположность декаденту Поплавскому Владимир Смоленский писал ясную, неусложненную поэзию, иногда сильную. Вот его очень эмигрантское стихо, заслужившее известность:

Над Черным морем, над белым Крымом  
Летела слава России дымом.

Над голубыми полями клевера  
Летели горе и гибель с севера.

Летели русские пули градом  
Убили друга со мною рядом.

И ангел плакал над мертвым ангелом  
Мы уходили за море с Врангелем.

Об этом неожиданно удачном ассонансе "ангелом — Врангелем" кой-кто из поэтов говорил с нескрываемой завистью: "большая удача!"

Но гораздо мужественней и цельней на ту же тему написал Николай Туроверов, поэт-казак, редко появлявшийся на Монпарнасе. Занимался он больше "донскими" делами. Создал "Казачий музей". Вот его стихо — "Конь":

Уходили мы из Крыма  
Среди дыма и огня  
Я с кормы, всё время мимо,  
В своего стрелял коня.

А он плыл изнемогая  
За высокою кормой,  
Все не веря, все не зная,  
Что прощается со мной.

Сколько раз одной могилы  
Ожидали мы в бою...  
Конь всё плыл, теряя силы,  
Веря в преданность мою.

Мой денщик стрелял не мимо.  
Покраснела чуть вода...  
Уходящий берег Крыма  
Я запомнил навсегда.

Типичным представителем "парижской ноты" (по Адамовичу) в своей простоте, ясности, лаконичности стиха был молодой Анатолий Штейгер, рано умерший от туберкулеза. Его единственная книжка коротких стихов осталась в эмигрантской поэзии — "томов премногих тяжелей".

У нас не спросят: вы грешили?  
Нас спросят лишь: любили ль вы?  
Не поднимая головы,  
Мы скажем горько: — да, увы!  
Любили... как еще любили!...

Я, разумеется, не пишу никакого *обзора эмигрантской*

*поэзии*. Это задача большой книги. Но упомяну хотя-бы имена парижан поэтов-эмигрантов, "унесших Россию". Жили тогда в Париже уже известные в России: К. Бальмонт, И. Бунин, З. Гиппиус, Георгий Иванов, Н. Оцуп, Вл. Ходасевич, Марина Цветаева, И. Одоевцева, Мать Мария (Скобцова), С. Маковский. Из начавших писать только в эмиграции: А. Величковский, Т. Величковская, В. Злобин, И. Кноринг, Ю. Софиев, Д. Кнут, Г. Кузнецова, Ант. Ладинский, В. Мамченко, В. Набоков, Ю. Одарченко, Б. Божнев, К. Померанцев, Б. Поплавский, А. Присманова, А. Гингер, Г. Раевский, В. Смоленский, Ю. Мандельштам, И. Ставров, Е. Таубер, Л. Червинская, Ю. Терапиано, А. Штейгер и др. Как всегда при таких перечислениях я наверное кого-нибудь пропустил. Да не разгневаются пропущенные.

Кстати, о "молодости" этих поэтов Владимир Варшавский, смеясь, рассказал как-то анекдот, сочиненный Тэффи. "Иду, говорит Тэффи, ночью по Монпарнасу, вдруг из какого-то кафэ гуськом, один за другим, выходят евреи средних лет. Спрашиваю спутника: — Кто это? Что за люди? — А это, говорит "Союз Русских Молодых Поэтов". Конечно, Тэффи, как во всяком анекдоте, "нажимает педаль". Среди русских поэтов были евреи (Кнут, Гингер, Раевский, Ю. Мандельштам), но отнюдь не в большинстве. А вот насчет "средних лет", это, пожалуй, тонко.

### В "Последних Новостях"

Я знал, что ничего из этого не выйдет: "все места заняты". Но все ж, думая ч. н. подработать, поехал в "Последние Новости". Все-таки газета напечатала несколько отрывков из "Прыжка в Европу", сообщала о моем аресте и освобождении (в № 4490 в июле 1936 г. "П. Н." дали заметку: "**Роман Гуль**: После почти месячного заключения в концентрационном лагере Роман Гуль, об аресте которого в Германии мы в свое время сообщали, освобожден"). Стало быть мой приход не будет уж так "ни с того, ни с сего". С П. Н. Милюковым я познакомился еще в Берлине. Обменялся письмами. К тому же я хотел просить Милюкова, как и Гучкова, и Бурцева, и Церетели помочь мне их подписями под прошением о въездной визе во Францию из

Германии моей семье.

Я созвонился с Павлом Николаевичем. Он назначил приехать в редакцию к 6-ти вечера. И захватив с собой (на мой взгляд сенсационную) статью "Кто убил генерала И. П. Романовского", поехал. Об убийстве ген. Романовского точных сообщений в печати не было. А на меня "упал некий апельсин". У Я. Б. Рабиновича я познакомился с его другом, русским ученым египтологом, автором труда "Термины, обозначающие 'сердце' в египетских текстах". Пьянков занимался изучением текстов на фараоновых гробницах Египта. Был он собеседник интересный: блестяще образованный, иронически-живого ума, острослов уайльдовского типа. По душе человек хороший. И когда за чайным столом у Я. Б. я рассказал, что поеду на-днях в "Последние Новости" поговорить о помешении литературных статей, А. Н. перебил: — "А хотите, Р. Б., я вам дам такой материал, какой они у вас с руками оторвут? — "Очень хочу". — Пьянков рассказал, что у него есть собственноручное письмо убийцы ген. Романовского — поручика Харузина о том, как он убил генерала, есть официальные документы о личности Харузина и даже его фотография. Это действительно была "сенсация", ибо ни фамилия убийцы нигде никогда не называлась, ни точные обстоятельства убийства не были рассказаны. Оказывается, Пьянков и Харузин были друзья детства, вместе учились в гимназии в Москве, и когда после убийства ген. Романовского Харузину нужно было куда-то скрыться (скрылся он неудачно, его где-то кто-то тоже убил), он пришел к старому другу и оставил ему весь этот материал в большом конверте запечатанном сургучем, с просьбой, если он, Харузин, погибнет, — вскрыть. Через много лет Пьянков вскрыл конверт, а сейчас предложил мне всё опубликовать.

Редакция "Последних Новостей" помещалась в центре Парижа, на 26, рю Тюрбиго на втором этаже. В первом — какое-то грязноватое бистро, Dupont ("chez Dupont tout est bon"), куда сотрудники газеты спускались пить кофе, пиво, закусывать. Вошел в редакцию. Помещение многокомнатное, но весьма непрезентабельное. Встретил меня сидевший у телефона, высокий, довольно невыразительный человек. Я уже знал, что это талантливый поэт Антонин Ладинский.

"О чем ты плакала, душа моя,  
 Вздыхая за решеткой бытия?  
 Куда рвалась, как пленница в слезах,  
 Искала выход голубой впотьмах?  
 В какие небеса взлетала ты  
 Из этой непроглядной темноты?"

Я знал, что Ладинский тяготился работой телефонного мальчика и первого, принимающего посетителей. Он меня сразу спросил о цели моего прихода. Я назвал себя. Он сказал, что меня знает. Я сказал, что знаю его. Поздоровались. Он добавил, что Павла Николаевича еще нет, но он доложит обо мне его помощнику И. П. Демидову. Войдя в какую-то комнату, он тут же вернулся, проговорив:

— Проходите, пожалуйста, сюда. Игорь Платонович вас примет.

Я вошел. Комната большая, полупустая, в конце за столом сидит необычайно худой и очень смуглый, пожилой человек, сразу же мне не понравившийся. А стиль, в котором он меня принял, показал, что человек и не очень умен, и не очень хорошо воспитан. Увидев меня, Демидов, как-то по-чиновничьи поджавшись, поднялся в струнку и нарочито сухим тоном недовольно произнес:

— Чем имею честь вам служить?

"Ах, вот ты какой, подумал я, так ты, стало быть, еще и дурак!" И совершенно в том же тоне я ему ответил:

— Покорно благодарю. Ничем. У меня свидание с Павлом Николаевичем в 6 часов.

— Павла Николаевича нет. Вы можете подождать его здесь.

— Покорно благодарю.

Позднее, когда я читал воспоминания А. В. Тырковой-Вильямс ("На путях к свободе"), я понял почему Милюков взял к себе в помощники такого Демидова. Очень близко знавшая Милюкова Тыркова писала: "Он подбирал свое ближайшее окружение, привлекая людей не столько крупных, сколько услужливых, преданных". Таким "услужливым" явно был и Демидов.

Я сел на самый близкий к выходу из комнаты стул. Тон неумного Демидова мне был ясен: сменовеховец, человек из концлагеря, Бог знает за что там его посадили, вообще м. б. ка-

кая-то темная личность. Раскрыл газету, стал читать, не обращая на Демидова внимания. Мимо двери проходили разные сотрудники, некоторые бросали на меня "взгляд не без любопытства". Наверное Ладинский сказал обо мне в редакционной комнате, подумал я. Так прошел, бросив "взгляд" А. А. Поляков, я его знал по виду. Других не знал. Но вдруг в дверях остановился М. А. Алданов и сразу подошел ко мне. Его я, хоть и поверхностно, знавал по Берлину. Алданов поздоровался и отозвал меня в коридор. Тут он сразу стал расспрашивать о концлагере. Я ведь тогда был единственный человек в Европе, кому удалось побывать в гитлеровском кацете. Алданов расспрашивал подробно, как "историческому романисту" и подобало. Вдруг он спросил:

— А вас били?

Вопросом я был поражен. Ведь Бунин называл Алданова "последним джентльменом русской эмиграции", а вопрос был "верхом бестактности". Ведь если б меня и били, неужели я стал бы рассказывать об этом Алданову? Но меня не били. И своим "нет" я даже, кажется, разочаровал его. Алданов расспрашивал меня долго обо всем. А я, глядя на него, думал, как он изменился за 10 лет: потолстел, обрюзг, ни следа бывлой элегантности и красоты. Когда же я сказал ему, что привез статью об убийстве ген. Романовского, Алданов тут же повел меня к главному "махеру" газеты А. А. Полякову. "Это по его части, а Павлу Николаевичу он уж покажет".

Старый газетчик А. А. Поляков, сотрудник еще сытинского "Русского Слова" в Москве, а потом в Петербурге, кажется "Биржевых Ведомостей" сидел за столом, заваленным рукописями, корректурой, вырезками. Но когда Алданов сказал ему о теме моей статьи, он сразу, как хорошая гончая, заинтересовался, по нюху почуяв, что это действительно сенсационный, подходящий материал. Я дал ему и статью, и подлинники документов, и фотографию Харузина. Все это он бегло просмотрел, скрепил скрепкой, сказав — "Да, это может быть интересно". Я просил его (Христом-Богом) об одном, чтоб по напечатании статьи он вернул мне оригиналы документов и фотографию. Поляков, конечно, уверял, что вернет. Но это была неправда. Ни одного подлинника документов он так и не вернул:

”Куда-то забозлал, не нахожу!”, довольно грубо отговаривался он. Слава Богу еще, что я получил назад фотографию Харузина, которая в газете не была напечатана. А документы Поляков, видимо, присоединил к собственному архиву, как уникальные.

Моя статья ”Кто убил генерала И. П. Романовского” появилась в П. Н. очень быстро. И так как это убийство почти не было освещено, я считаю правильным привести ее полностью, как исторический документ. Вот она:

### **Кто убил генерала Романовского?**

#### 1.

5 апреля 1920 года, в Стамбуле, тогда еще Константинополе, в биллиардной комнате русского посольства, выстрелом из револьвера, был убит начальник штаба Добровольческой армии, генерал И. П. Романовский.

Это таинственное убийство русского генерала русским офицером, происшедшее под конец борьбы Добровольческой армии, ошеломило тогда не только русскую эмиграцию, но и иностранцев в Константинополе.

Попытки выяснить, кем было подготовлено это позорное для русских убийство, кто были его вдохновители, и, наконец, кто был тот ”офицер в светлой шинели мирного времени”, фактический убийца генерала Романовского, — остались тщетны.

Прошло без малого 16 лет. Но ответы на эти вопросы представляют и посейчас бесспорный общественный и политический интерес.

Недавно мне переданы лицом, заслуживающим абсолютного доверия, документы, до известной степени приподнимающие покров над этим загадочным преступлением. Лицо, передавшее документы, хорошо знало русские константинопольские круги, в которых вращался убийца генерала Романовского, а самого убийцу знало с гимназических лет. Этому лицу убийца и оставил приводимые здесь документы и сам рассказал, как он убил генерала Романовского.

#### 2.

4 апреля 1920 года, после сдачи главного командования генералом Деникиным генералу Врангелю, от берегов Черного моря

отошел английский миноносец, увозя на своем борту покинувшего Добровольческую армию ее бывшего главнокомандующего и его бессменного начальника штаба генерала И. П. Романовского.

В сопровождении английского генерала Хольмана, А. И. Деникин и И. П. Романовский плыли в Константинополь. За английским миноносцем шел французский, на котором были адъютанты и офицеры свиты.

О прибытии генералов Деникина и Романовского в Константинополь официально ничего не сообщалось. Вероятно, из предосторожности. Даже русский военный агент в Константинополе, генерал Агапеев, узнал о приезде бывшего главнокомандующего и его начальника штаба только в самый последний момент от военно-морского агента, капитана 2 ранга Щербачева.

Но это — официальные круги. Тайная же крайне-правая монархическая организация, группировавшаяся вокруг русского консульства в Константинополе, уже наметившая своей жертвой генерала Романовского, прекрасно знала, кого везет на борту английский миноносец.

Это подтверждается тем, что взявшийся за выполнение убийства, член этой организации, поручик из информационного отделения отдела пропаганды при особом совещании при главнокомандующем, убил Романовского, сразу же по приезде его в Константинополь.

Было ли обставлено убийство тщательной конспирацией? Нет. Главнокомандующий английскими войсками в Константинополе, генерал Мильн, после убийства вызвавший к себе генерала Агапеева, в резкой форме упрекал последнего за непринятие им мер к охране генерала Романовского, заявляя — "О большом заговоре на жизнь Романовского знали все!".

Если об этом знали англичане, то, разумеется, русские могли знать еще лучше. Тем не менее, никаких мер охраны принято не было, ибо, как сообщает генерал Агапеев, он узнал о приезде Деникина и Романовского в последний момент.

О том, что это убийство 'висело в воздухе', говорит и тот факт, что как только английский миноносец с генералами Хольманом, Деникиным и Романовским прибыл к пристани Топ-

ханэ, генералов, одновременно с военным агентом Агапеевым. встретил и офицер английского штаба, пытавшийся предупредить о грозящей опасности.

Об этом предупреждении генерал Деникин пишет так: — "Англичанин что-то с тревожным видом докладывает Хольману. Последний говорит мне:

— Ваше превосходительство, поедем прямо на английский корабль.

Англичане подозревали. Знали ли наши?

Я обратился к генералу Агапееву:

— Вас не стеснит наше пребывание в посольстве... в отношении помещения?

Нисколько.

А в... политическом отношении?

Нет, помилуйте...".

И генералы Деникин и Романовский поехали в русское посольство. Но перед зданием посольства, ожидая Романовского, уже прохаживался высокий, худой поручик "с желтым лицом", одетый "в светлую шинель мирного времени". Это и был член тайной крайне-правой организации, вынесшей смертный приговор Романовскому.

Когда Деникин и Романовский подъехали, у здания посольства собралась группа русских офицеров, их жен, здесь же были сложены чемоданы. В группе стоял и поручик-убийца, с заряженным парабеллюмом в кармане.

Генерал Романовский вошел в помещение русского посольства. Офицер "в светлой шинели мирного времени" пошел за ним. Обстановка для убийства складывалась благоприятно. Романовский вошел в биллиардную комнату, в которой не было решительно никого. За Романовским вошел в биллиардную и высокий офицер, нагоняя генерала. И когда Романовский был почти уже у двери, офицер окликнул его: — "Генерал!".

Романовский обернулся. В этот момент, выхватив парабеллюм, "офицер в светлой шинели" с двух шагов разрядил его в Романовского. Романовский упал, обливаясь кровью. А офицер бросился назад к двери. Но тут произошла частая в подобных случаях странность. Вместо того, чтобы бежать к выходу, убийца почему-то бросился вверх по лестнице посольства (он



*Поручик М. А. Харузин — убийца ген. И. П. Романовского  
(публикуется впервые)*

сам этого не мог объяснить). Первая дверь, которую он попробовал растворить, оказалась заперта. Тогда убийца бросился этажом выше, но здесь прямо ему навстречу вышла неизвестная дама (она была единственным свидетелем, видевшим убийцу). Увидев перед собой даму, убийца пришел в себя и, вместо того, чтобы бежать дальше наверх, овладев собой, спокойно спустился с лестницы, вышел, сел на подходивший в этот момент трамвай и уехал к себе на квартиру, находившуюся в Шишли.

Так рассказал обстановку убийства сам убийца, поручик Мстислав Алексеевич Харузин, служивший в информационном отделении отдела пропаганды особого совещания при главнокомандующем вооруженными силами на юге России.

Вот его удостоверение:

”Удостоверение № 352.

Дано сие поручику Мстиславу Алексеевичу Харузину в том, что он действительно состоит на службе в константинопольском информационном отделении отдела пропаганды особого совещания при главнокомандующем вооруженными силами на юге России, что подписью с приложением казенной печати удостоверяется.

Константинополь, 6 сентября 1919 года (н. ст.).

Вр. и. д. начальника отделения

Г. Курлов.

Секретарь (подпись неразборчива)’.

Рассказ М. Харузина об убийстве почти целиком подтверждается и результатом следствия, сообщаемым ген. В. П. Агапеевым в статье ”Убийство генерала Романовского”. Из сообщений же генерала А. И. Деникина можно добавить, что Романовский пошел через биллиардную комнату, дабы, в отсутствие адъютантов, самому распорядиться о подаче автомобиля, ибо ни Деникин, ни Романовский не могли оставаться в помещении русского посольства, так как русский дипломатический представитель (г. Якимов? Р. Г.), несмотря на приглашение генерала Агапеева, в помещении генералам Деникину и Романовскому отказал.

Дальнейшие события, в связи с убийством, известны. Оно вызвало необычайное возмущение в кругах союзного командо-

вания, особенно у англичан. Предполагая, что со стороны этой же организации может произойти покушение и на жизнь генерала Деникина, генералы Мильн и Хольман ввели немедленно английские войска в здание русского посольства для охраны генерала Деникина.

В тот же день генерал Деникин перешел на английское судно, а на другой день отплыл на дредноуте "Мальборо" в Англию.

### 3.

Лица, прекрасно знавшие тогдашнюю константинопольскую обстановку, говорят, что установить личность убийцы не представляло, конечно, решительно никакого труда. Но английское следствие, не пролив света на убийство, оборвалось потому, что англичан детальное расследование этого дела не интересовало: — не их территория, не их жертва, не их убийца.

Русское же следствие тоже оборвалось, но, вероятно, по другим мотивам.

И "где-то наверху" было решено дело потушить, а убийцу скрыть, отправив его из Константинополя. Такая отправка Харузина была тем более легка, что он был очень близок к русскому константинопольскому консульству.

Консульство быстро помогло Харузину получить "командировку" к Кемаль-паше в Анкару для "установления связи с начинающимся кемалистским движением". Но и с этой командировкой Харузин не торопился. Он выехал только через месяц после убийства генерала Романовского.

В это время Кемаль-паша отбивался от греков. Путешествие в Анкару представляло большой риск. Возможно, что лица, посылавшие Харузина, учитывали этот риск, полагая, что из этой поездки "на тот свет" Харузин, может быть, и не вернется. Так и вышло. Харузин, действительно, не вернулся. (От какой пули погиб убийца генерала Романовского, от греческой ли, турецкой или просто бандитской, неизвестно).

Вещи Харузина оставались на квартире в Шишли. Прошел месяц, два, три, полгода. Сначала о Харузине в офицерских кругах появлялись легенды, что он действует у Кемаль-паши под именем Кару-Зен. Но легенды таяли. И, наконец, выяснилось, что Харузина нет в живых.

Тогда лежавший в его вещах конверт, запечатанный сургучной печатью, был вскрыт. В конверте был лист бумаги, на котором рукой Харузина было написано следующее:

”Сообщение.

Сообщаю, что 5 апреля 1920 года, в 5 ч. 15 м. дня, в биллиардной комнате русского посольства в Константинополе, из револьвера системы ”парабеллум” мною убит двумя выстрелами ген. Романовский. Подтвердить могут лица, видевшие факт и узнавшие о нем немедленно.

Мстислав Харузин”.

Зачем писал Харузин это ”сообщение”? Но тут мы уже переходим к психологии убийцы и спускаемся даже в подвалы некоей ”достоевщины”.

#### 4.

Мстислав Алексеевич Харузин родился в 1893 году в состоятельной интеллигентной семье. В 1912 году он окончил в Москве гимназию имени Медведниковых. Его отец, человек крайнеправых, ”черносотенных” убеждений, был сенатором. По окончании гимназии, Харузин поступил в Лазаревский восточный институт, где посвятил себя изучению турецкого языка и Турции. Занимался он также археологией. Увлечение Востоком заставило Харузина в 1914 году поехать в Египет. Война застала его в Константинополе. Вернувшись в Россию, он поступил не в строевые части, а в отряд Красного Креста. В 1915 году Харузин поступил в Михайловское артиллерийское училище, которое и окончил перед революцией.

В Добровольческой армии Харузин все время работал во всевозможных ”секретных”, ”особых” и ”разведывательных” организациях, принадлежа к распространенному типу тыловых ”контрразведчиков”. Убивший боевого генерала Романовского, участника мировой войны, участника ”Ледяного похода” и всей последующей борьбы Добровольческой армии, Харузин сам никогда на фронте не был и войны не видел. Его жизнь проходила в тыловой атмосфере конспираций, подпольщины, заговоров и интриг, ведшихся самыми темными закулисными элементами армии.

Вот еще одно удостоверение Харузина:

“Начальник отдела генерального штаба военного управления. 10 ноября 1919 года. № 942 (оу), г. Ростов на-Дону.

Удостоверение.

Предъявитель сего, поручик Харузин, действительно командирован особой осведомительной организацией в города Северного Кавказа (Владикавказ, Грозный, Темир-Хан-Шура, Петровск, Дербент) для ознакомления с положением горских народов. При нем следует Махамед Акуджи. Начальник военного управления просит оказывать ему содействие. Что подписью и приложением казенной печати удостоверяется.

За начальника отдела генерального штаба, генерального штаба полковник (подпись неразборчива).

За начальника особого отделения генерального штаба полковник (подпись неразборчива)”.

Как владеющий восточными языками, Харузин отправлялся не только на Кавказ, но и в Туркестан и в Турцию. Турцию Харузин особенно любил и даже “считал себя турком”, действительно собираясь стать мусульманином.

Работа во всяческих тайных организациях, разумеется, давала и неуравновешенности и всем странностям Харузину богатую пищу. Близко знавшие Харузину отмечают в нем крайнее позерство и манию величия, хотя бы геростратову. Никогда не выдавший боев, Харузин нередко высказывал близким желание “попробовать волю” — “убить”.

Для тайной террористической монархической организации, в которой состоял Харузин, он был сущий клад. Этот обремененный “маниями” человек был чрезвычайно подходящ для роли исполнителя террористического акта. Наряду со многими завиральными идеями, Харузин считал также необходимым “бороться с жидомасонством”. А так как, свалив генерала Деникина, крайне-правые генералы и поддерживавшие их группы пустили в оборот примитивную агитку, относя все поражения Добровольческой армии на счет генерала Романовского, “продавшего армию жидомасонам”, то, естественно, что этими организациями генерал Романовский и был выставлен, как мишень, для пуль одержимого Харузину. Харузин же этим “актом” служил не только “идеям” своей тайной организации, но и удовлетворял свое давнее желание “попробовать волю”.

*Роман Гуля*

Много, много позже, уже в Нью Йорке, у меня завелась эпистолярная дружба с интересным человеком — Каролем (по русскому отчеству Михайловичем) Вендзягольским. Он жил, как польский эмигрант, в Бразилии, в Сан Пауло, где и умер. Вендзягольский — родовитый шляхтич, с молодости — русский революционер (с. р. правого толка), друг Б. В. Савинкова, в I мировую войну был комиссаром Временного Правительства 8-й армии. После Октября он и Савинков пробрались на юг к ген. Л. Г. Корнилову выяснить, могут ли они в Добровольческой Армии вместе бороться против большевизма. Но их разговор с Корниловым был ни то, ни сё, хотя он и просил их остаться в армии. После Корнилова они разговаривали с И. П. Романовским. Вендзягольский дает сжатую характеристику этого, убитого Харузиным, генерала.

“Начальник штаба Главнокомандующего Добровольческой Армией Иван Павлович Романовский был не только выдающимся офицером генерального штаба. Это был глубокий, умный человек, отличавшийся от прочих генералов точностью понимания действительности, очень современным взглядом на сущность революции и на задачи и цели контрреволюции, которая должна была состояться во имя высоких целей возрождения страны и государства.

Ген. Романовский был убежденным монархистом, но, будучи внимательным и умным свидетелем происходящего, он согласовал свои убеждения, чувства и даже вкусы с современностью. Поэтому он стремился глубоко обосновать контрреволюцию. Он понимал, что не физическое уничтожение революционеров дает контрреволюции фундамент, а только пробуждение в массах контрреволюционного духа и может и должно дать истинное возрождение родины. Всех тех контрреволюционеров, которым казалось, что революцию надо лишь схватить за горло и прикончить посредством нагана и нагайки Романовский считал неврастениками и авантюристами, вызывающими опасения...

Романовский внимательно слушал мысли Савинкова и очень нерадостные выводы из них. Когда же Савинков спросил генерала в упор, что он думает о нашем присутствии здесь и о сотрудничестве, Романовский коротко и твердо сказал:

— Уезжайте отсюда безотлагательно. Послезавтра может

быть уже поздно. Помогайте нам извне. Здесь ваши враги сильнее ваших друзей, потому что они являются здесь *стихией*...

И вот этот замечательный человек, блестящий генерал старой русской армии, консерватор и европеец с благородным мистическим уклоном, характерным для русского, был застрелен в Константинополе каким-то преступным дегенератом и глупцом". ("Н. Ж.", кн. 70).

Харузин — убийца ген. Романовского, Таборицкий и Шабельский-Борк — убийцы Набокова и люди сходного им "душевного склада" в Белой Армии были именно *стихией*, которая губила и погубила Белую Армию, лишив ее духа *народного восстания*. После "Ледяного Похода" я ушел из Добровольческой Армии, чувствуя именно эту отталкивавшую меня *стихию*.

#### У П. Н. Милюкова

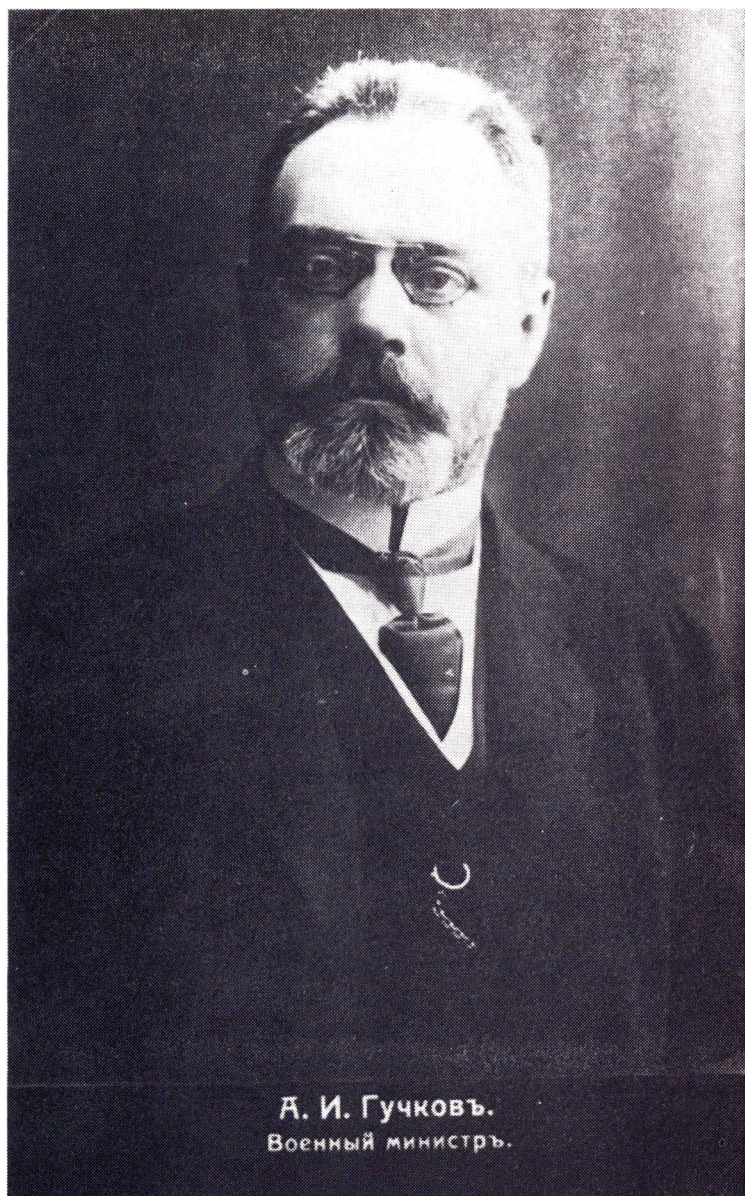
Когда я приехал впервые в редакцию "Последних Новостей", у Милюкова в кабинете задержался недолго. Я сказал Павлу Николаевичу, что передал Полякову статью об обстоятельствах убийства ген. Романовского и соответствующие документы. Милюков ответил: "Это интересно, я прочту". Но когда я начал говорить о том, что был бы ему благодарен, если б он, так же, как Гучков, Бурцев и Церетели поддержал во французском министерстве внутренних дел мое прошение о въездной визе из Германии для моей семьи, он ответил:

— "Видите, здесь я очень занят редакционной работой и не могу об этом с вами говорить. Зайдите ко мне на дом, утром, часам к 10-ти и мы об этом поговорим". Признаюсь, меня этот ответ удивил, ибо у Милюкова была репутация человека предельно холодного, относившегося к отдельным людям без всякого интереса. И тут он вполне мог мне отказать, он не знает моей семьи, а меня видит второй раз в жизни. Нет. Милюков написал свой адрес, 17 рю Лериш, 2-й этаж, послезавтра в 10 утра.

Жил Милюков недалеко от Гучкова, в том же, переполненном русскими эмигрантами, 15-м аррондисмане. Рю Лериш в двух шагах от нашей рю Олье. Такая же неопрятная, непригляд-



*П. Н. Миллюков, в дни Временного Правительства, 1917.*



А. И. Гучковъ.  
Военный министръ.

*А. И. Гучков, в дни Временного Правительства, 1917.*

ная улица с облезлыми старыми домами. Ровно в 10 я вошел в дом № 17, поднялся на второй этаж (лифта в доме не было) и повернул в двери старомодный звонок. Раздался громкий звоночный звук и тут же дверь открыл сам Павел Николаевич. Поздоровавшись, он провел меня в свой "рабочий кабинет". Но, господи, что это был за кабинет! Милюкова, историка и политика, знал весь мир. Его "Очерки по истории русской культуры" переведены на все главные языки. Как ученый, он награжден был званием доктора *honoris causa* Кембриджского университета. Но вряд ли кто мог предположить, что этот выдающийся русский ученый работает в такой бедной комнатенке, затопленной потопом книг, газет: и на полках, и на столе, и на полу. Он сел за заваленный всяким рабочим материалом стол. Я — рядом на стуле.

Милюков был сед как лушь (сед до полной белости). Волосы коротко подстрижены, такие же белые подстриженные усы, все лицо ровно-розоватое. Говорят, что в кадетской партии у П. Н. было прозвище — "каменный кот". В таком прозвище было что-то удивительно меткое. Говорил П. Н. старым московским говором. Вместо "восемнадцать" говорил "осьмнадцать". Но в разговоре П. Н. не было того, что сразу привлекало в А. И. Гучкове: какой-то заинтересованности в собеседнике. Милюков был предельно деловит. Возможно более коротко я рассказал ему о трагическом положении моей семьи в Германии, которой просто нечем было жить, и просил его подписать мое прошение в министерство внутренних дел\*, как это уже сделал Гучков и обещали сделать Церетели и Бурцев.

— Я, конечно, подпишу, — проговорил Милюков, — но вы вероятно не знаете нравов французских чиновников и этих учреждений. Их ничем не прошибешь, и я сомневаюсь, чтоб из этого "демарша" что-нибудь вышло.

Я ответил, что меня поддерживает наш бывший посол в Швеции, К. Н. Гулькевич, работающий теперь в Лиге Наций в отделе помощи беженцам. К. Н. Гулькевич выхлопотал мне небольшую ссуду на аренду фермы, на которой поселится моя семья.

---

\*Такие прошения надо было подавать в министерство внутренних дел. Р. Г.

— Хорошо. Старайтесь. Понимаю вас и подпишу, — с этими словами Милюков взял ручку и прошение, подписав там, где в скобках было напечатано по-французски его имя, фамилия и "ancien ministre". Подписав, П. Н. добавил: — Вот если бы они могли переехать в Чехословакию, я, вероятно, мог бы помочь, у меня хорошие личные отношения с Бенешем, а в таких делах личные отношения очень важны.

После этой фразы я понял, что Милюков совершенно не похож на Демидова. Я поблагодарил П. Н., но сказал, что в Чехословакию семья, к сожалению, перебраться не может. И не желая его задерживать, поблагодарив еще раз, простился. Милюков проводил меня до двери.

### У В. Л. Бурцева

С той же просьбой я был и у Владимира Львовича Бурцева. С ним я в свое время познакомился в Берлине, но при весьма "странных" обстоятельствах, о которых стоит рассказать. Звонит мне как-то по телефону Б. И. Николаевский и говорит: "Р. Б., в Берлин приехал Владимир Львович Бурцев, был у меня и говорил, что очень хочет встретиться с вами". — Мой роман "Азеф" (тогда — "Генерал БО") давно уже вышел вторым изданием. Имел успех. И мне стало сразу как-то неловко: может быть Бурцев недоволен тем, как я вывел его в романе? Я спросил Б. И.: — "На какой же предмет он хочет со мной встретиться?" — "Не знаю, он ничего не сказал, но вашего "Генерала БО" очень хвалил". — "Хорошо, дайте мне телефон Владимира Львовича, я ему позвоню". Б. И. дал, добавив: "После свидания расскажите, что это за "конспирация". (Б. И. был большим любителем собирания всяких "фактов").

Итак, с Вл. Льв. я созвонился, сказав, что его просьбу о встрече передал мне Б. И., и я буду ей очень рад. Бурцев был любезен и тут же назначил встречу на завтра в кафе на Виттенбергплац, около которого жил. Человек я (всю жизнь) очень точный (пунктуален, "как Ленин") и ровно в назначенный час вошел в кафе, где в углу сразу узнал сидевшего, седого, в очках, сгорбленного Бурцева. Я пошел прямо к нему.

— Роман Борисович?

— Так точно, Владимир Львович.

— Очень рад, очень рад, спасибо что пришли.

Мы уселись за столиком в углу кафе. И так как я был приглашен не знаю зачем, я предоставил инициативу разговора Владимиру Львовичу. Сам же только разглядывал его, находя, что в романе я описал его наружность вполне точно (по портретам).

— Ну, вот, — заговорил Бурцев, — рад с вами познакомиться. Конечно, читал ваш роман и могу сказать вам комплимент: никаких неточностей в фактах, в его теме у вас нет. Я то уж знаю всё это дело, и иногда даже удивлялся, как хорошо всё документировано.

Я сказал, что в документации меня поддержал такой "дока" в истории революционного движения, как Борис Иванович, да еще Сергей Григорьевич Сватиков из Парижа, в распоряжении которого, как комиссара Временного Правительства при посольстве, был весь архив царского парижского посольства.

— Да, да, я это знаю. Документаторы у вас были знающие, но вот в мелких деталях у вас есть большие ошибки.

Я невольно насторожился.

— Вот, например, в описании моей наружности...

Мне стало неловко.

— Вы пишете, что у меня большие, выставленные вперед зубы...

Мне стало еще более неловко.

— И это может быть правильно. Но вы добавляете... прокуренные...

Мне стало совсем уж неловко.

— А я уверяю вас, что никогда в жизни не выкурил ни одной папиросы.

Тут уж мне не оставалось ничего, как начать извиняться и говорить, что в следующем издании я всё это исправлю. Но Вл. Льв. естественно и просто остановил меня: — Не волнуйтесь, ничего тут особенного нет. Ну, эка важность, что сделали меня курящим да еще каким! Завзятым! Ну, "прокурил" зубы, ну, пустяки, — улыбался Бурцев.

И я почувствовал по его тону, что Бурцев "хороший человек" и на такие пустяки внимания не обращает. Потом в нашем

разговоре наступила некая пауза, по которой я понял, что Вл. Льв. захотел встретиться со мной вовсе не из-за "прокуренных" зубов. Паузу эту я заполнял незначущими вопросами, надолго ли он в Берлине? Почему выпускает "Общее дело" так нерегулярно? Вл. Льв. на всё это отвечал, но я чувствовал, что к главной теме нашего свидания мы еще не перешли. И наконец Вл. Льв., как бы невзначай, сказал:

— Я хотел вас спросить, Р. Б., не знаете ли вы некоего доктора Калиниченко?

Калиниченко? — переспросил я.

— Да, — не сводя с меня глаз проговорил Бурцев.

— Нет, Вл. Льв., не знаю...

— Нигде, никогда не встречали?

— Нигде, никогда. И даже не слышал ни от кого эту фамилию.

Странно. А мне сказали, что у вас есть такой знакомый. И мне это важно знать.

— Нет, Вл. Льв., такого знакомого никогда у меня не было и даже не слышал о таком, — И чтоб выявить какую-то явную нелепость этой темы, я добавил: — Да, одного доктора Калиниченко я действительно знаю "заглаза", но и вы его, Вл. Льв., наверное знаете. Я в газетах часто встречал объявление: "Калелфлюид" доктора Калиниченко восстанавливает силы и т. д.". Эта моя шутка явно подействовала. Я видел, что Вл. Льв. вполне уверился, что никакого доктора Калиниченко я не знаю.

— А почему вы спросили меня о Калиниченко? Вам кто-нибудь говорил, что у меня есть такой знакомый?

— Да, говорили. И мне это важно. Я и приехал это проверить.

— Нет, к сожалению, ничем вам тут помочь не могу.

Вскоре мы вышли из кафе. Я хотел проводить Вл. Льв. в пансион, где он остановился, но Бурцев сказал: — Нет, Р. Б., я домой еще не пойду. Мне надо зайти в издательство "Петрополис", поговорить. Где оно? Вы не знаете?

— Конечно, знаю. Это же мое издательство. Это совсем тут недалеко. Если хотите, я вас провожу.

— Отлично, спасибо.

И мы вместе пришли в "Петрополис". Там и А. С. Каган и



*Р. Б. Гуль и В. Л. Бурцев, Берлин, 1932.*

Я. М. Блох были обрадованы такому приходу: еще бы — автор романа вместе с его знаменитым персонажем! И тут же захотели нас вместе сфотографировать. Вл. Льв. ничего не имел против. Я тоже. И нас сфотографировали на дворе около издательства.

Возвращаясь домой, я думал об этом смехотворном розыске через меня какого-то доктора Калиниченко. И решил, что кто-то из "работавших" с Бурцевым людей (а с ним с некоторых пор стали "работать" лица, весьма сомнительные по советской агентуре, хотя бы ген. Дьяконов и др.) пытались повести его по какому-то ложному следу, измыслив "доктора Калиниченко". Когда я рассказал об этом Борису Ивановичу, он засмеялся и со мной вполне согласился: "Да, в Париже его сейчас окружают весьма подозрительные типы..."

И вот теперь, через много лет я шел в Париже к Владимиру Львовичу на 13 рю де Фелантин в 5-м аррондисмане, чтоб попросить его поддержать мое прошение, ибо имя Бурцева французы прекрасно знают.

Былой редактор "Былого" и "Общего дела", былой разоблачитель Азефа, чье имя тогда обошло газеты всего мира, жил на первом этаже в не просто бедной, а нищенской, крохотной квартирке: комнатуха с кухонькой. Беспорядок и неубранность в квартирке были несусветные. Книги, газеты, пачки "Общего дела" заваливали всё. Владимир Львович занимался одним: борьбой с большевизмом, пусть даже водиночку! Статьи Бурцева в "Общем деле" всегда кончались заклинательно и с восклицательным знаком: "Проклятье вам, большевики!" Тогда многим это казалось маниакальной идеей, смешным дон-кихотством. Но жизнь показала, что бурцевское "проклятье" было провиденциальным. Уже захватившие полмира большевики не заслуживают ничего кроме проклятья.

Меня Владимир Львович принял очень дружески. Хвалил моего "Дзержинского". С грустью разводя руками, говорил, что "мир не видит страшной опасности большевизма и преступно попустительствует его распространению, за что страшно расплатится".

Прошение он, конечно, подписал. Рассказывал, что в свободное время от борьбы с провокацией и большевизмом, по-прежнему (всю жизнь!) пишет книгу о Пушкине. "А издать, —

Бурцев грустно развел бледными руками, — негде! А самому — не на что!”.

Умер Вл. Льв. Бурцев, этот замечательный по своей душевной чистоте человек, в Париже, оккупированном немцами. Андрей Седых в своих воспоминаниях “Далекие, близкие” рассказывает, что умер Бурцев от заржавленного гвоздя, которым была прибита дырявая подметка его башмака (может быть, сам и прибывал?). Гвоздь поранил ногу, началась гангрена, общее заражение. Бурцев лежал в каком-то городском госпитале, редко приходя в сознание. В минуту проблеска, в полубреду Владимир Львович слез с кровати и пошел было к двери.

— Вы куда? — кинулась к нему сиделка.

— Домой... — еле слышно произнес Бурцев и упал без чувств.

### “Прыгайте, граждане!”

Разумеется, Милюков оказался прав. Прощение о визах для семьи, подкрепленное подписями трех “бывших министров” и В. Л. Бурцева не возымело никакого действия. Об этом мне лично сообщил, вероятно, сам заведующий отделом таких виз мсье Бланшар с той безукоризненной французской вежливостью, которая хуже грубости. На эту “ледяную вежливость”, свойственную французским чиновникам (в особенности, когда дело касается “метеков”) я нарывался не раз. А положение семьи в Германии становилось поистине трагичным. Брат, работавший чернорабочим на прокладке какого-то шоссе, оказался безработным и на его “пособие по безработице” семья прожить не могла. Поэтому каждый второй франк, что мы с женой зарабатывали в Париже (а зарабатывали скудно), переводили в Фридрихсталь. Но заработки наши были ничтожны. И надо было предпринять все, чтоб как-то перетащить семью на ферму во Францию. Работать на земле, крестьянином, это была давняя мечта брата.

И вот я метался в поисках этой растреклятой визы, иногда приходя в отчаяние, ибо предчувствовал превращение гитлеризма в войну, так же, как теперь предчувствую страшность большевизма, который ввергнет человечество в еще большую

катастрофу и духовное вырождение.

Все эти беды с визами мы обсуждали всегда с Б. И. Николаевским; он, как мог, старался помочь. Какие пороги я не обивал! Был у сенатора Мориса Виолетт, бывшего министра в кабинете Клемансо. В его роскошную квартиру на рю де Гренель сопровождал меня С. И. Левин, которому я и передал за "демарш" Мориса Виолетт сто франков. Но — провал, отказ. Ездил к какому-то французским "шишкам" с бывшим служащим царского посольства Тюфтяевым, вечно пьяным, которому тоже что-то платил из своих грошей. Но правильна русская пословица — "свет не без добрых людей". И я нашел двух: бывшего русского посла в Швеции К. Н. Гулькевича, которого Фритиоф Нансен пригласил в Лигу Наций работать в отделе помощи русским эмигрантам, и французского адвоката, мэтра Александра Тимофеевича Руденко; он (разумеется, совершенно безвозмездно!) стал помогать мне в моих непосильных хлопотах с визами.

К. Н. Гулькевич, которого я никогда в глаза не видал, а только переписывался, был видимо исключительным человеком. Вот, кстати, его характеристика в воспоминаниях И. В. Гессена "Годы изгнания": "Отрадным моментом в Стокгольме была встреча с бывшим посланником нашим К. Н. Гулькевичем, которого я знал в Петербурге директором департамента министерства иностранных дел. Его благородная скромность, строгая корректность и чарующая благожелательность не были принадлежностью дипломатического обличья, а служили проявлением прекрасной души и свидетельством лучших дворянских традиций". Вот с этим Константином Николаевичем у меня и завязалась сердечная переписка. В первом ответном письме он писал, что читал мои книги, что вполне понимает трагическое положение "разорванной семьи" и сделает все что может. И Гулькевич сделал. Несмотря на то, что денежные пособия эмигрантам в Лиге Наций были отменены, он выхлопотал мне ссуду для аренды фермы во Франции. И на эту ссуду я поехал в город Ажен, в департамент Лот и Гаронн, чтобы арендовать ферму. А это давало "шанс" на получение визы, ибо в этом департаменте тогда было много бросаемых и брошенных ферм. Поездка по чудесной Гаскони началась у меня из городка Генриха IV-го — Нерак. Поездка была великолепна. Я, действительно,

нашел русского фермера Кайдаша, который бросал свою небольшую ферму, но хотел ее продать, а не сдать в аренду. На это денег у меня, конечно, не было.

Мэтр Александр Тимофеевич Руденко был старый парижанин, работавший с известным французским адвокатом и депутатом Палаты, "другом русской эмиграции" Мариусом Мутз. Жил Руденко, как сейчас помню, на 25 рю Пьер Демур в 17 аррондисмане. Толстый, добродушный, приветливый Руденко был оптимист и уверял, что как ни трудно, а визы эти мы получим. Он говорил обо мне со своим другом, видным социалистом и членом Палаты Депутатов Полем Рамадье (впоследствии недолгим премьером Франции) и направил меня к нему, дружески напутствуя: — "Вы, Р. Б., не смущайтесь, по виду Рамадье очень замкнутый, суровый человек, но у него не только доброе, а добрейшее сердце...".

У Рамадье меня поразила скромность его небольшой квартиры по сравнению чуть ли не с музейной роскошью квартиры Мориса Виолетт. Рамадье обещал написать о моем деле в отдел виз министерства внутренних дел. Написал. Но и тут все уперлось в "вежливый отказ" мсье Бланшара. Я был в отчаянии, а Руденко уговаривал не "терять нервы". Мне казалось, Милюков прав: "французских чиновников ничем не прошибешь".

В это время вызвал меня Б. И. Николаевский обсудить "ситуацию". Я пришел. Б. И. говорит: — "Я о вас и вашем деле вчера говорил с Мануилом Сергеевичем Маргулиесом. Он очень видный масон. Когда я ему рассказал о ваших хлопотах и трагическом положении семьи, он сказал, что мог бы помочь по масонской линии, что депутата от Лот и Гаронн, Гастона Мартэн он знает, как масона, и мог бы к нему обратиться, но для этого, говорит, надо, чтобы Роман Борисович вступил к нам в ложу.

Наступила пауза. Такого "оборота" я никак не ожидал. А Б. И. улыбается: — "Ну, как? Маргулиес к вам очень хорошо относится, лестно отзывался о вас, как писателя, и я понял, что он заинтересован, чтоб вы вступили в его ложу".

На улыбку Б. И. я ответил не сразу.

— Вам-то хорошо, вы человек архивный, вот у вас и будет "собственный корреспондент в масонстве". — Борис Иванович

засмеялся своим сопрановым смехом — А мне каково? О масонстве я не имею никакого представления, и что это за ложа, и Маргулиеса не знаю. Если б я был хоть уверен, что он действительно достанет визы. Но после всех неудач я и в этом не уверен.

— Обдумайте. По-моему, вы ничего не теряете, — и Б. И. протянул записку, сказав, — вот телефон и адрес Маргулиеса. Он хочет с вами позавтракать и поговорить о вашем деле.

Я взял записку.

Посоветуюсь с Олечкой.

— Я то считаю, прыгайте, гражданин! — напутствовал, прощаясь, Борис Иванович.

Дома поговорили с Олечкой. И я решил — ”прыгнуть”!

### У М. С. Маргулиеса

Мануил Сергеевич Маргулиес — до революции известный петербургский адвокат. Во время гражданской войны — министр торговли, народного здоровья и снабжения в эфемерном (как оказалось) Северо-Западном Правительстве при генерале Юдениче.

Жил Маргулиес на рю Верди в 16 аррондисмане, в прекрасной барской квартире. Приехал я к завтраку. Принял меня Мануил Сергеевич исключительно любезно. По виду был импозантен. Высокого (почти громадного) роста, мощный, полный, грузный. Лицо красивое, правильных черт, небольшие седые усы, бритый. Вообще — барин, интеллигент.

Стол накрыт на две персоны. Завтрак прекрасный. Подавала прислуга. Вообще, никакой ”эмигрантскости”, как у Гучкова, Милюкова, Бурцева не было и в помине. Сначала М. С. попросил меня рассказать о деле с визами. Я рассказал. Он посочувствовал. И сразу перешел ”к предмету”.

— Я, Р. Б., вам, конечно, очень сочувствую в вашем трудном положении и хотел бы помочь. Но реально помочь вам я могу, по-моему, только моими масонскими связями. Вот вы, например, упомянули имя депутата от Лот и Гаронн Гастона Мартэн, я его знаю, как масона, и могу обратиться к нему с просьбой похлопотать о вашем деле в министерстве внутренних

дел. Но всё это я могу сделать, конечно, если вы вступите членом в нашу ложу. Тогда я могу хлопотать о вас, как о "брате".

— Мануил Сергеевич, — сказал я, — скажу вам откровенно, о масонстве я не имею никакого представления. Все, что я о масонстве знаю, это по "Войне и миру" Толстого. Помните, как Пьер Безухов встречается в Торжке, кажется, с большим масоном Баздеевым и тот вовлекает его в масонство.

— Ну, это старина матушка! — с улыбкой перебил меня Маргулиес. — Я с вами буду тоже совершенно откровенен, ибо хоть мы и не были знакомы, но я вас знаю, как писателя, у нас много общих друзей, отзывающихся о вас очень хорошо. Я состою досточтимым мастером ложи "Свободная Россия" в "Великом Востоке Франции". Я основал эту ложу. И "Великий Восток Франции" стремится основать возможно больше русских лож, как духовный и политический противовес большевизму. Пока у нас только две ложи: наша "Свободная Россия" и "Северная Звезда", где досточтимый мастер Николай Дмитриевич Авксентьев, которого вы хорошо знаете. Скажу заранее, чтоб парировать ваше впечатление от описания Толстым ритуала посвящения Пьера Безухова в масоны. Во Франции испокон веку существуют два масонских Посвящения — "Великий Восток Франции" и "Великая Ложа Франции". Между ними есть разница в том, что в "Великой Ложе Франции" ритуал посвящения гораздо сложнее. Там блюдетя "шотландский ритуал". У нас все это значительно упрощено. Короче скажу, наше объединение больше с политическим, антибольшевицким уклоном. И если вы вступите к нам в ложу, то встретите многих своих знакомых.

Мануил Сергеевич был умный человек и совсем не мистик, а практик. Никаких проповедей (как Баздеев Пьеру Безухову) "о внутреннем самоочищении", "о Боге, постигаемом жизнью", "о масонстве, как достижении истины", "о праотце Адаме" он не говорил. Как опытный адвокат, он, вероятно, чувствовал "клиента". И нажимал главным образом на политическую, антибольшевицкую линию и на помощь в деле с визами. По всему тому, что и как он говорил, я видел, что ему действительно хочется вовлечь меня в "свои сети": как никак у меня "биография", некое литературное имя, книги и по-русски, и по-французски, и я уж не такой петый дурак, не какая-нибудь орясина.

После завтрака, когда мы пили чай, я сказал Мануилу Сергеевичу:

— Знаете, М. С., дайте мне срок в два дня на размышления. Я вам позвоню о своем решении и думаю, оно будет положительным.

— Прекрасно. Позвоните, Р. Б., примерно в это время я всегда дома.

Простились мы сердечно. Приехав домой, я рассказал все Олечке. Сказал, что по всему тому, что говорил М. С., думаю — ничего неприятного тут не будет, а в визах Маргулиес мне поможет (кстати, в этом я ошибся, ничего он сделать не мог). Олечка подвела итог: "Что же, попробуй!". Поехал к Николаевскому, тот меня по-прежнему "подталкивал", говоря, что у Маргулиеса большие связи во французском мире. Помню, при этой встрече Николаевский вытащил из какого-то чемодана голубую, золотом шитую ленту через плечо и такой же голубой с золотом, довольно большой, передник. И на мой удивленный вопрос, — что это такое? — сказал, что это масонские одеяния, он их получил от семьи одного умершего масона. Николаевский всё собирал "для архива", для "архива" и меня "подталкивал". Сам же, как атеист, марксист, разумеется, в масоны не вступил бы.

### **Кто из русских были масонами**

Местом зарождения ордена вольных каменщиков были, как известно, Франция и Англия, точнее Ирландия ("О, Ирландия! океанная, мне неведомая страна!") и Шотландия. В 1725 году была основана "Великая Ложа Ирландии". В те времена католические священники совмещали и церковь и масонство. В 1736 году в Шотландии была основана "Великая Ложа Шотландии". Наиболее видным шотландским масоном был известный поэт Роберт Бёрнс.

Во Франции первая масонская ложа была основана в 1721 году в Дёнкерке. Французские вольные каменщики внесли в масонство тенденцию антиклерикализма. Как известно, вольным каменщиком был Вольтер и, казалось бы, не очень с ним схожий Филипп Эгалитэ, до революции — великий мастер "Великого Востока Франции". В революцию Филипп Эгалитэ

отказался от сего поста и своим голосованием отправил своего кузена Людовика 16-го на эшафот. Это, конечно, плохо увязывается с масонской "любовью к людям как братьям". Впрочем, и сам былой "великий мастер" отдал свою голову тому же эшафоту на той же Гревской Площади. Очень быстро масонство распространилось в Германии. И в Россию пришло с Запада.

Кто же из знаменитых и известных людей России, в 18-м и начале 19-го веков, были масонами?\* А. С. Пушкин\*\*, посвящен в ложе "Овидий". А. С. Грибоедов, посвящен в ложе "Объединенные друзья", барон А. А. Дельвиг ("Меня зовет мой Дельвиг милый / Приятель юности моей") — ложа не указана, генерал-фельдмаршал М. И. Голенищев-Кутузов, князь Смоленский, посвящен в ложе "К трем ключам", член ложи "Овидий" и "Три знамени", граф М. М. Сперанский, член ложи "Северная Звезда", А. П. Сумароков, указан в списке великих мастеров, но ложа не указана, генералиссимус А. В. Суворов, князь Италийский, граф Рымникский, член ложи "К трем звездам", граф Ф. П. Толстой, президент Академии Изяшных Искусств, известный модельер и скульптор, член ложи "Камень истины", вел. кн. Константин Павлович, наследник престола, член ложи "Объединенные друзья" и "Астреи", М. М. Херасков, автор масонского гимна "Коль славен наш Господь в Сионе", музыка Бортнянского. Обрываю перечисление, опускаю Новикова, Радишева, Рылеева и мн. др. Отмечу только кажущееся "курьезом" масонство любимца императора Николая I-го, шефа жандармов графа А. Х. Бенкендорфа (ложа "Объединенные братья") и начальника III-го отделения Е. И. В. канцелярии полк. Л. В. Дубельта (ложи "Объединенные братья" и "Палестина").

Известно, что в первой половине 19-го века масонские ложи в России были закрыты. И все же кое-какие масонские организации существовали и участвовали в них весьма видные люди. Так, например, перед тем, как появиться в царском дворце роковому Распутину, о чем так хорошо писал Н. Гумилев:

---

\*См. Tatiana Bakounine. Docteur de l'Université de Paris. "Le Répertoire biographique des francs-maçons russes" (XVIII et XIX Siècles). Ed. "Petropolis". Bruxelles. s. d. (655 p.).

\*\*См. масонские стихи Пушкина "Генералу Пушину", основателю ложи "Овидий".

В гордую нашу столицу  
Входит он, Боже, спаси!  
Обворожает царицу  
Неодолимой Руси.

И не упали, о, горе!  
И не сошли с своих мест  
Крест на Казанском соборе  
И на Исакии крест.

перед этим, в 1901-1902 гг. "в гордую нашу столицу" не вошел, а въехал некий француз мсье Филипп, известный "лионский целитель", которого официальная французская медицина считала человеком не только "не имеющим права практики", но и "подлинным шарлатаном". Но этот "сверхъестественный" человек, обладавший даром "внушения" и "целительства", легко проник к царице и царю. И как пишет В. Э. Мишле в книге, вышедшей в 1937 году, "через Филиппа последний русский царь был... посвящен в мартинизм", доктрина которого покоилась на мистическом утверждении, что "человек в себе имеет божественный свет, о котором не подозревает". П. Б. Струве в журнале "Освобождение" (№ 8 2/15 октября 1902 г.) по поводу Филиппа писал: "В петербургских кружках, близких ко дворцу много говорят про настроения Государя. С весны нынешнего года на него имеет большое влияние некий г. Филипп, гипнотизёр и оккультист... Без Филиппа, говорят, не принимаются никакие решения, г. Филипп дает советы по важным вопросам, как семейной жизни, так и государственной. Он вызывает тень покойного императора Александра III-го, внушающего те или иные решения. Влияние Филиппа — неоспоримый факт". В переписке императора Николая II-го и императрицы Александры Федоровны императрица упоминает мсье Филиппа семь раз. Приведу хотя бы две выдержки. В письме от 6 сентября 1915 года: "Скоро праздник Пречистой Девы — 8-го числа. Это мой день — помнишь m-г Philipp'a — и Она нам поможет". В письме от 14-го декабря 1916 года: "Глупец тот, кто хочет ответственного министерства, писал Георгий (вел. кн. Георгий Михайлович, Р. Г.). Вспомни, даже m-г Филипп сказал, что нельзя давать конституцию, так как это будет гибелью России и твоей..."

Пребывание мсье Филиппа при дворе кончилось скандалом и удалением этого "мартиниста" из России. И его "посвящения", вероятно, отпали.

### Русские масоны в Париже

В Париже, как и говорил Мануил Сергеевич, в "Великом Востоке Франции" (храм на 16 рю Кадэ, Париж, 9) было две русских ложи — "Свободная Россия" и "Северная Звезда". В "Великой Ложе Франции" (храм на 8 рю Пюто, Париж, 17) было шесть: "Астрея", "Северное Сияние", "Гермес", "Юпитер", "Гамаюн", "Лотос". Так как масонство было орденом "тайным", то, разумеется, вокруг "тайн" росли вымыслы, порой глупо-нелепые, рассчитанные на низкопробные вкусы. Я о масонстве узнал мало, но что узнал, расскажу, хотя древним масонским уставом это запрещено и даже карается физическим уничтожением "рассказывающего", т. е. смертью. Авось, думаю, как-нибудь обойдется.

### Инсталляция

Начну с посвящения, что на языке вольных каменщиков называется — инсталляция. В назначенный день и час я должен был приехать в храм "Великого Востока Франции", где меня у входа встретит один из братьев ложи "Свободная Россия". Я спросил Маргулиеса, как он меня узнает? — "Не беспокойтесь, он вас очень хорошо знает".

И вот, с небольшим опозданием (минут в пять) я подошел к храму на 16, рю Кадэ. У храма стоял невысокий, худой, пожилой человек, ожидая меня. Я его знал по Берлину. Это был Борис Львович Гершун — до революции известный петербургский адвокат по гражданским делам (Маргулиес был по уголовным). В Берлине Гершун продолжал адвокатскую практику, а по приходе Гитлера переехал в Париж. Мы поздоровались, как давние знакомые, и он повел меня по коридорам и большим казарменным комнатам храма. Находу Б. Л. сказал: — "Р. Б., ложа уже вся в сборе. Поэтому я проведу вас сразу в комнату медитаций, где вы пробудете минут десять, чтоб собраться с

мыслями, проверить себя в последний раз, сосредоточиться, а потом я за вами приду”. — “Хорошо”.

Мы поднимались по широкой грязноватой лестнице (в этом старинном мasonicком храме вообще всё было как-то грязновато). Б. Л. остановился на одном повороте широкой лестницы, отпер ключом дверь в стене и я вошел в крошечный отсек, где можно было только сесть на что-то вроде табурета, перед которым в стену была вделана доска (вместо стола), на ней лежала Библия на французском языке. Стены и потолок отсека были красочно расписаны. — “Вот, посидите здесь, подождите, и минут через десять я приду”, с дружеской улыбкой сказал Б. Л. По его улыбкам и дружественному, совсем не торжественному тону я чувствовал, что он, как и Маргулиес, не “чересчур мистик”.

Итак, я остался заперт в отсеке. Сел на табурет. И вдруг вместо “медитаций” меня разобрал какой-то неудержимый внутренний смех. Настолько глупый, что я сам себя оборвал внутренне: — “Дурак! — сказал я себе, — ничего смешного тут нет!”. Правда, медитацией я не занимался. А стал рассматривать разрисованность стен. На потолке было изображено “всевидящее око”, освещенное внутренним светом. На стенах, в красках, нарисованы — солнце, луна, молоток вольного каменщика, лопата, какой-то столб... Десять минут прошли быстро. В двери завозился ключ. Она открылась. Передо мной опять был Б. Л. с черным платком в руке.

— Вы готовы, Р. Б.? — спросил он. — “Готов”. — “Прекрасно. Теперь, Р. Б., я завяжу вам глаза вот этим платком, — с той же милой улыбкой проговорил Б. Л., — и поведу вас в ложу, где заседают братья. Так сказать, на допрос, — улыбался Б. Л., — Братья будут задавать вам разные вопросы”. И чуть понизив голос, дружески сказал: — “Один из братьев задаст вопрос о вашем участии в газете “Накануне”, это я говорю доверительно, чтоб вы знали”. “Очень хорошо. Я никогда не стеснялся сменовеховства и участия в “Накануне”. — “Чудесно. Это я так, на всякий случай... А теперь повернитесь, пожалуйста, я завяжу вам глаза”. Я повернулся. Б. Л. завязал мне не только глаза, но почти все лицо легким, но плотным черным платком. Я очутился в темноте. Б. Л. взял меня под руку и повел. Дорога была

недалекая. Я чувствовал, что мы вошли в какую-то комнату, в которой были люди (кто-то откашлялся, кто-то скрипнул стулом). Мы сделали несколько шагов. Б. Л. остановил меня, проговорив: — “Садитесь, Р. Б. Вот здесь стул”. Я сел на стул. Хоть в темноте, но я чувствовал, что мы в ярко освещенной комнате.

Через мгновение раздался сильный троекратный стук. (Это был стук деревянного молотка). И голос Маргулиеса (досто­ чимого мастера ложи) проговорил: — Дорогие братья, в нашу ложу “Свободная Россия” стучится Роман Борисович Гуль...” И дальше шли какие-то уставные слова о том, что братья должны выяснить, достоин ли Р. Б. стать членом ордена вольных камен­ щиков и т. д. Окончив уставную формулу, Маргулиес сказал:

— У кого из братьев есть вопросы к Р. Б.?

Прошла короткая пауза. И незнакомый мне голос сказал:

— Вы верите в Бога?

— Верую. По крайней мере, хочу веровать.

После некоторой паузы другой голос спросил:

Верите ли вы в наш масонский девиз — свобода, равен­ ство и братство? И если верите, то как?

— Верю в свободу, ограниченную законом. В равенство людей перед законом и Богом. И в братство, то есть, в любовь к ближнему, хоть это и трудно достижимо.

— Любите ли вы музыку Рихарда Вагнера? — спросил третий голос.

Этому вопросу я крайне удивился. При чем тут Вагнер? Но по вступлении в ложу, присутствуя на посвящениях, я увидел, что вопросы задаются самые неожиданные, иногда невероятные, к “предмету масонства” совершенно не относящиеся. Так, при посвящении одного малокультурного человека кто-то из братьев спросил: — “Какое здание в Париже вы считаете самым совершенным по архитектуре?” И человек с завязанными глазами ответил: — “Трокадеро”, что вызвало улыбки и удивленные пере­ глядывания, ибо старое Трокадеро было, вероятно, самым безобразным зданием Парижа. На вопрос о музыке Вагнера я ответил:

— Кое-что люблю. Например, марш валькирий. Но осно­ вательно музыку Вагнера не знаю.

— Почему вы пошли в Белую Армию, участвовали в "Ледяном Походе", и ушли из нее?

— Пошел потому, что считал необходимой вооруженную борьбу с большевиками. А ушел потому, что увидел, что такая Белая армия победить не может, ибо она была лишена духа народного восстания.

— Почему вы пошли в газету "Накануне" и стали сменовеховцем? — проговорил голос из левого угла.

— Пошел в "Накануне" и стал сменовеховцем потому, что тогда, в начале двадцатых годов, верил, что НЭП вынудит большевиков к отступлению и страна постепенно перейдет к правовой, нормальной государственности.

После некоторого молчания кто-то спросил:

Каким образом вы попали в гитлеровский концлагерь? За что?

Попал, вероятно, по глупости какого-то некультурного гестаповца, принявшего — при конфискации нацистами моей книги "Азеф" в немецком переводе — ее подзаголовок, как то, что автор ее — террорист. Заглавие книги по-немецки было: "Boris Savinkov, Der Roman eines Terroristen".

Допрашивали меня минут пятнадцать-двадцать. Ни одного чисто масонского вопроса — "о вере в возможность очищения и самосовершенствования", "о необходимости деятельной любви к людям" и пр. не задавали. И я понял, что М. С. правильно говорил, что их ложа больше "братское политическое объединение, чем мистическое". Когда вопросы прекратились, наступила длительная пауза. Мне почудилось, что кто-то с кем-то перешептывались. А потом раздался тот же троекратный удар деревянного молотка и в центре комнаты голос М. С. произнес:

— Есть ли у братьев еще вопросы к Р. Б.?

Ответило молчание.

— Вопросов нет, — проговорил М. С., — и я, как досточтимый мастер ложи "Свободная Россия" Великого Востока Франции объявляю, что Р. Б. Гуль принят в нашу ложу вольных каменщиков, как брат, в градусе ученика. Брат Гершун развяжите глаза брату Р. Б. Гулю.

Ко мне кто-то подошел. Это был Б. Л. Гершун. Развязал на затылке, спавший с лица, черный платок, и я увидел в ярко освещен-

щенной комнате человек 20-30 членов ложи. В центре на каком-то возвышении (вроде кафедры) сидел досточтимый мастер ложи М. С. Маргулиес, на груди у него (через плечо) была красная, шитая золотом, лента. А когда он встал, я увидел на нем такой же красный, шитый золотом, передник. На некоторых братьях были такие же красные ленты через плечо и передники. Но их было немного. Большинство были в голубых лентах и голубых передниках, какие мне показывал Б. И. Николаевский. Позднее я узнал, что есть голубое масонство — до третьего градуса мастера (ученик, подмастерье, мастер). И — красное масонство (с третьего градуса и выше до тридцать третьего). Ко мне подошел Б. Л. Гершун, привязал мне маленький кожаный передник (и никакой ленты), которые носят "ученики", масоны первого градуса.

"Посвящение", то есть "инсталляция", окончилось. И все мы пошли в другую комнату разделить братскую "агапу", то есть, братскую трапезу, застолье. Тут уж все братья сняли ленты и передники и уселись за сервированный длинный стол. И за едой (хорошей) начался самый непринужденный, обычный разговор. И это было приятное общество культурных, интеллигентных людей.

### "Агапа"

За столом я оказался с интересными людьми. Против меня сидел Александр Иванович Хатисов, справа и слева от него К. К. Парчевский и М. Е. Фридиев. А. И. Хатисов — лет шестьдесят с лишним, но сильный, крепко сложенный, с лысым черепом, по виду деловой, волевой, замкнутый, неразговорчивый, был "братом оратором" ложи. Позднее я слышал его выступления — всегда без всяких "цветов красноречия", но умные, свободные, как у человека, привыкшего к публичным выступлениям. До революции Хатисов был городским головой Тифлиса, что, как говорил Маргулиес, требовало в работе большого такта и дипломатических способностей, ибо большинство населения Тифлиса — грузины, а Хатисов армянин, хотя по типу ничего армянского в нем не было. Пост городского головы он занимал долго и успешно. На Кавказе, как рассказывал Маргу-

лиес, Хатисов сблизился с великим князем Николаем Николаевичем и был главным воротилой в подготовке дворцового переворота, целью которого была замена на троне слабовольного Николая II волевым Николаем Николаевичем. Вспыхнувшая революция смела все эти "подготовки". Маргулиес говорил, что у Хатисова есть воспоминания. Они никогда не были напечатаны. А жаль. Это, вероятно, был исторически ценный документ человека много и многих знавшего.

Сидевшие рядом со мной Сергей Александрович Будаговский и Владимир Владимирович Толли оба были прекрасными людьми. Бывает так, вы встречаете человека и с первых же слов чувствуете, что он прямодушен и "чист душой". Вот таким *чистым* был Сергей Александрович. Образованный, начитанный, он окончил в Париже Сорбонну. По специальности — экономист, хорошо был устроен в каком-то большом французском предприятии. В ложе он был "брат секретарь". Мы с ним были в самых хороших отношениях. И я истинно грустил, когда после победной для союзников войны, в угаре охватившего парижскую русскую эмиграцию "патриотизма", С. А. в числе этих "угаревших", обманутых кагебешной политикой Сталина, вернулся в СССР. Сколько мы с ним спорили! Как я его убеждал не делать этого рокового шага! Но С. А. твердил одно: коммунизм исторически изжит, национальная Россия проснулась и наше место там. Прямодушие, честность с собой, любовь к России толкнули его... в СССР, думаю, прямиком на Архипелаг Гулаг.

Такова ж была судьба и Вл. Вл. Толли. Выдающийся инженер, прекрасно устроенный во Франции, после войны и он (как С. А.) поддался "угару патриотизма". И тоже сделал непоправимый шаг — уехал в "возрождающуюся национальную Россию", которая обернулась ему Архипелагом Гулаг.

Сидевший рядом с Хатисовым Михаил Евгеньевич Фридиев был другого сорта человек, непохожий на Будаговского и Толли. Умный, образованный пражанин (откуда он приехал в Париж), он был человеком не без хитринки, но вполне добропорядочным. В Праге он примыкал к группе "Крестьянская Россия", лидером которой был Сергей Сергеевич Маслов, человек деловой и боевого темперамента. Маслов издавал бескомпромиссно-

антикоммунистическую "Крестьянскую Россию", журнал, который проникал и в СССР и, естественно, стоял большевикам поперек горла. Недаром по занятии Праги красными, СМЕРШ мгновенно схватил Маслова и убил. Один раз при приезде Маслова в Париж Фридиев сказал, что С. С. хочет со мной познакомиться. И они были у нас. Причем (почему-то помню), за чаем Сергей Сергеевич очень хвалил сваренное Олечкой варенье из райских яблочков и с удовольствием пил с ним чай.

Другим соседом Хатисова на "агапе" был человек совсем другого сорта, чем Будаговский, Толли, Фридиев. Это был Константин Константинович Парчевский. По образованию юрист, талантливый журналист, сотрудник "Последних Новостей", невысокий, невыразительной наружности, причем, вечно с потными руками, будто он их только-только опустил в воду. При знакомстве с Парчевским меня сразу в нем что-то оттолкнуло. Это почти всегда бывает: либо интуитивное притяжение к человеку, либо отталкивание, иногда бывает, конечно, и безразличие.

Старый, многоопытный чекист Кирилл Хенкин написал книгу "Охотник вверх ногами", книгу *двухлицевую* (непонятно, "куда автор смотрит", "для кого пишет": *для нас или для них?*). По-моему, его все-таки больше клонит к Востоку. Тем не менее Хенкин пишет много верного, например о "третьей эмиграции" и как ее фильтруют при выезде, и о том, что эмиграция всегда была (и есть!) для КГБ большой резервуар стукачей, агентов и даже убийц. Эфрон, Скоблин, Третьяков, Плевацкая, неизвестный убийца Навашина среди бела дня в Париже, убийца сына Троцкого, Сергея Седова, спокойно проживающий в США и даже, кажется, "в чине" профессора, таинственное "самоубийство" беглого резидента НКВД В. Кривицкого в Вашингтоне. Да и о Горгулове в Париже упорно говорили, что руку параноика подтолкнули его "просоветские друзья". И с внутренним криком "фиалка победит машину!" Горгулов убил президента Франции Поля Думера. Лозунг Горгулова о "фиалке и машине" я беру из его книги "Тайна жизни скифов". Проза и стихи.. "Фиалка", по Горгулову, это, оказывается, Россия, а "машина" — это "гнилой Запад". И эта самая "фиалка", по Горгулову, должна победить "машину". Помню, какую злорадно-подлую статью о "Горгуловщине" напечатал в "Известиях" пресловутый Илья Эренбург,

утверждая, что вся русская эмиграция это и есть "горгуловщина". Впрочем, в "Известиях" же Эренбург напечатал роскошную статью о Сталине — "Наш рулевой". В это время Эренбург ВСЕ УЖЕ МОГ. Даже мог выйти из членов "Антифашистского еврейского комитета" *за несколько недель до ареста и расстрела его членов.*

О Парчевском Хенкин пишет, что во времена служения Хенкина в НКВД (своей подлинной работы он не вскрывает) Парчевский работал не только в "Последних Новостях", но слал некие "рапорты" и в советское полпредство, то есть попросту "стучал". Когда "Последние Новости" послали Парчевского в Парагвай исследовать, почему русские эмигранты из Франции вдруг потянулись гужом в эту "экзотическую Америку". Парчевский ездил в Парагвай и напечатал интересный репортаж о сем парагвайском "исходе" русских из Франции. Репортаж вышел и отдельной книгой. Но копии его шли, оказывается, и в полпредство. Не удивляюсь. Впечатления Иисуса Христа Парчевский никак не производил. Во время войны он со всей семьей уехал в СССР, причем вовсе не на Архипелаг Гулаг, а на работу. Допускаю, что и в ложе "Свободная Россия", где после Хатисова Парчевский стал "братом-оратором", этот человек с мокрыми руками "постукивал" КУДА НАДО.

История провокаций в русской эмиграции еще не написана. Только Б. В. Прянишников в "Незримой паутине" описал, как РОВС был насквозь пронизан т. н. "Внутренней линией", т. е. советскими агентами. Но жизнь показывает, что в каждой русской зарубежной политической организации и в каждом значительном органе печати были советские "стукачи".

В партии социалистов-революционеров таковым был видный "потомственный" эс-эр Вас. Вас. Сухомлин. "Потомственный" потому, что и папа и мама были заслуженные эс-эры-эмигранты. И родился сей Вас. Вас. в Париже, почему французский язык для него был, как родной. С этим господином я однажды встретился. Как-то, придя к нам, Б. И. Николаевский говорит: "Виделся вчера с Сухомлиным, в разговоре он спрашивал о вас, говорит, что хотел бы с вами познакомиться. У него большие французские связи, он редактор французской газеты "Ля Републик" и вам, Р. Б., стоит с ним познакомиться, он может

помочь в устройстве переводов на французский и книг и статей". — "Спасибо, — говорю, — позвоню". И позвонил. И был в "Ля Републик". Сухомлин любезно расспрашивал о концлагере, о чем пишу. Я сказал — о терроре, о Дзержинском. Он даже одобрил и вообще хорошо отозвался о моих книгах. При прощании звал заходить к нему в редакцию. Но так я его больше и не видал. Правильно говорят, Бог шельму метит. Сухомлин произвел на меня отвратное впечатление: толстый, какой-то косо-ротый, нечистоплотно одетый, глаза — один на вас, другой в Арзамас.

Как оказалось, провокатором у эс-эров Сухомлин был десятилетия. И разоблачен был случайно в Америке, после войны. Причем, защищали его с пеной у рта два закадычных друга по партии Вл. Ив. Лебедев и М. Л. Слоним. Вл. Ив. Лебедев был своеобразной фигурой: эдакий "удалой добрый молодец". Невысокий, приземистый с пронзительным цыганским лицом, он был кадровый офицер царской армии, но бросив военную службу, ушел в революцию, в эс-эры. Говорят, что в гражданскую войну, командуя отрядом армии Учредительного Собрания, где-то не то под Казанью, не то под Самарой, Лебедев шел в атаку впереди своего отряда в красной русской рубашке. Это, конечно, в стиле "удалого добра молодца". Так вот, когда Сухомлина все-таки разоблачили, И. Раузен, эс-эр и большой приятель В. И. Лебедева, рассказывал мне, что Лебедев "рыдал как ребенок" на квартире у Раузена. Было отчего "рыднуть". Лебедев десятилетия дружил, оказывается, не с партийным товарищем Сухомлиным, а с большевистским "стукачем" первой степени. Ведь Сухомлин был не только видным членом группы В. М. Чернова, но вместе с Черновым представлял партию во II-м Интернационале! Вот куда, и как легко, попадают большевистские стукачи! А теперь оказалось, Сухомлин в Америке, под псевдонимом В. Белкин был сотрудником большевистского "Русского Голоса" и корреспондентом коммунистической "Лэттр Франсэз", где писал гнусности о Викторе Кравченко, за что последний привлек газету к суду и выиграл процесс.

У монархистов великого князя Николая Николаевича и его окружение "освещал" не кто-нибудь, а царский генерал генераль-

ного штаба Монкевиц, скрывшийся в СССР. В правой националистической газете А. О. Гуасова "Возрождение" в Париже оказалось два стукача: — бывший лицеист, дворянин, талантливый журналист, видный масон Лев Любимов, после войны выпустивший в Москве воспоминания об эмиграции, полные невероятного вранья. А вторым "тайным советским агентом" (как пишет А. Седых в "Далекие, близкие") был некий Ник. Ник. Алексеев, бывший белый контрразведчик, после войны неизвестно куда канувший. В партии младороссов оказался "стукачем" сам "глава" партии А. Л. Казем-Бек, бежавший в СССР из Америки, бросив семью на произвол судьбы (вероятно, надо было торопиться). В. Л. Бурцева опутывал провокациями царский генерал Дьяконов, масон, скрывшийся в СССР. В группе А. Ф. Керенского появился весьма опасный агент, офицер-корниловец Коротнев, выкрававший у эс-эров этой группы архив Административного Центра. Этот Центр издавал "Информационный бюллетень" и из Ревеля забрасывал его в СССР. Украв архив, перед бегством Коротнев оставил записку, что убить Керенского "был не в силах". Думаю, Коротнев был плохой большевицкий агент. Его "прощальная" записка стала известна в эмиграции и, конечно, парижскому резиденту НКВД. А в сем учреждении за то, что "был не в силах убить" по головке не гладят. И получив от агента-вора Архив, Коротневу, вероятно, пустили пулю в затылок в лубяном подвале. Помню, как А. Ф. Керенский в Америке рассказывал мне, что этот тайный советский агент Коротнев был рекомендован ему другом Керенского, бывшим министром юстиции Временного Правительства П. Н. Переверзевым, как "исключительно честный и порядочный человек". Весь Архив Административного Центра хранился в особнячке на 9 бис рю Винёз, где А. Ф. Керенский жил один. "Часто, — рассказывал Керенский, — когда я был уже в постели, Коротнев стучал в дверь и просил разрешения войти поговорить". Керенский впускал его. И они иногда долго говорили о России, о политике, о большевиках, о том, о сём. — "И вот не убил!" — закончил свой рассказ А. Ф. — "Чем же вы, А. Ф., это объясняете, ведь он же свободно мог убить вас в постели в этом особнячке?" — А. Ф. широко улыбнулся и подняв указательный палец вверх, проговорил: — "Шарм!"

Я обрываю это отступление о "стукачах" и провокаторах-эмигрантах. Не моя тема. А нужно бы было, чтобы кто-нибудь об этом написал. Я коснулся ее только потому, что она пришла к слову, когда я вспомнил на первой "агапе" лежи "Свободная Россия" — "брата" К. К. Парчевского.

### Среди масонов

После вступления в ложу "Свободная Россия" отношения мои с М. С. Маргулиесом, естественно, стали ближе. М. С. было далеко за семьдесят, жил он один (жена умерла, сын ученый-китаевед жил где-то за границей). М. С. тяжело переносил одиночество. К тому ж у него был старческий порок: любил говорить, говорить, говорить, рассказывать и рассказывать. Хоть теперь я дожил до более глубокой старости, чем Маргулиес, слава Богу, *этого* порока у меня нет. Никогда не любил и не люблю *говорить*, я любил и люблю *слушать*. И для Маргулиеса был незаменим. Его рассказы я слушал с удовольствием. Поэтому-то он так часто и приглашал меня к традиционному завтраку.

Разумеется, слово свое М. С. сдержал: составил письмо "по масонской линии" к депутату от Лот и Гаронн — Гастону Мартэн, прося похлопотать в министерстве внутренних дел о визах для семьи "нашего брата Романа Гуля".

С этим письмом, захватив свои книги на французском языке ("Азеф", изд. Галлимар; "Тухачевский", изд. Мальфер; "Красные маршалы", изд. Бержэ-Левро), я отправился к Гастону Мартэн, с которым М. С. договорился о моем с ним свидании. Принял меня Гастон Мартэн весьма любезно в приятной квартире. Он был маленький, кругленький "французик из Бордо" (и действительно был из Бордо!). Поблагодарив за книги с "дедикасами", сказал, что напишет о них в газете "Л'Эвр". И действительно написал довольно лестно. О Тухачевском: "Nous avons eu déjà l'occasion de signaler ici même les livres de m. Roman Goul, et le caractère à la fois coloré, direct et un peu sommaire de leur présentation historique. L'ouvrage actuel est une biographie plus fouillée et semble-t-il plus objective, de l'actuel chef de l'armée rouge... Grâce à l'ouvrage actuel nous en possédons du moins un récit vivant et précis..."

Гастон Мартэн, разумеется, обещал написать в министерство внутренних дел о визах. Вообще, "было все очень любезно". Но эти "масонские связи" оказались, грубо говоря, липой. Как и раньше, в визах мне было отказано тем же "вежливым" мсье Бланшаром. А дальше я увидел, что у Маргулиеса никаких "магических" связей просто нет. И в этом смысле мой "прыжок" ("прыгайте, граждане!") оказался совершенно напрасным. Но о "прыжке" я не жалел, ибо встретил много интересных людей.

Во-первых, Маргулиес. Как-то М. С. рассказал мне, почему он так скоропалительно покинул Россию. Известно, что в 1912 году в Сибири, на Ленских приисках произошел расстрел демонстрации рабочих, вызвавший по всей России общее негодование. Зато теперь любые расстрелы в СССР, став "бытовым явлением", никаких общественных негодований не вызывают, ибо и общественности-то просто нет. Дело о Ленском расстреле в конце концов перешло в суд. Адвокатом со стороны рабочих выступил А. Ф. Керенский (совершенно безвозмездно, конечно, слава дороже денег!), а со стороны предпринимателей — М. С. Маргулиес. И вот сразу после Октября, когда в Петербурге большевицкие банды врывались в квартиры "буржуев" с обыском — искать "нет ли оружия", к М. С. Маргулиесу тоже ворвались. — "Конечно, никакого оружия у меня не было. — рассказывал Маргулиес, — но командовал отрядом какой-то еврей, полуинтеллигент, страшная бестия! И эта бестия спросила меня, тот ли я самый адвокат Маргулиес, который выступал на процессе о Ленском расстреле со стороны "капиталистов и империалистов"? (Ленские прииски принадлежали смешанной англо-русской компании). Да, говорю, выступал на процессе, но ничего против рабочих не говорил. А эта бестия никак не отвязывается; нас, говорит, не интересуется, *что* вы говорили, мы это можем установить. Нас интересуется, почему эти "капиталисты и империалисты" обратились *именно к вам*, а не к другому адвокату? Этого, говорю, я вам объяснить не могу, не знаю почему... Ну, одним словом, под конец он отвязался, но ушел с какими-то полуугрозами. И я понял, что лучше мне — от греха подальше — эмигрировать. И вскоре же покинул Россию..."

Помню, за одним из завтраков М. С. угостил меня графом Орловым-Давыдовым. В России Орловы-Давыдовы были

несметно богаты, о них говорили, что им принадлежит не то весь правый, не то весь левый берег Волги. Сейчас со мной за завтраком сидел большой (такой же, как Маргулиес), полный, с расплывшимся лицом старый человек, очень приятный в манерах, в разговоре. Маргулиес (до завтрака) мне сказал, что граф — старый масон, высокого градуса. Это именно он во времена Временного Правительства ежевечерне или еженощно, вместе с вел. кн. Николаем Михайловичем (историком), приезжали к замученному за день премьеру Керенскому и вели с ним какие-то долгие разговоры, причем граф привозил с собой своего повара, который готовил ужин для трех друзей. Думаю, это были масонские визиты. Думаю, что либеральный вел. кн. Николай Михайлович был тоже вольный каменщик.

Но завтракая и разговаривая с графом, я видел перед собой только старого русского барина, светского человека, а отнюдь не к. н. "государственного мужа". И в моем представлении этот старый барин связывался только с известным цыганским романсом "Я ехала домой / Душа была полна неясным для самой / Каким-то новым счастьем...". Когда я был гимназистом, во всех газетах шли отчеты о скандальном процессе известной петербургской певицы Пуарэ и графа Орлова-Давыдова. В чем там была суть, уж не помню, знаю только, что для этой цыганской певицы, возлюбленной графа, кто-то сочинил, ставший знаменитым, этот романс, и Пуарэ исполняла его "бесподобно": как она "ехала домой" и как что-то там "поняла"...

Гораздо интересней были завтраки с Маргулиесом, когда мы были вдвоем. Он рассказывал и рассказывал. Например, я как-то спросил его, масон ли Керенский? Маргулиес отмахнулся: — "Да какой он масон! Нет. Он был в Думской масонской группе, но эта же группа, как масонская, не признавалась ни во Франции, ни в Англии, потому что это было не ритуальное масонство, а именно *группа*, политически сочувствующая масонским либеральным идеям. Ни инсталляций, ни лож, ничего там не было, были только некие политические связи с заграничными масонами. Только и всего. Были там Некрасов, Терещенко... А когда Керенский стал эмигрантом и приехал в Париж, он в масонство не вошел, не захотел. И вот недавно он читал у нас в "Великом Востоке" доклад о положении в России. Но доклад

был en tenue blanche". Я спросил, что это такое? М. С. объяснил, что в масонские храмы часто приглашают на доклады разных политических и общественных деятелей не масонов, и тогда доклады их проходят, как обыкновенные лекции (без лент, передников, без всякого ритуала, разумеется). Это и называется на масонском языке — en tenue blanche.

Спрашивал я Маргулиеса о Милюкове и Гучкове — масоны ли они? Маргулиес рассказал, что и того и другого долго уговаривали вступить в орден, ибо их вступление было бы ценно, но и тот и другой отказались. Милюков на все уговоры отвечал: — "Я не мистик, а потому масоном стать не могу!". "И что вы хотите, он был прав, — говорил М. С., — до седых волос его любимым героем в русской литературе остается Базаров. А каким же масоном может быть Базаров? Кизеветтер правильно назвал Милюкова: "семидесятилетний комсомолец"! — "А Гучков?" — "И он отказался, заявив себя верным сыном Православной Церкви". — "Но ведь верующие православные в масонстве есть и были?" — "Конечно. У Гучкова это была просто отговорка. Причем, им обоим предлагали ведь не посвящение в "ученики", а сразу наивысший 33-й градус! Из русских его имеют только двое: я и Маклаков". — "А в какой ложе Маклаков?" — "У нас в "Великом Востоке", в ложе "Северная Звезда".

Помню, я сказал что-то лестное о Маклакове, но М. С. как-то даже "обиделся". Надо сказать правду: Маргулиес был очень тщеславен и честолюбив, и к таким людям, как Милюков, Гучков, Маклаков, имевшим всероссийское (и даже мировое) имя, относился крайне ревниво, ибо у Маргулиеса такого имени не было и быть не могло. Был "33-й градус" — и только. Поэтому при всяком случае он пускал всевозможные шпильки всем трем: Милюков — Базаров, Гучков — бреттёр, а о Маклакове, когда я сказал о нем что-то лестное, М. С. ответил "снисходительно": — "Ну, да он оратор неплохой. Но он же ведь психопат-бабник. Если вы только повесите на стену юбку, он сразу под нее полезет. И к тому же — это общеизвестно — он патологически скуп, просто жаден. На к. н. концерте или собрании всегда норовит так надеть пальто и улизнуть, чтоб не дать на чай в гардеробной, а в ресторане — чтоб не дать лакею на чай".

Когда я дал М. С. подписать еще раз прошение о визах,

которое уже подписали Милюков, Гучков, Маклаков, Церетели и под их фамилиями везде было "ancien ministre", Маргулиес, взяв ручку, чтоб подписать, как бы невзначай, бросил: — "Собственно говоря и под моей фамилией вы могли бы напечатать "ancien ministre". Это относилось к его кратковременному "министерству" в эфемерном Северо-Западном правительстве при ген. Юдениче. Чтоб доставить старику удовольствие я, конечно, припечатал и под Маргулиесом "ancien ministre". Вообще, при несомненной одаренности и недюжинности в М. С. Маргулиесе было много (пожалуй, даже чересчур!) суетности. С библейским Экклезиастом — "все суета сует и суета всяческая" — он никак не мог бы согласиться. Суетой — *жил*.

Кстати, о суетности. Уже после моего вступления в ложу "Свободная Россия", я зашел как-то к Я. Б. Рабиновичу. У нас были очень хорошие, дружеские отношения, но, разумеется, о моем посвящении я бы ему не сказал: "тайна есть тайна". Но как только мы сели в его кабинете, Я. Б. говорит: — "Ну, поздравляю вас, Р. Б.". — Я удивленно: — "С чем?" — "С вступлением в наш орден вольных каменщиков". — Я удивился вдвойне: — "Во-первых, откуда вы знаете? И во-вторых, почему в наш?" Я. Б. ответил с улыбкой: — "В 'наш'? Потому, что я тоже состою в ордене и довольно давно. А узнали в нашей ложе "Юпитер" все мы, потому что для нас, масонов, никакая инсталляция не секрет, мы всегда узнаем о них. И скажу вам, что все мы пожалели, что вы вступили не к нам в "Юпитер", а к Маргулиесу в "Свободную Россию". — "Какая же разница?" — "Большая. У нас в "Великой Ложе Франции" сохранилось больше от древнего масонства шотландского ритуала. А "Великий Восток", весь в целом, гораздо более политичен. Маргулиеса же ложа — это больше общественно-политическое объединение, чем масонское". — "Ну, мне это, пожалуй, как раз и более подходяще. Вы более-менее мистик, а я насчет мистики слабоват". — И я рассказал Я. Б. о том, что меня толкнуло в ложу Маргулиеса (о "прыгайте, гражданин!"). Я. Б. сказал: — "Боюсь, что и тут вы разочаруетесь. У Маргулиеса нет больших связей, которые бы вам помогли". — Дальше в разговоре я спросил Я. Б., давно ли он в масонстве, он сказал, что — довольно давно, но когда я спросил его, в каком же он градусе, Я. Б., смеясь, от ответа уклонился.

Кто-то мне потом говорил, что он был в 17-м градусе (и это, если не ошибаюсь, последний градус перед 33-м).

Я. Б. был человек веселый, остроумный. Спросил, как мне понравились братья "Свободной России", я ответил: — "Ничего. Есть люди полноценные, интересные". — "Видите ли, в русские масоны идут две категории людей, — сказал Я. Б., — евреи и кавалергарды", — и засмеялся, — "у вас, кажется, насчет кавалергардов слабо, а вот у нас — князья, графы и прочие родовитые 'кавалергарды' ". Это было верно. Позднее я встречался на агапах и с Вяземским, и с Шереметевым, и с Давыдовым и с Товстолесом, и с другими "кавалергардами".

Толковали мы с Я. Б. о многом. Он пригласил меня в воскресенье на обед, сказав, что будут Н. Н. Евреинов и А. Н. Пьянков. Я понял, что оба — масоны. Но Евреинов отзвонил, не мог притти. А А. Н. Пьянков пришел. После обеда, как-то случайно зашел разговор о суетности. Ученый египтолог А. Н. Пьянков, большой приятель Я. Б., был человек довольно парадоксальный: ум эксцентричного склада, цинический, но в меру, без вульгарности. Когда после обеда мы пили чай, Пьянков, шутя и смеясь, заговорил о суетности в масонстве.

— В наших черносотенных кругах всякие ихтиозавры и динозавры пишут о масонах пудовые глупости, приписывая нам какие-то "сатанинские мессы" и прочую чушь. Но в известном смысле можно сказать, что некий "сатанизм" в масонстве есть.

Зная любовь Пьянкова к "парадоксам", и Я. Б. и я улыбались. — "Нет, нет, не смейтесь, — продолжал, сам улыбаясь, Пьянков. — Давайте разберемся, но — мудро. Что такое сатана? На что он толкает? Конечно, прежде всего, на суету сует, ибо суета сует и есть его аура. А чем в своей сути живут масоны? Скажем, положи руку на сердце, именно суетностью, а в этом и есть "сатанизм". Все эти разговоры о "братской любви к людям", о "нравственном самоусовершенствовании", о "совокупном познании истины", "о Боге, как существе всемогущем, вечном и бесконечном", все это словеса, прикрывающие суетность. Часто человек идет в масонство, чтоб не быть простым обывателем Иваном Ильичем, а стать неким "братом, охраняющим входы" или "братом дародателем", и это льстит — чему? Его суетности. Наш "брат" Н. Н. Евреинов правильно развивает

теорию "театрализации жизни", так называемого "театра для себя". "Театр для себя" живет в каждом. И вот, когда Иван Ильич преобразается из простого обывателя в "брата, охраняющего входы", он входит уже в какую-то "роль". И "роль" эта ему нравится. Пусть экзистенциально он тот же Иван Ильич Перепелкин, но *для себя* он уже "брат дародатель" или "брат, охраняющий входы". И какие-то в миру знаменитые люди называют его, простого Ивана Ильича, своим "братом". Вот и начинается "театр для себя", которым Иван Ильич *живет*. Причем, это еще прикрыто "тайной". А "тайна" — сильная вещь. "Тайна" великий мотор в человеке. Об этом умно говорит Зигмунд Фрейд. А все это вместе, конечно, *суета сует*, которую любит именно "сатана".

Пьянков сам улыбался. Я. Б. смеялся, хорошо зная Пьянкова. — "Но, Александр Николаевич, вы же не станете отрицать, что есть *подлинные масоны*, верующие в правду масонства, ну, например, Григорий Николаевич Товстолес как-то искренне сказавший: "Масонство, это мой монастырь".

— Ну, вот он и есть настоящий Иван Ильич! Он верит в пустоту высокопарных слов и пробует наполнить их своими довольно неясными, добрыми чувствами. Но от этого общая суета сует не исчезает, — смеялся Пьянков.

Когда прошел какой-то положенный срок и мне надо было переходить из "учеников" во 2-й градус — в "подмастерье", М. С. сказал мне: — "Р. Б., прочтите к. н. доклад в ложе и мы переведем вас во второй градус". Я предложил, что прочту доклад "О начале коммунистического террора", из книги "Дзержинский", которую я готовил. — "Вот и великолепно!" — сказал М. С. Я прочел этот доклад в ложе "Свободная Россия", перейдя тем во второй градус со званием "подмастерья". Тут я снял кожаный передник "ученика" и надел голубую ленту с золотым шитьем, через плечо и такой же шитый золотом голубой передник. Так я вошел в "голубое масонство".

А через несколько дней вышеупомянутый советский стукач Н. Н. Алексеев напечатал в газете "Возрождение" статью о маршале Тухачевском, тогда приехавшем в Париж из Лондона, куда был послан присутствовать на похоронах английского короля. Статья, подписанная буквой "А", была подкинута НКВД

— чисто стукаческая, полная лжи и о М. Н. Тухачевском и обо мне. Н. Н. Алексеев писал, что еще со времен своего плена Тухачевский был немецким агентом и из плена он не бежал, а был послан в Россию немцами. Мне посвящался такой абзац: — "Наиболее обстоятельная книга о Тухачевском была написана несколько лет тому назад бывшим участником первого похода, затем перекинувшимся к большевикам и *от них уехавшим в Берлин и Париж* (курсив мой, Р. Г.) романистом Романом Гулем. К ней нельзя относиться с большим доверием потому, что *как раз в эти дни Р. Гуль выступал в Париже в одной из масонских лож с докладом о "масонстве в СССР", а М. Тухачевский сам принадлежал к масонству со времен еще пребывания в германском плену*" (курсив мой, Р. Г.).

Прочтя эту "работу" стукача, я пришел в ярость. Написал письмо в редакцию и сам поехал в "Возрождение". Первым, на кого я наткнулся там, был как раз Н. Алексеев. Он, конечно, понял, зачем я приехал, и с саркастической улыбкой вышел в соседнюю комнату. А меня принял секретарь редакции. Я дал ему письмо, сказав, что если оно полностью, без изменений, не будет напечатано в "Возрождении", я привлеку редакцию к суду за клевету. И попросил дать мне ответ сразу. Секретарь с письмом куда-то ушел. Через несколько минут ко мне вышел редактор Ю. Семенов (несчастливая бездарность!) с моим письмом в руках и сухо сказал, что письмо будет напечатано.

16-го февраля 1936 года мое опровержение было полностью напечатано. А в 1937 году в Париже резидент НКВД Кривицкий бежал из полпредства, "выбрав свободу". И свои разоблачения стал печатать в меньшевицком "Социалистическом Вестнике", сообщив, что статья о Тухачевском была подкинута НКВД и добавлял, что в "Возрождении" он, резидент НКВД, мог напечатать всё, что хотел.

Кстати о приезде Тухачевского в Париж. В Париже, как эмигрант, жил его друг-однополчанин по гвардии Семеновскому полку Сергей Ганецкий. Ганецкий был материально хорошо устроен, он был директор хорошего отеля "Коммодор". И зная его, Тухачевский встретился с ним. Может быть один. А может быть в сопровождении военного атташе (энкаведиста) Венцова, как тень везде бывавшего с Тухачевским. Этот Сергей Ганецкий

раньше рассказывал друзьям интересную деталь биографии Тухачевского. Когда в Сов. России, после побега из немецкого плена, Тухачевский пошел в формирующуюся Красную Армию, Ганецкий с удивлением спросил его: "Как ты можешь итти туда?" На что Тухачевский ответил: — "Я ставлю на сволочь...". И Тухачевский оказался исторически прав: сволочь победила (не без помощи "нашего Бонапарта", как иронически называл Тухачевского Ленин). Но Тухачевский просчитался в одном — в том, что *сволочь* убьет и его. И убьет подло и зверски. А за ним убьет и его старуху мать, замечательную русскую женщину, простую крестьянку из Смоленщины, которая, несмотря на все "допросы" и пытки, отказалась признать своего Мишу "врагом народа". В то время, как другие родственники "признали". Страх ради иудейска.

Собрания ложи "Свободная Россия" были не часты, сопровождалась всегда братскими "агапами". Я их посещал. Иногда эти заседания бывали в русском масонском доме на 29, рю де л'Иветт, где собирались все русские ложи: шесть от Великой Ложи Франции и две от Великого Востока. Особняк русских лож на рю де л'Иветт поразил меня: старинный, барский особняк, красивый, окруженный какой-то зеленью, он стоял поодаль от других домов. Внутри прекрасный паркетный зал с двумя большими зеркалами. В нижнем этаже — своя кухня, где готовил повар (вероятно, тоже вольный каменщик?). Тут иногда устраивались доклады для русских лож, а после доклада обмен мнений и превосходные агапы для всех. Надо честно сказать, что и публика, и атмосфера таких собраний и застолий были и приятны, и интересны.

Помню, например, доклад серьезного историка русского масонства Павла Афанасьевича Бурышкина. Бурышкин был коренной москвич, из старого купеческого рода, во времена Временного Правительства был, кажется, товарищем министра Коновалова. Умница. Образованный человек. Доклад его был: — "Лев Толстой и масоны". Как сейчас помню его начало. Бурышкин начал с заметки в дневнике Льва Николаевича: "Сегодня весь день думал о масонах, — Бурышкин сделал глубокую паузу и потом закончил цитату, — какие дураки..."

По залу пробежал невольный смех. Далее П. А. говорил о

# ПРОТОКОЛЬ

## ТОРЖЕСТВЕННОГО СОБРАНИЯ

### ОБЪЕДИНЕНИЯ ЛОЖЬ В.Л.Ф.,

РАБОТАЮЩИХ НА РУССКОМЪ ЯЗЫКЪ:

• АСТРЕЯ, • СЪВЕРНОЕ СІЯНІЕ, • ГЕРМЕСЪ;

• ЮПИТЕРЪ, • ГАМАЮНЪ и • ЛОТОСЪ,

въ Храмъ Русскаго Масонскаго Дома

[ 29. rue de l'Yvette, VII arr. ]

на Востокъ города Парижа,

7 Іюля 1935 года.

.....  
Собрание открыто въ 9 часовъ вечера

Предсѣдателемъ Совѣта Объединенія, Нам.: Мастеромъ

Д.: Л.: "Астрея" бр.: В. Л. Вяземскимъ.

Офицерскія мѣста занимаютъ Должностные бр.: бр.:

Совѣта: Перваго Надзирателя - Дост.: Маст.:

Д.: Л.: "Гамаюнъ" бр.: П. А. Бобринскій, Второго Над-

зирателя - Дост.: Маст.: Д.: Л.: "Астрея" бр.: И. А. Кривошеинъ,

Оратора - Нам.: Маст.: Д.: Л.: "Юпитеръ" бр.: А. В. Давыдовъ,

Секретаря - Д.: Л.: "Лотосъ" бр.: В. Ф. Сафроновъ,

Казначей - Д.: Л.: "Лотосъ" бр.: Л. И. Кацъ, Дародателя -

Нам.: Маст.: Д.: Л.: "Съверное Сіяніе" бр.: А. И. Мамонтовъ,

Эксперта - Д.: Маст.: Д.: Л.: "Юпитеръ" бр.: М. Н. Сейделеръ,

Обрядоначальника - Замѣститель Дост.: Маст.: Д.: Л.: "Гермесъ"

бр.: Левинъ, и Привратника - Д.: М.: Д.: Л.: "Лотосъ" бр.: Г. Я. Смирновъ.

(Из архива Ренэ Герра)

том, почему рационалист Толстой не мог стать масоном и в "Войне и мире" писал о масонстве несколько иронично, а иногда, говоря о Пьере Безухове, и довольно жестоко.

М. С. Маргулиес по-прежнему относился ко мне очень дружески. Мне думается и потому, что ему было немного стыдновато, что несмотря на обещания он ничем мне помочь не мог с визами. Стыдновато было за свое масонское бессилье. В 1937 году он попросил меня прочесть еще один доклад в ложе для того, чтоб он мог перевести меня в 3-й градус (из "подмастерьев" в "мастера"), на чем мое масонство и кончилось. Правда, после войны Я. Б. Рабинович и А. Н. Пьянков затащили меня, как мастера, в свою ложу "Юпитер", но это кончилось быстро и довольно драматично: я ушел из масонства совсем и ушел демонстративно по политическим мотивам, ибо в русском масонстве в Париже тогда началось некое примиренческое течение в отношении к сталинскому СССР. Но об этом я расскажу, когда хронологически дойду до послевоенных лет.

*(Продолжение следует)*

South Jamesport, 1983

*Роман Гуль*

\*

\*

\*

За счастье платил я немалый бакшиш,  
А рок, усмехаясь, показывал шиш.

Ну что же! В кармане порой ни шиша,  
Блоха на аркане, почти ни гроша,  
А все же я верил, что жизнь хороша.

Хватало на хлеб, на коробку сардин  
И можно украсть и понюхать жасмин  
И, главное, сам я себе господин.

Бывало, на юге я крал виноград.  
Жевал — и глядел на огромный закат.

Показывал кукиш людскому суду.  
Воришка! Еще изловчусь — украду  
Бумажку на жительство в райском саду.

Серебряных ложек        не крал никогда.  
Блестела не ложка      блестела звезда.

*Игорь Чиннов*

\*  
\*            \*  
\*

Существа из далеких галактик  
С нами выпьют на ты, я уверен,  
И по-русски споют нам про чубчик,  
Кучерявый, с прононсом просвирен,  
Как советовал Пушкин-арапчик.

Уроженцы кометы Галлея  
Обожают "святая Россия".  
Им сказали в Святом Ленинграде,  
Что поют при церковном обряде  
Про китайца в саду, в огороде.

А в созвездии Пса, где не лает  
Каждый третий, проверено всеми:  
На Руси при царе Николае  
Проживали в Москве и Батуме  
Люди с пёсьими все головами.

И турист из Большого Шакала  
Знал: Москва при царе состояла  
Из одной деревянной матрешки.  
Потому-то она и сгорела.  
Но пришел царь Сталтан или Мушкин  
И построил две новых матрешки.

*Игорь Чиннов*

Плачешь, Психея — Алёнушка?  
Это еще не Харонушка,  
Это не Стиксик, не Летушка,  
Не Флегетончик. Не Смертушка:  
В лодке рыбачит на озере  
Дачник, хоть время и позднее.

Позднее... Верно. Со временем...  
Яблочко-ремячко котится,  
Котится, да не воротится —  
Пели в России в гражданскую.  
Вот потому я и пьянствую:  
С нашим земным воплощением  
Нам расставаться не хочется.

Смотрим, почти в восхищении,  
Мы на туманы осенние,  
Ветки корявые дерева,  
Лошадь у низкого берега.  
Здесь и природа, я чувствую,  
Чем-то похожа на русскую.

Ждет нас, душонка-Алёнушка,  
Долгий беспамятный сонушко.  
Лучше подольше попробуем  
Здесь оставаться — подобием  
Божиим, хоть приблизительным,  
Прежде, чем стать небожителем.

*Игорь Чиннов*

## ОЛОВЯННЫЕ СОЛДАТИКИ\*

После того, как выяснилось, что они попали в большой поток бегущих в Германию немецких солдат, пару дней шли через Чехословакию спокойно и уверенно, не скрываясь, но потом пришлось изменить тактику. Хозяин одного хутора сказал, что чешская полиция стала задерживать беглецов, проверять их документы и уже были случаи ареста некоторых по подозрению в принадлежности к нацистской партии или же офицерскому корпусу. Арестовывали и всех тех, у кого находили оружие. Пришлось задуматься, как продолжать движение к немецкой границе. Бросить оружие было опасно, т. к. их могла задержать даже пара вооружённых полицейских, передать местным властям, и все они могли оказаться в руках советских представителей. Чехи, слушающие радио и уже имеющие городские газеты, говорили, что большие силы Красной Армии продвигаются вглубь страны по всем направлениям и во всех более или менее значительных населённых центрах уже есть советские миссии. Двигаться и дальше с оружием в руках вместе с потоком немцев-беглецов, значило привлекать к себе внимание и этих беглецов, и местного населения, постоянно рискуя, что кто-то кого-то известит и тогда вся группа попадет в ловушку или будет просто перестреляна на месте в случае сопротивления.

Решили соблюдать ряд предосторожностей: двигаться не по дорогам, а по лесам и полям, избегая даже хуторов. Оружие же до тех пор, пока они находятся на чешской территории, не бросать. Впереди группы все время должна находиться пара развед-

---

\*"Оловянные солдатики" — глава из трилогии, посвященной судьбам русских людей, так или иначе оказавшихся во время войны в Германии и затем служивших в Русской Освободительной Армии генерала А. А. Власова. — *Ред.*

чиков, на достаточном для предупреждения опасности расстоянии. Для выбора места ночлега и для контактов с населением на предмет получения продуктов, главным образом картофеля, посылать двух-трёх человек, а не появляться всей группой. Значки РОА решили снять и по возможности скорее переодеться в гражданское платье.

Естественно, что передвижение группы сильно замедлилось. В день проходили по 20-25 километров. Все устали, оборвались, позаростали бородами и стали походить на шайку лесных бандитов. Местность была трудная: крутые холмы, поросшие лесом, с большими пространствами кустарника, иногда настолько густого, что его нужно было обходить. Здесь и хуторов было меньше, и население реже. Иногда по целым дням они не видели живой души. Шли наугад, т. к. карта Шегова была слишком общей, без деталей. Мелкие третьестепенные дороги и деревеньки на ней указаны не были. Главными ориентирами служили таблички на перекрёстках дорог с указанием направления и расстояния до ближайших городков, обозначенных на карте Шегова.

Под вечер 16-го мая, на двенадцатый день своего путешествия, они оказались недалеко от города Зелезна Руда.

— Нам нужно выбрать место для ночлега и для того, чтобы привести себя в более или менее приличный вид. Завтра мы переходим границу и нам придётся как-то легализовать своё положение. Следующий городок в нами выбранном направлении уже Байриш Элзенштайн, Бавария. — Шегов снова рассматривал свою, уже сильно потрепанную карту. — И вот ещё что... когда мы окажемся там, нам следует выбросить к чертовой матери все эти пушки, автоматы, патроны и всё, что у нас осталось. Одно дело — безоружные переодетые солдаты, возвращающиеся по домам, но совершенно другое — банда вооруженных до зубов бродяг без национальности и дома.

Никто не возражал. Все так устали, что думали только о том, как бы поесть и лечь спать. Шегов с Сергеем пошли вперёд, к видневшемуся на краю леса хутору, а прочие остались на опушке в ожидании результатов переговоров.

Хозяин, крепкий чех лет 55-ти с седыми усами, согласился дать ночлег и накормить весь отряд. Шегов сказал, что вся его

группа — русские, постоянные жители Германии; были мобилизованы в немецкую армию, а теперь идут домой. В оплату за гостеприимство, Шегов пообещал хозяину две пары сапог, если тот даст взамен две пары крепких ботинок. Но когда вся команда появилась в усадьбе — грязные, оборванные, давно небритые люди с автоматами в руках, сам хозяин, а в особенности его жена, видимо, перепугались и вели себя крайне настороженно.

Кроме хозяина и хозяйки на хуторе были только два мальчугана. Старшему было лет восемь, а младшему — едва ли шесть.

— Это мои внуки, — сказала хозяйка. — Дочка с мужем живут в Железной Руде, приходят на воскресенье, иногда.

Она сварила большой котёл супа с горохом и картофелем, дала две буханки свежего пшеничного хлеба. Усталые путники, помывшись и сложив свои пожитки и оружие в кучу, устроились ужинать в саду за домом. Внуки с интересом наблюдали за неожиданными гостями, со страхом поглядывая на кучу лежавших автоматов и винтовок.

Все быстро поели и пошли спать в сарай, где хозяин положил их на покрытом брезентами сене. Шегов остался за столом один. Он посидел, покурил и, откинувшись на спинку скамейки, стал смотреть в небо, где одна за другой зажигались звёзды. К нему подсел хозяин.

Где твой дом солдат?

Около Нюрнберга, — соврал Шегов.

Жена, дети есть?

Да, есть, — продолжал лгать Шегов.

Разговор шёл сразу на трёх языках, чешском, немецком и русском, но собеседники отлично понимали друг друга.

Так ты, говоришь, русский?

Украинец, — если ты знаешь, что это за народ.

Знаю... А почему не живешь дома?

Эмигрант, — с родителями ещё в 18-м году уехал, — продолжал врать Шегов, выбирая наиболее простую и понятную версию своего прошлого.

— Знаю, это те, что от большевиков бежали. — Их много у нас в Праге. — Хозяин набил трубку, закурил. — Что теперь будешь делать?

Работать буду... на заводе где-нибудь.

Ты что, офицером был у германцев?

Нет, рядовым.

А почему твои зовут тебя майором?

Так, шутят. Выбрали старшим, вот и шутят. — "Ах ты, нужно будет сказать всем, чтобы перестали это "величание", — подумал Шегов, — а то еще наживешь беды".

— Врёшь ты. Вид у тебя не солдатский. Вон, и сапоги офицерские.

— А какая тебе разница, хозяин? Сапоги-то получил? Война кончилась, теперь нет ни солдат ни офицеров, вот тебе и вся история.

— Да я так, просто интересно. Немцы — ничего, мы привыкли к ним, соседи. Только нацисты — сволочь! Ты не нацист?

— Нет, ведь я и не немец.

— Вот я и хотел спросить тебя. Как так, что ты с детства живешь в Германии, а по-немецки говорить не научился?

— Так получилось... — Разговор принимал неприятное направление. — Устал я, хозяин, пойду спать, — решил кончить беседу Шегов.

— Иди, иди. Вы завтра пораньше уходите отсюда. Граница сейчас под сильной охраной, кругом полицейские, задержать вас могут. — А почему вы с автоматами?

— Жалко выбросить. Купи, продадим если хочешь, — улыбнулся Шегов.

— Так, так... — Хозяин поднялся с места и, уходя, добавил  
Смотри, чтоб в сарае не курили, а то пожар наделаете.

Шегов пошел в сарай. Проходя мимо дома, он увидел на большой доске, положенной между двух скамеек, оловянных солдатиков. Они были выстроены, как на параде. Шегов взял одного и стал рассматривать. Солдатик был старый, краска на фигурке во многих местах осыпалась, но форму хорошо было видно. Это был солдат старой, ещё кайзеровской армии, времён Первой Мировой войны, с остроконечной немецкой каской на голове и длинным ружьём в руках.

— Интересно, вот он, оловянный солдатик, как и я... Симво-

лика! Возьму одного на память, мальчуганы не обидятся — как память о моей военной карьере в двух армиях. Пусть мальчишки так и запишут, что этот солдат, бывший майор Шегов, пропал без вести! — Шегов положил солдатика в карман. — Нужно установить дежурство, кто его знает, этого чеха, и полиция здесь бродит, — подумал он и разбудил уже спящего Бойко.

— По два человека в наряд. Пусть один следит за домом. При малейшем там движении разбудите меня. Уйдём пораньше, чуть рассветет, — приказал Шегов и улёгся на сене в сарае.

Когда утром все были готовы в путь, явился хозяин. Он принёс большой кувшин молока и каравай хлеба. С ним были оба внука.

— Поешьте. И вот что, не идите по дороге, там за поворотом есть посёлок, несколько хозяйств и полицейский пост. Поверните к тому вон лесочку, а потом налево, вниз по склону, попадёте в яр и всё вниз и вниз по яру — выйдете к маленькой речке. Это граница, всего 5 километров отсюда. Я сам солдатом был, — хитро подмигнул чех.

Солнце только что встало. Внизу, на земле, тень еще держалась, а верхушки деревьев на холмах уже золотились в солнечных лучах. На ясном, нежно-голубом небе висела белая полная луна; в низинах стоял плотный, сероватый туман. Трава была росная, на листьях деревьев и иголках сосен висели прозрачные капельки влаги. Как всегда, впереди шли два разведчика, на этот раз оба Сергея — Рожков и Червонокопильский. Остальные цепочкой следовали за ними на расстоянии сотни шагов.

Следуя указаниям хозяина-чеха, пошли вниз по склону в сторону границы. Чем ниже спускались, тем гуще становился туман, и скоро Рожков и Сергей исчезли в нем. Теперь шли по следам, оставляемым на мокрой траве передовым отрядом. Внезапно в той стороне, где в тумане исчезли оба Сергея, послышались крики, и тишину прорезал одиночный винтовочный выстрел.

— Полиция! Там внизу у реки, — полицейская застава... наших задержали, — сказал Шегов сбившимся в кучу товарищам. — Надеюсь, что выстрел был предупреждающий. — Осторожно и бесшумно за мной! — приказал он и, вынув пистолет, стал медленно, прячась за кустами, спускаться по склону. Остальные, пригнувшись к земле, двинулись за ним. Пройдя шагов сто,

Шегов увидел в тумане силуэты людей. Он сделал знак следовавшим за ним, и все остановились. Шегов бесшумно подошел еще ближе, таясь за большим кустом. Теперь он ясно видел всю картину. Оба Сергея стояли с поднятыми руками, окруженные пятью полицейскими, под дулами карабинов. Шегов поманил к себе Левицкого.

— Полицай. Их только пять. Прикажете ребятам разойтись цепью в обе стороны и охватить их кольцом, но только не показываться, очень незаметно. Через пять минут по моему сигналу сразу все к ним с автоматами. Мой сигнал — выстрел. Давайте, Андрей, через пять минут все сразу и со всех сторон.

Шегов взглянул на часы и стал наблюдать, стараясь рассмотреть, чем заняты полицейские. Сергей и Рожков продолжали стоять с поднятыми руками, а один из полицейских что-то им говорил, энергично жестикулируя. Выждав условленное время, Шегов, уже не скрываясь, побежал вниз по склону, выстрелив на бегу из пистолета. Очевидно, местные полицейские меньше всего ожидали натолкнуться на целую группу вооруженных беглецов и явно перепугались, когда со всех сторон из тумана появились фигуры людей с направленными на них автоматами.

— Опустите ваши карабины, господа полицейские, — сказал Шегов, пряча в кобуру свой пистолет. — В чём дело? Это мои люди. — Сергей, повтори им на лучшем немецком, может, меня не поняли.

— Мы — пограничная стража, — сказал полицейский, по-видимому, старший в чине, со страхом оглядывая оборванных бродяг с автоматами.

— Так что вы хотите?

— По приказу Комиссариата граница закрыта, и мы обязаны задерживать и арестовывать всех нарушителей.

— Думаю, вам придется сделать исключение из этого правила.

— Мы обязаны выполнять приказ, это наш участок охраны границы, — полицейский приподнял свой карабин.

— Господин полицейский, повесьте ваше оружие на плечо и прикажите сделать то же вашим коллегам, пожалуйста, во избежание недоразумения, — примирительно сказал Шегов, и когда

полицейские поспешно выполнили его предложение, заметил. — Так лучше, приятнее разговаривать.

— Вы, господин офицер, я так понимаю, ставите нас в очень неудобное положение, — снова начал полицейский.

— Мой дорогой, мы в этом "неудобном положении" находимся уже две недели, и ничего, почти привыкли. Сколько осталось до границы?

— Полкилометра, там был мостик, его разобрали, но речка только по колено.

— Спасибо за информацию, — улыбнулся Шегов. — У меня к вам есть предложение: вы идите своей дорогой, будто вы нас и не видели, а мы пойдём своей, и через 20 минут окажемся уже вне Чехословакии и, следовательно, вне вашей юрисдикции и ответственности. Мы возвращаемся домой и совсем не хотим делать вам, господа, неприятности. Ну, а если вы захотите нам помешать, то, — Шегов опять вежливо улыбнулся, — то мы перестреляем всех вас и через те же 20 минут окажемся в Германии... Нам это всё равно, задержки для нас это не представляет. Как вы, господин полицейский, полагаете?

Лица у полицейских вытянулись, а шеговская команда одобрительно заулыбалась, держа автоматы наизготовку.

— Я думаю, что у нас нет выбора, — слабо улыбнулся старший полицейский.

— Вы совершенно правы, выбора у вас нет! — подтвердил Шегов. — Будьте здоровы и передайте привет вашей супруге, господин полицейский. Пошли, друзья! — Шегов сделал пару шагов и, убрав улыбку с лица, добавил. — И, пожалуйста, помните, что у вас 5 карабинов, а у нас 10 автоматов. Ещё раз всего наилучшего!

— Как же это вышло? Сама разведка влипла? — спросил он Рожкова, когда вся группа подошла к реке.

— Ну их к растакой маме, — сконфуженно ответил Рожков. — Из тумана, как из-под земли, выскочили — и спереди и сзади. Я за автомат, а они уже дула в живот впёрли, один для остратки пальнул.

Хорошо сделал! Нам сигнал дал. А вам, старому вояке, все же стыдно, прошляпили.

— Так, господин майор...

— Бросьте вы этого "господина майора", вчера вечером уже была неприятность. Просто Николай Петрович. Нет армии, нет полка, нет и майора! Это и ко всем вам, друзья, относится — забудьте "майора".

Есть, забыть "майора", господин майор, — засмеялся Бойко.

А ну вас к лешему! Хорошо, что у нас порядочная группа и с оружием, а то бы сидели под замком в кутузке в ближайшей деревеньке и ждали своей несчастливой доли. Как вы полагаете, господин Левицкий? Вместе лучше, чем в одиночку?

— Поэтому я и решил с вами, господин Шегов. Спасибо! — Левицкий, сняв с головы кепку, полученную у какого-то хutorянина, по-старинному поклонился Шегову.

Через речку переходили, сняв обувь и закатив по колено брюки.

— Вот мы и в Германии! Выберемся на эту горку, устроим привал и подумаем, как теперь действовать... в новом государстве.

Но с немецкого холма они ничего примечательного не увидели. Местность была холмистой, сплошь заросшей густым смешанным лесом. Вся команда улеглась в траве; с час все отдыхали молча, а потом решили обсудить дальнейший путь. Как всегда в таких случаях, разложили карту.

— По прямой до Регена 15 километров, а для нас выйдет, наверно, больше двадцати, вверх и вниз, влево, вправо — добрый день пути. От Регена до Деггендорфа — примерно столько же. В Регене Левицкий отправится восвояси, а мы должны будем разделить на две группы, так будет легче и в смысле безопасности, и с точки зрения питания... Продуктов у нас почти нет, продавать или менять уже нечего, грабить и воровать нам как-то не подходит. Придётся попрошайничать. Чем меньше нас будет в группе, тем легче найти сердобольную бауершу. И вот что я думаю: завтра придётся весь наш арсенал тоже где-то оставить. С автоматами и винтовками теперь будет опаснее, чем без них. Ведь придётся из лесу, наконец, выходить.

Так и решили, по-шеговски. Весь день пробирались целеной, избегая контактов с населением. К вечеру все так устали и

проголодались, что пришлось рискнуть в поисках пристанища и еды. Вышли из леса и послали вперёд к видневшемуся вдаль посёлку двух — Левицкого и Ардина.

Посланцы скоро вернулись в очень весёлом настроении.

— Замечательно! — ещё издали закричал Ардин. — Принимают нас всех, и с распростертыми объятиями!

— И накормят, и напоят, и спать положат! Это Германия! Нам готов и стол и дом! — подтвердил Левицкий. — Недалеко, в местечке Боденмай, — там новая администрация и нацистов арестовывают, а у этого бауера уже есть на ночь пять постояльцев, немецкие солдаты.

Действительно, отношение немецких бауеров к беглецам резко отличалось от отношения к ним со стороны чешских хуторян. Там, в Чехии, население вело себя сухо-настороженно, без симпатии, а здесь, в Баварии, сразу почувствовалась сердечность и заботливость.

Когда вся группа подошла к дому, их встретил сам хозяин. Седой старик с протезом вместо левой ноги, он был неприятно поражен тем, что его новые постояльцы оказались вооружёнными.

— Вот этого вам уже не надо, с кем будете воевать? Не хочу, чтобы все это было у меня на дворе. Унесите подальше в лес. Если хотите, так утром, когда пойдете дальше, заберёте, а тут это не к чему! Унесите, унесите!

Пришлось подчиниться хозяйскому требованию. То оружие, которое нельзя было положить в карманы, отнесли в лес и, покрыв шинелью, спрятали, навалив поверх кучу веток и старой прошлогодней листвы. Быстро определив, кто начальник в группе, хозяин после ужина сказал Шегову:

— Ты у своих главный, наверное, офицер. Кто ты и твои люди, я не знаю и знать мне этого не нужно. Коли воевали на нашей стороне, значит, для меня вы — немецкие солдаты, как могу, помогу вам. Отдохните, выспитесь, утром тоже накормлю и идите себе по домам с Богом! Война кончилась, завтра или послезавтра здесь будут американские солдаты. Их части уже перешли Дунай. Говорят, ведут они себя хорошо и население не обижают. Так или иначе, а вам придётся с ними встретиться. Если вы будете с винтовками в руках, они вас просто постре-

ляют, ещё не остыли от драки. А к безоружным у них будет другое отношение. Прими мой совет: утром отправляйтесь без оружия. Иди спать, офицер, не тревожься, если будет что-нибудь неожиданное, так я тебя разбуду. Иди, отдыхай.

— Слышали? — спросил Шегов стоявших рядом с ним Левицкого и Ардина.

— Старик прав, но того, что у меня в кармане, я в кусты не брошу. Может, через пару дней придётся, но не сегодня, — ответил Левицкий. — А в принципе он, конечно, прав.

Между прочим, в той пятёрке, что пришла раньше нас, — сказал Ардин, — двое или трое русских, я слышал их разговор.

— Это интересно! Думаете, они тоже из РОА? — заинтересовался Шегов.

Вероятно... Они уже спят, наверное, попробуем узнать утром.

Но вот что, ночную охрану всё же установим, на всякий случай, — решил Шегов. — Первую вахту посижу я, а вы идите спать, господа хорошие. Через полтора часа я вас разбуду, Андрей. — Шегов сел на большом бревне у входа в сарай, в котором хозяева устроили места для всех постояльцев.

”Вот, война кончилась, и что теперь? При первой попытке перейти на легальное положение, при первой же встрече с теми, от кого такой переход будет зависеть, всё выплывет на поверхность. Выдавать себя за немца, не умея хорошо говорить по-немецки — смешно. Никаких других языков я не знаю, значит, я перед лицом всякого чиновника — русский или украинец... Беженец? Остовец? Эмигрант? Солдат РОА?... Какая версия лучше и как правдивость этой версии доказать, если на слово не поверят”, — раздумывал Шегов.

— Господин офицер! — тихо позвал из темноты сарая кто-то невидимый.

— Кто здесь? — вздрогнул от неожиданности Шегов.

Это я... — из проёма открытых дверей показался незнакомый человек.

Вы кто?

Мы пришли сюда раньше, нас трое, с немцами мы идём. А сами из РОА.

— Какого полка? Как вас звать? Присаживайтесь, —

пригласил Шегов.

— Мы из Первого стрелкового, второй дивизии. Я — Константин Янков, а со мной Глеб Корсунец и Иван Шевченко.

— Были в плену?

— Нет... я и Глебка весной 42-го попали в Германию на работы, нас вместе и завербовали, так что мы с тех пор все время были вместе, а Иван, тот из пленных. — Паренёк был ещё очень молод, верно, лет девятнадцати, не больше.

Куда же вы теперь, Янков?

— Как разрешите вас называть, господин офицер?

— Называйте просто по имени отчеству, Николай Петрович.

— Спасибо. Я хочу добраться до Ганновера... Видите ли, Николай Петрович, когда я ещё на заводе работал, узнал от одного человека, что мои родители с сестрой эвакуировались с немцами, когда те оставляли Харьков. Начал наводить справки и выяснил, что моя семья где-то в Ганновере. С работы меня не отпускали, я работал в Штуттгарте, ну тогда я и решил пойти в РОА, и Глебка со мной. Когда я сделался солдатом, тоже отпуска не разрешили... вот, вместо Ганновера оказался под Прагой.

— Так... — Мальчик говорил очень складно, конечно, он был из интеллигентной семьи. — Кто ваш отец? — спросил Шегов.

— Отец инженер и читал лекции в институте, а мама — доктор по детским болезням.

— А почему вы все трое оказались в компании с немецкими солдатами?

— Когда под Прагой началась паника, немцы стали бежать. Наш полк тоже стал разбегаться, ну мы и решили, что с немцами безопаснее, проще добраться до Германии. Немецким мы владеем хорошо, вот и стали выдавать себя за немецких солдат. Сюда добрались безо всяких неприятностей.

— Как же я могу вам помочь? — спросил Шегов. Юноша был ему определенно симпатичен.

— Хотел бы присоединиться к вам. Я немного побаиваюсь, что когда мы наткнёмся на американцев, они нас поместят в лагерь для пленных, во всяком случае, так думают немцы, с

которыми мы идём. Немцы, кажется, даже хотят попасть в лагерь на время, а для меня это не подходит, да и опасно; ведь таких, как я, наверно, передадут в руки советских властей и репатрируют обратно в СССР.

— Очень может быть. Но мы ведь тоже в очень неуверенном положении. Мы будем стараться как-то миновать американский плен, но никакой гарантии, что нам это удастся сделать, конечно, нет.

— Во всяком случае, у нас та же цель, что и у вас. Если разрешите, мы утром пойдем с вами.

Все трое?

— Да, мои товарищи меня уполномочили.

— Хорошо, утром я спрошу у своих. У нас теперь не воинская часть, а просто группа людей, так что мы разрешаем все наши вопросы демократически.

— Благодарю вас, Николай Петрович, надеюсь, что у ваших возражений не будет. Разрешите идти? Надо поспать несколько часов.

— Спокойной ночи, Янков. — Юноша ушел; Шегов, окончив дежурство, разбудил Левицкого, а сам, с наслаждением сбросив с себя грязную одежду и обувь, растянулся на своём месте в сарае, завернулся в одеяло и заснул почти мгновенно.

Утром, когда все сидели за столом в ожидании обещанного хозяином завтрака, к Шегову подошел Константин Янков, и с ним ещё один солдат.

— Доброе утро, Николай Петрович! Это — Глеб Корсунец, а Иван Шевченко переменял своё решение, ушел на рассвете с немцами. Так что, с вашего позволения, мы с Глебом хотели бы присоединиться к вашей группе. Можно? — Янков вопросительно смотрел на собравшихся.

Конечно, все согласились принять в группу этих двух.

Завтрак им дали обильный и сытный. Когда, наконец, вышли на дорогу, естественно, возник вопрос: что делать с оружием, спрятанным вчера в лесу?

— Как хотите, господа, но я свою шинель не брошу, — сказал Сергей Рожков. — Она мне еще может пригодиться, да и загнать её можно, сукно хорошее.

Шинель Рожков забрал, а всё остальное решили оставить в

лесу. Выкопали яму и зарыли девять автоматов, три винтовки и два карабина. У Рожкова было в мешке ещё три гранаты и он, разрядив их, тоже бросил в яму. Себе оставили только пистолеты и револьверы.

— И это тоже придется выкинуть сегодня или завтра перед встречей с американцами, — Шегов сунул в карман свой пистолет. — Ну, друзья, пошли на Реген. Будем пока идти по-старому, по лесам да по яркам, с осторожностью.

Перед Регеном сделали привал. Левицкий попросил у Шегова карту и стал намечать для себя схему дороги на Линц.

— Дойдёте, Андрей? Одному это будет нелегко, — спросил Шегов, когда Левицкий вернул ему карту. Шегову очень не хотелось, чтобы Левицкий уходил. За эти месяцы Шегов привык видеть с собой рядом этого спокойного, храброго, осторожного и верного человека.

— Дойду! Я охотник, знаю, как продвигаться по-волчьи. Но, между прочим, Николай Петрович, — может, и вы на Линц направите свои стопы? Там ведь кроме Марии есть и Эмилия. Не думаю, чтобы папа Себастьян был бы против того, чтобы обе дочери в один и тот же день обвенчались с русскими офицерами. Не говоря уже о самой Эмилии. Как вы полагаете? — Левицкий лукаво улыбался.

— Нет, дорогой, не по пути. Эта девочка мне в дочки годится. Вот как благополучно переживем последний акт нашей трагикомедии, то в гости — пожалуйста.

— Примем с распростёртыми объятиями. Ну, прощайте! — Левицкий обнял Шегова. — Прощай, брат Николай... Если бы не Мария, — он махнул рукой, подхватил свой рюкзак, пожал руки остающимся, сбежал с пригорка и исчез в кустах.

Шегов, провожая его глазами, вдруг ярко вспомнил всю картину ухода из Линца. И ту девочку, что целовала Сергея.

— Сергей, а ты не хочешь вместе с Левицким? Там ведь у тебя тоже осталась барышня.

— Смеётесь, господин майор. На кого я вас оставляю? — с возмущением ответил Сергей.

— Нет, Серёжа, я серьёзно. Если хочешь, догоняй.

— Нет, я пойду с вами. У меня в Нюрнберге семья есть такая, ну вроде как невеста там осталась. Обещал, значит, вер-

нуться.

— Ах, вот оно что... Ну, тогда конечно, — улыбнулся Шегов.

— Там и для вас, Николай Петрович, молоденькая вдова есть, ох, и красивая она, и очень интеллигентная, значит, ну и богатая притом. Большой дом в городе, квартир на двадцать и целое имение.

— Заманчиво! Молодая, красивая, богатая. Значит, господин Червонокопыльский, сосватаешь её мне?

— Ей Богу, сосватаю! Ох и зажили бы! На работу бы устроились. Я бы, может, смог подучиться, чтобы понимать всякие вещи, значит. — Сергей мечтательно улыбался. — И то сказать, вот уже пять лет покою не видели. Смотрю на этих немецких бауеров — здорово живут, всё у них есть, чисто, аккуратно, сытно. Немцы войну проиграли, а живут так, как у нас в сёлах только мечтать могли в самое мирное время, значит. Правду бабка Зинаида говорила, пока коммунисты правят, не будет народу ни покоя, ни благополучия.

— Ладно, Червонокопыльский, будет и на твоей улице праздник. Женишься, онемечишься, народишь немчат и будешь жить без коммунистов на шее. Но, правду сказать, вряд ли нацисты были для немцев намного лучше, чем коммунисты для нас, грешных. Будем надеяться, что и тех и других так или иначе прикончат. В новом послевоенном мире им не должно быть на земле места.

— Ну что ж, друзья, — обратился ко всем Шегов, — пора двигаться в путь. У меня предложение: пройдем сегодня вместе километров с десятков, но осторожно. Остановимся на ночлег где-нибудь в спокойном месте, пошлём вперёд разведку понюхать, чем пахнет на дорогах и в посёлках и раздобыть чего-нибудь на ужин, а утром разделимся на две группы и пойдем навстречу своей судьбе, попробуем как-то договориться с американцами.

Так и решили. В разведку отправили Сергея Рожкова и Костю Янкова, как людей, говорящих по-немецки почти без всякого акцента, а сами, забравшись в гущу леса, стали устраивать свой последний военный бивуак.

“Разведчики” вернулись задолго до темноты. Они принесли с собой картофеля и хлеба на весь отряд. Кроме того, им удалось

достать кусок копчёного сала и небольшой бетончик молока. Но самое главное, разведчики принесли информацию о том, что происходит в Германии через две недели после конца войны и даже две свежие газеты, издаваемые в Регенсбурге.

— Никакого контроля мы не видели, документов не спрашивают, хотя полицейские есть. Народу бродит много — и по дорогам, и в посёлке, но большинство в гражданском платье, — рассказывал Рожков, — а больше так, наполовину, — штаны солдатские, а вместо кителя гражданский пиджак, или наоборот, а то — весь в гражданке, а на ногах армейские буцы и пилотка на голове. Картошку и хлеб дали охотно, сколько попросили, а сало и молоко просто как экстра. Ешьте, солдаты, говорят, когда ещё до дому доберетесь. В общем, благожелательно относятся.

Из газет можно было составить общее представление о том, что происходит сейчас в Германии. Страна разделена на четыре зоны: американскую, английскую, французскую и советскую. Границы этих зон в газетах не приводились, но Бавария, конечно, была в американской зоне, так как в Регенсбурге уже функционировало военное правительство американцев при каком-то участии немцев. Там же, в Регенсбурге, уже был, очевидно, организован большой лагерь беженцев из Советского Союза и фольксдойчей из Прибалтики. В одной из газет попало объявление, что в ближайшие дни в Регенсбурге будет открыта репатриационная миссия Советского Союза "для помощи советским гражданам, оказавшимся на территории Германии". Берлин тоже был разделен союзниками на четыре зоны.

— Интересно, в какой зоне оказался Дабендорф, — улыбувшись, спросил Ардин, — и успели ли вывезти или уничтожить школьный архив и канцелярию? Если Дабендорф в руках Советов, и они захватили все бумаги школы, то голову даю на отсечение, там теперь работы для НКВД по горло!

— Да, если это случилось, то многие там, на дорогой родине, будут иметь большие неприятности, — добавил Бойко, — включая и моих родичей.

Ужин вышел на славу. Апполинарий Ванков, пожилой солдат из старой эмиграции, бывший повар хозяйственной роты, сварил густой суп. У него в рюкзаке нашлись две головки лука, кто-то

дал банку гороховых консервов, отыскались и соль и даже перец. Стали устраиваться на ночлег. Как всегда, организовали сменное дежурство, по три человека в смену. Шегов вытянулся на одеяле, постеленном Сергеем поверх кучи листьев и хвои. Спать не хотелось, были поздние сумерки, и на западе ещё догорала заря. Его товарищи тихо переговаривались, Сергей отошел в сторону, как всегда, молился перед сном.

— Как этот мальчик сумел сохранить в себе эту потребность в молитве? Необычно: советский паренёк вроде бы и за все эти годы войны и разрухи остался таким трогательно верующим, — подумал Шегов, издали наблюдая своего истово крестящегося верного оруженосца.

Вдруг со стороны охранения раздался двойной свист — кто-то приближался к их бивуаку. Шегов вскочил.

— Бойко, пойдите посмотрите, что там, надеюсь, такие же бродяги, как и мы, — приказал Шегов.

Бойко возвратился, но не один, а в сопровождении четырёх человек. Одного из подошедших Шегов сразу узнал, это был поручик Пронин, с которым ещё из Мюнцингена уехал Александр Титов, энтузиаст-пропагандист.

— Пронин, какими судьбами?

— Майор Шегов? Вот не ожидал, — вот так встреча! Очень рад, неожиданно и очень приятно!

С Прониным были молоденький прапорщик Сельницкий из пленных и два сержанта из восточных батальонов, Назимов и Халкаров, оба крымские татары, недавно причисленные к РОА и к моменту конца войны служившие в охранной части Главного штаба.

— Как вы все здесь оказались? — спросил Шегов.

— Наверно, так же, как и вы, господин майор, идём вместе от самого Табора, — чуть не попали к красным, но выскочили, ответил Пронин.

— Что случилось в эти последние дни в ставке?

— Точно не знаю. Я был назначен в Первую дивизию, но пробраться к Буняченко уже не мог, до конца апреля собирал добровольцев по рабочим командам. Назимов больше знает. Нет ли у вас чего-нибудь поесть? Мы здорово проголодались.

— Найдется, Ванков?

— Есть, есть, много наварил, хватит на всех. Идите сюда, господа, — пригласил пришельцев Ванков.

Когда пополнение насытилось, сели в кружок вокруг тлеющего костра и начался обмен информацией и слухами. Назимов, однако, тоже ничего толкового о последних днях в Главном штабе сказать не мог.

— Власова и Трухина последние дни мы не видели. Они уехали на трёх машинах числа 27-го, кажется, с несколькими немцами и с полдюжиной телохранителей. В штабе оставалось мало людей, каждый день всё меньше и меньше. Нас с Халкаровым послали в Табор по одному делу, а вернуться в штаб мы уже не смогли. К Табору подошли части Красной Армии, ну, нам выбора не оставалось, потом вот с ними встретились, так и бредём.

— А мы решили завтра утром разделиться на две группы. Таким большим отрядом, с вами нас теперь 16 человек, продвигаться дальше бессмысленно и даже опасно, — начал Шегов, но Пронин его прервал:

Разделяться? Наоборот, это хорошо, что нас больше, может, ещё кто-нибудь подойдет. Тогда мы всем отрядом под вашим командованием пойдем прямо на Платтлинг, господин майор.

— Во-первых, перестаньте называть меня майором, Пронин. Это теперь ни к чему. А во-вторых, что это за Платтлинг и почему мы должны туда идти?

— Да, я ведь вам не сказал, господа. В городе Платтлинг, это близко отсюда, по другую сторону Дуная, американцы организовали большой приёмный лагерь для всех солдат и офицеров РОА. Всех тех, кто попадает к американцам в форме, сразу же отправляют туда, также и переодевшихся, после проверки документов. Там уже собралось много народа. Забыл, кто из наших генералов командует лагерем, но там всё поставлено на военную ногу, а довольствие обеспечивается американцами.

— Откуда вы всё это знаете? — спросил Ардин.

— Мы вчера встретились с несколькими солдатами из 2-ой дивизии, они там были.

— Были? — насторожился Шегов.

— Да, были. Им там не понравилось, и они сбежали. Лагерь окружен проволочным забором, но охрана слабая, они, очевидно, дезертировали.

А кто охраняет этот лагерь, они не говорили? — спросил Бойко.

Американские солдаты, конечно, кто же другой, — просто душно ответил Пронин. — Но организовано там всё очень хорошо. Прекрасное питание, строевые занятия, бараки чистые, новое обмундирование выдают.

— Так, так... питание, чистые бараки, строевые занятия, американские вахтёры вокруг, проволочный забор — тоже вокруг, значит, как говорит господин Червонокопыльский. — Шегов посмотрел на окружающих. — А какая цель преследуется американцами в создании этого лагеря РОА, окружённого проволокой и охраняемого их солдатами?

— Говорят, что американские власти предложили командованию РОА определённый план, по которому — пока — части РОА будут нести сторожевую и охранную службу в зоне оккупации, а потом, когда союзники выступят против Советов, мы снова перейдём на положение боевых частей Освободительной Армии.

— Вы в это верите?

— О, конечно! Как же может быть иначе? Все об этом говорят, и в Чехии и здесь, в Германии. Союзники предъявят Сталину ультиматум не позже, чем через два месяца и если в Москве не выполнят требований о полной демократизации Советского Союза, то союзники введут свои войска...

— Вот как, замечательно и просто. — Шегов помолчал. Снова, как и две недели назад, в лесу под Лодениц, все смотрели на него, ожидая, что скажет майор. Тогда, у большого костра их было почти полтысячи человек, а теперь, у этого тлеющего огонька осталось пятнадцать. Тогда это был "Полк снабжения 2-ой дивизии РОА", теперь — группа оборванных, грязных, усталых бродяг. Но и тогда и теперь Шегов чувствовал, знал, что для многих его слова будут решающими.

— Под моим командованием никто никуда не пойдёт, потому что командовать я перестал. Каждый волен следовать своим желаниям и убеждениям. Я лично, и не видя этого

платтлинского лагеря, согласен с теми, кто, его увидев, дезертировал. Я туда не пойду. Снова за колючую проволоку, безразлично, кем она охраняется — немцами, американцами или красноармейцами — живой я не попаду! — Шегов встал. — Завтра я иду дальше один, или с теми, кто захочет идти со мной, не больше пяти человек. Остальные как выберут... в Платтлинг или куда угодно. Спокойной ночи, господа!

— Господин майор! — вскочил со своего места Пронин. — Вы серьезно? Не могу поверить тому, что я услышал!

— Можете не сомневаться. Вполне серьезно! И ещё раз прошу забыть про "майора". Хотите послушать мой совет: не идите опять за проволоку!

— Так ведь это... дезертирство. Вы нарушаете данную вами присягу, — волновался Пронин. — Вы — среди нас самый старший офицер, вы не имеете морального права просто отмахнуться от ответственности... и уйти.

— Хорошо, — Шегов вернулся к костру, — давайте поговорим о всех этих громких словах. Садитесь, Пронин. Дезертирство, нарушение присяги, ответственность, измена, табель о рангах и всякие прочие красивые и... сейчас совершенно бессмысленные слова.

— Вы знаете, где сейчас генерал Власов и его штаб? — спросил Пронина Шегов.

— Не знаю... Слышал, что Власов, Трухин, Малышкин будто бы ведут переговоры в ставке Эйзенхауэра, а по другим слухам, весь наш генералитет попал в ловушку к советчикам, — неуверенно ответил Пронин.

— Где командиры наших двух дивизий Буяченко и Зверев? Где командиры полков? Где штабы? Где вся РОА? В Платтлинге? — продолжал спрашивать Шегов. — Вы не знаете, я не знаю и все мы, сидящие вокруг, не знаем. Я думаю, что вы, Пронин, всё ещё находитесь в гипнотическом состоянии. Мы все, хотя и по разным причинам, попали под гипнотическое влияние прекрасной идеи КОНР-а — РОА. Большинство из нас именно во имя этой общей идеи приняло как необходимое зло коллаборацию с немецким нацизмом для достижения нашей цели... Но пора и проснуться. Ещё полгода тому назад, в Гойберге, уже стало понятно, что наша игра проиграна. Если это было ясно

для нас, на уровне полковой администрации, то для Власова, его ближайшего окружения и для всех тех, кто подписал Пражский Манифест, это было уже совсем очевидно. Я не поверю, чтобы там, наверху РОА, сидели глупенькие восторженные идеалисты, наивно верящие в чудеса.

— О, конечно, там учитывали трудность положения, — начал Пронин, но Шегов его прервал.

— Своим обвинением в нарушении присяги и безответственности вы, Пронин, заставили меня говорить то, чего я не хотел. Отчего ещё в Гойберге, а потом в Мюнцингене и дальше, на походе, они сами старались смотреть на всю ситуацию сквозь розовые очки и нас заставляли делать то же самое? Зная о безнадежном положении Германии и её близкой гибели, как они могли допустить, чтобы почти 50 тысяч человек были отправлены прямо в пасть СМЕРШа? Какой смысл был в этой жертве? Быть может, в будущем, глядя из исторического далека, кто-нибудь и найдет оправдание приказу Власова: "На Восток!". Но для нас, сегодня, он звучит бессмысленно и преступно. Немцы, в панике бросая оружие, бежали на Запад сдаваться союзникам, а мы, загипнотизированные идеей и связанные военной дисциплиной, шли на Восток, навстречу Красной Армии. Не могли же они там, в штабе Власова, серьёзно думать о войне один на один двух плохо вооружённых дивизий РОА с многомиллионной, до зубов вооружённой советской армией. На нас катился колоссальной силы и огромных размеров вал; остановить его могло только какое-то сверхестественное чудо. Но вместо того, чтобы предупредить о безнадёжности положения и прекратить эту, мягко выражаясь, странную игру, нас, как оловянных солдатиков, выстраивали на пути движения этого всесокрушающего вала. И вот, в самые последние дни все те, кто загипнотизировал нас, все исчезли!

Нарушение присяги? А где всё то, чему мы присягали? В Платтлинге, под надзором американских солдат?.. Дезертирство? А где те боевые части, из которых мы дезертировали? Спят в Платтлинге в чистых бараках, занимаются строевой подготовкой под руководством американских сержантов? Ответственность? За кого и перед кем? За вот эту нашу маленькую кучку лесных бродяг — перед Господом Богом?

Костёр почти потух. Назимов встал, отошел в сторону к своему вещевому мешку и, вынув из него что-то, снова вернулся к костру.

— Почти полная, — показал он на бутылку. — Разделим на 16 порций и выпьем за упокой или за здоровье РОА... Кто как понимает. Я лично — за здоровье! Утром пойду на Платтлинг!

За здоровье! — поднял свою кружку Пронин.

— Прекрасно! Тогда — за упокой! — Шегов поднял и свою.

Вы, Пронин, и вы, Назимов, верите в возможность создания чего-то нового на обломках РОА, воображаете, что с новым хозяином, Эйзенхауэром или Рузвельтом вместо Гитлера, какая-то новая организация сможет продолжать дело Власова — КОНР-а. Ну а я в это не верю, как не верю и в ультиматумы и всякие предполагаемые выступления союзников против Советского Союза. Может быть, через какой-то промежуток времени, но не сейчас, не сразу после окончания войны. Три года союзники и Советы дрались против общего врага. Чувство боевого товарищества не так-то просто испаряется. Перед ультиматумами будет много дипломатических переговоров, зигзагов и маневров... Сидеть всё это время под охраной американцев в чистых бараках, есть американскую еду и заниматься строевой подготовкой, снова ожидая, когда кто-то будет решать твою судьбу, слишком рискованно... В оловянных солдатиках я лично числиться больше не намерен, мне это не подходит.

— Куда майор, туда и я! — решительно сказал Сергей Червонокопыльский, — и думать не хочу обо всяких таких делах больше, значит.

— Николай Петрович прав, с нами, с теми, кто поставил на карту свою жизнь, кто поверил в идею освобождения России поступили нечестно, — вступил в разговор Ардин. — Нас просто бросили на произвол судьбы. РОА распалась не снизу, а сверху! Капитан покидает гибнущее судно последним, а наши капитаны смылись первыми — и в центре, и в дивизии, и даже в нашем полку, капитаны вроде подполковника Власенко! Так что же оставалось делать нам, "матросам"? Платтлинг меня что-то тоже мало прельщает. Нас предал Сталин, отказавшись от нас, пленных, и этим сам освободил от присяги на верность Советскому Союзу... То же, если хотите, сделало руководство РОА и

этот пресловутый КОНР, бросив нас без предупреждения, оставив без руководства в самые критические дни. Для меня это тоже освобождение от присяги... Мы теперь свободны сами решать свою судьбу.

— Вы оба слишком поспешно судите. Что мы знаем о том, что на самом деле произошло в последние недели апреля? Ничего! — с возмущением сказал Пронин. — На основании своих личных обид и впечатлений вы освобождаете себя и от присяги, и от обязанностей, и от ответственности. Не слишком ли близоруко?

— Я... впрочем, что об этом говорить! Я никого не уговариваю поступать так или иначе. Сегодня каждый может решать своё "завтра" сам. А правильно ли это решение или ошибочно, покажет "послезавтра". Я для себя уже решил! Давайте на этом закончим дискуссию. Скажите мне лучше, Пронин, что вы знаете о судьбе вашего коллеги-пропагандиста Титова?

— Ах, правда, ведь вы его хорошо знали. Погиб Александр Николаевич, попал под бомбёжку на заводе около Магдебурга.

— Жаль, царство ему небесное. — Шегов перекрестился. — Я его самого мало знал, но у нас были общие друзья.

Вы говорите о Родине и Эльзе? Александр рассказывал мне о трагической судьбе этой пары. Хороший был человек Титов.

Да, вероятно... Спокойной ночи, господа! Пора отдохнуть, завтра для нас всех будет решающий день.

— И всё-таки, Шегов, вы делаете большую ошибку! Попробуйте ещё раз оценить положение, может, вы перерешите.

— Обещаю ещё раз подумать — если сразу не засну. Но и вы подумайте. За проволоку попасть легко, а вот снова оказаться свободным значительно труднее!

Но сразу "не заснулось". Шегов курил, думал, снова курил и снова думал. С того дня, как его призвали в Красную Армию, незадолго до войны, и до последнего времени заботы его всегда ограничивались непосредственными обязанностями, обдумыванием того, что нужно сделать завтра, как выполнить порученное ему дело. "Завтра" доминировало надо всем, не оставляя места для всего того, что могло следовать за этим узким и обязательным "завтра". Кто-то, стоявший наверху, всегда прика-

зывал, а он выполнял эти приказы. Так было в Красной Армии, так было и в РОА. В плену же три года вообще не думалось, вся жизнь заключалась в добыче пищи, там полностью исчезли и вчера и завтра, было только сегодня... И вот вдруг никаких приказов, никаких обязанностей и никакой ответственности. Решай сам для себя и только за себя.

Ночь была теплой и влажной. Небо в низких тучах словно придавило землю. Шегов повернулся на спину и стал смотреть вверх. Ни звёзд, ни луны. Было так темно, что даже стволы деревьев нельзя было разглядеть. Кто-то тихо разговаривал, два голоса о чём-то спорили, иногда к ним присоединялся и третий. — Тоже обсуждают свое "завтра", — подумал Шегов. — Может, тоже решают, идти ли им в этот Платтлинг... Какая-то логика в этом конечно есть. Это временное сотрудничество западных демократий с коммунизмом долго продолжаться не может, так или иначе, а драка начнется... Что же, идти в этот Платтлинг и готовиться делать с американцами то, что не удалось делать с немцами — убивать Иванов и Степанов в касках и без касок, как говорил Краузе. Нет, я окончательно выдохся. Мне кажется, что я не только на это неспособен, но даже и видеть этих Иванов и Степанов больше не хочу. Родина это нечто большее, чем просто место, где человек родился. Живёт же старая эмиграция уже четверть столетия без родины.

Сон всё не приходил. Шегов встал, напился воды, да так и просидел до того часа, когда ему нужно было идти на смену караула. Он отослал Апполинария спать, а сам сел под большим деревом на опушке леса. Стало прохладней и кое-где сквозь тучки выглянули звёзды. Шегов снова смотрел на небо.

— О, мой Бог! Ты, и я, и вся вселенная... Ты, большой, могучий, всесильный; безграничная и непонятная, так же, как и Ты, вселенная... А я — маленький беспомощный муравей, ползающий по крошечной песчинке Космоса, называемой Землей, и старающийся сохранить свою жизнь, жизнь никому не нужную, бесполезную и такую одинокую... Ведь мог бы построить полк и сдать на волю этого советского майора. Можно было прыгнуть со скалы там, в Хаммельбурге, в замке Рюнгольд. Меня могли не вытащить из-под кучи трупов в Замостье. Могли убить под Скепней или в окопах под Жлоби-

ным... Но вот, Ты сохранил мою жизнь, сохранил для того, чтобы я продолжал ползать под этими деревьями... Или для чего-то другого? Идти мне теперь в Платтлинг, чтобы снова сделаться "оловянным солдатиком". чтобы снова кто-то переставлял меня в игре по своему желанию? Нет, я больше не хочу бить ни фашистов, ни коммунистов, никого я не хочу убивать... Пусть перегрызают друг другу глотки сами.

Тучи все больше расходились, на небе высыпали звёзды, стало совсем холодно. Шегов встал, несколько раз прошелся по своему участку охраны, и снова устроился под деревом, закутавшись в одеяло. — Хочу ли я домой, на святую родину? Жена, сын, родственники, друзья. Жена, наверно, уже живёт с кем-то другим, сына я знаю мало, а сам он, конечно, уже забыл о моём существовании. Даже если бы я, с точки зрения большевистской морали, был незапятнан, жизнь там, в конце концов, тоже возврат к положению оловянного солдатика, даже хуже — обыкновенного раба. Нет, только не назад, в это ярмо! Куда-нибудь подальше, на другой конец света, и чтобы попробовать самому как-то построить своё "завтра". Есть, конечно, и другой выход. Краузе его нашел. — Шегов покрутил в руках пистолет, приставил холодное дуло к своему виску. — Нет, это никогда не поздно. Ведь должен же быть какой-то смысл в том, что я уцелел. — Шегов убрал пистолет. — Нет, это не для меня. Завтра выброшу эту штуку ко всем чертям! И в Платтлинг не пойду, даже если все решат туда идти. Пойду в этот, как его, Регенбург. Вдруг повезёт, найду там Бедрицкого. — Шегов плотнее закутался в одеяло, согрелся, его стал клонить в сон. Он пробовал широко открывать глаза, трясти головой. Ничто не помогало. Веки отяжелели и закрывались сами. Мысли стали путаться. Так хотелось заснуть.

— Майор! Николай Петрович, идите спать! — Рядом стоял Рожков. — Я уж побуду до утра на вахте.

— Я, кажется, уже и, правда, начал засыпать... разморило. Одеяло оставляю вам, Рожков, здорово прохладно делается. — Шегов направился в глубь леса.

— Эй, майор, вы свой пистолет забыли, — крикнул ему вслед Рожков.

— И в самом деле. — Шегов вернулся, взял пистолет и,

сунув его в карман, ещё раз дал сам себе слово завтра же с ним расстаться: Непременно выкину и надеюсь, больше никогда в жизни не брать эту игрушку в руки.

Утром после довольно скудного завтрака из вчерашних остатков, все начали собираться в путь.

— Ну так как? После вчерашних разговоров, я надеюсь, что каждый принял определенное решение, — обратился ко всем Шегов.

— А как вы сами, господин майор Шегов? — подчеркивая слово "майор", ответил вопросом на вопрос Пронин.

— По-моему, я вчера уже сказал о своём решении, — заметил Шегов, собирая свои нехитрые пожитки.

— Повторяю, вы делаете непростительную ошибку, дезертируете сами и своим авторитетом...

— Хватит, Пронин! Мне надоели ваши нравоучения, — резко сказал Шегов, — и я не намерен слушать их снова. Иду на Регенсбург.

— Как вам угодно, но я по прибытии в лагерь буду вынужден доложить по команде о вашем поступке. — Пронин вскинул на плечи свой вешевой мешок.

— Николай Петрович... — к Шегову подошел Ардин. — Я решил пойти посмотреть на этот лагерь РОА... я пойду с Пронинным.

— Вы? Не ожидал... После того, что вы вчера говорили? — Шегов был неприятно поражен.

— Да всё-таки там свои собираются... нужно посмотреть. Мы здесь слишком мало знаем, чтобы судить командование и принимать самостоятельные решения.

— Смотрите сами, надеюсь, что не пожалеете. Желаю вам, Ардин, счастья. Во всяком случае, отговаривать вас я не стану. Итак, друзья мои...

— Шегов... майор... американцы вас арестуют и вы всё равно окажетесь в Платтлинге и с очень подмоченной репутацией. Нарушение присяги — тяжелое преступление!

— Бросьте, Пронин! Я уже привык нарушать присяги. Первый раз было трудно, а теперь легче. Не стоит терять время на пустые разговоры. Прощайте, Ардин, вот вам на память. — Шегов вынул из кармана фигурку оловянного солдатика и про-

тянул её Ардину. Тот взял солдатика, с недоумением смотря на фигурку, а потом на Шегова.

— Что это? Почему?

— Оловянный солдатик. Символ! Я им быть перестал, а вы снова хотите превратиться в одного из них. Прощайте, господа. У опушки Шегов обернулся. Около Пронина, кроме двух татар и Ардина, остался стоять только один из основной группы, шедшей с Шеговым от самого Будвайса, Машков. Остальные были с Шеговым, включая и Сельницкого, пришедшего вчера вечером с Прониним. Шегов прощально махнул рукой. Ему ответил только Ардин. — Почему он переменял своё мнение? Как-то неожиданно получилось. — Шегову было неприятно, что Ардин остался с Прониним, как будто это бросало тень неуверенности на правильность его собственного решения.

Шегова догнал Апполинарий Ванков, пошел с ним рядом и, словно догадавшись, о чём думает Шегов, сказал:

— Мне кажется, я понимаю, почему Ардин в последнюю минуту вдруг решил идти в этот американский лагерь.

— Бог с ним, пошел и пошел, его дело.

— Ардин уже несколько дней меня расспрашивал об эмигрантской жизни во Франции. Кажется, то, что я ему рассказывал, ему не понравилось. Думаю, что он просто перепугался остаться один в новом для него мире. Слишком для него это непривычно, непонятно, страшно... Многие из Советского Союза так привыкли к тому, что их жизнь кто-то регулирует, обеспечивает и определяет, что не чувствуют в себе сил и уверенности что-то делать без указания начальства. Вот и потянуло снова под начальническую руку.

— Я так не думаю, а впрочем, может быть.

К полудню подошли к местечку Меттен. Сам городок остался чуть правее, а прямо перед ними была большая река.

— Дунай! — сказал Шегов. Берег круто спускался к реке, влево виднелся большой мост. — Это Деггендорф. Там, конечно, уже американцы, большой мост через большую реку не может быть без военной охраны. Вот и конец нашего совместного пути. Я думаю, пойдем сперва в Меттен. Сделаем, так сказать пробу, перед тем как соприкоснуться с Америкой. Но прежде всего мы должны выкинуть все эти стреляющие штучки.

Теперь они нам ни к чему, без них нам будет безопаснее, чем с ними.

Вырыли небольшую ямку и на ее дно сложили свои пистолеты. Когда всё было кончено, Костик Янков с пафосом сказал:

— Исторический момент! Вот мы и демобилизовались, сделали мирными гражданами. Перекуем мечи на орала!

— Мирными гражданами... но какого государства? усмехнулся Шегов.

— Э... была бы шея крепкая, а хомут всегда найдётся! уверенно сказал Рожков. — Кто ищет, тот всегда найдёт... Это я про хомут говорю, — добавил он.

Шегов с Сергеем, Янковым, Рожковым, Апполинарием Ванковым и Корсунцом пошли вперед. Выйдя на дорогу и не оглядываясь, они направились прямо к посёлку. Им навстречу попадались местные жители и такие же, как они сами, бродяги-беженцы; никто не обращал на них никакого внимания. Подойдя к первой ближайшей усадьбе, стоявшей в шагах ста от дороги, решили попробовать счастья. Из довольно просторного дома к ним вышла высокая худая женщина лет за пятьдесят с суровым, несколько мужского типа лицом и сразу спросила:

Сколько вас всех?

— Одиннадцать, — поспешил ответить Шегов.

— Я дам вам есть, позовите своих товарищей. Там, за сараями — большой навес для сена, там есть и вода в бочке. Идите помойтесь, я принесу мыла и чем вытереться. — Женщина внимательно посмотрела на Шегова. — Вы офицер?

— Да, был офицером.

— У меня два сына офицеры. Всё ожидаю их. Один был на западном фронте, другой — на восточном... Может, и придут домой.

Фрау Норлих жила только с внучкой Христиной, семилетней девочкой. Один её сын, лейтенант-танкист, был неженат. Другой, старший, тоже лейтенант, связист-радиотехник, с самого начала войны был на восточном фронте, дважды ранен, один раз — под Ленинградом, а потом опять, во время отступления, около Чернигова. Его жена работала в Регенсбурге в госпитале и приезжала домой раз в месяц на день. Сам Норлих работал парходным механиком на Дунае и бывал дома довольно редко.

Все это фрау Норлих рассказала Шегову уже под вечер, после того, как она сварила большой котёл хорошего густого супа с картофелем и горохом, дала к обеду хлеба и смальца, а на десерт предложила желающим нарвать в саду ранних черешен, которыми были усыпаны деревья.

Шегов сидел с хозяйкой на крылечке дома. Внучка Христина, с льяными волосиками и голубыми, как небо, глазками, примостилась рядом с бабушкой, положив ей на колени свою белокурую голову.

— Вот я и думаю, — продолжала фрау Норлих, поглаживая голову внучки, — каждый раз, когда такие, как вы, подходят к дому, грязные и усталые, вот и мои сыновья тоже, может, пробираются к дому и им, как и вам, нужен кусок хлеба и отдых. Густава, младшего, я не видела уже семь месяцев, последнее письмо от него получила в марте. А Рудольф приезжал домой в начале апреля. Оба они хорошие солдаты, я ими горжусь. Их отец тоже был солдатом. В 15-м году ему оторвало левую руку, но это не помешало ему потом хорошо зарабатывать. Мы жили неплохо. — Фрау Норлих помолчала. — А что теперь будет, как вы думаете?

— Понятия не имею. Эти две недели мы старались, как могли, уйти от главной для нас опасности, все наши мысли сосредоточивались на том, как это сделать, — осторожно ответил Шегов.

— Кто вы такие? Между собой говорите по-русски, но вместо того, чтобы идти к себе домой, в Россию, вы бежите в другую сторону. — Фрау Норлих посмотрела Шегову в глаза. — Меня можете не бояться, но если не хотите говорить, то и не надо.

— Что ж, попытаюсь вам объяснить, кто мы, надеюсь, мой немецкий не помешает понять главное. — И Шегов вкратце рассказал о КОНРе, о причинах возникновения всего Освободительного Движения, об идее РОА, о трудностях её организации и о взаимоотношениях с германским командованием. Женщина слушала его очень внимательно и, судя по её частым вопросам, основное она поняла.

— Вы, русские, странный народ... Большой, сильный... У вас огромная и богатая страна, а сами вы — бедные и вами всегда

кто-то командует. Почему после вашей революции вы допустили чтобы вашими владыками сделались чужие? Такое бесчестие для вас.

— На это нелегко ответить в нескольких словах...

Разговор перекинулся на судьбу Германии.

— Гитлер знал, что делал, — убежденно сказала фрау Норлих, — он был создателем нового мира. Оба мои сына были в Гитлерюгенде. Их отец не был этим доволен, а я радовалась и гордилась своими детьми.

— А что, герр Норлих был недоволен нацистским правительством и самим Гитлером? — спросил Шегов. — Фу ты ну ты, ну и баба! — думал он, разглядывая эту женщину.

— О нет, не то что недоволен, но муж от природы очень осторожный человек, и всегда говорил, что фюрер излишне рискует и спешит. Вот и оказалось, что старый Норлих был прав. А жаль! Страна так стала расцветать! Немцы снова стали гордиться тем, что они немцы! Людям нужно сильное правительство и сильный вождь, а не Веймар с ихними Розой Люксембург и Либкнехтами!

Шегов никак не ожидал, что после гибели Германии, в самом низу, среди простых работяг в баварском захолустьи, есть ещё люди, сожалеющие о Гитлере и нацизме.

Шегов вернулся к навесу, под которым устроились на ночлег его товарищи. Все крепко спали. Первый раз за все время их скитаний — без дежурных. Появилась было привычная забота — разбудить кого-нибудь для дневальства. — А для чего? Что мы теперь можем сделать? Сопротивляться? Кулаками? Снова удирать в лес? Нет никакого смысла! — и Шегов сам тотчас заснул на пахучем сене.

Рано, около пяти утра, фрау Норлих разбудила гостей.

— Вам лучше уходить отсюда. От Деггендорфа движется большая колонна американцев, через полчаса они будут здесь.

Все вскочили, стали спешно собирать пожитки. Но уйти не удалось, американцы уже подошли к Меттену. Усадьба Норлих была окружена со всех сторон полями и огородами, бежать на виду у всех было слишком опасно. Благоразумнее было спрятаться в саду или в сараях в надежде, что американцы не примутся тотчас же обыскивать усадьбы, проверяя документы. Шегов

даже был доволен тем, что бежать нельзя.

— Интересно посмотреть на этих заморских завоевателей, уничтоживших Третий Рейх, — думал он, укрывшись в густых кустах около большого амбара, откуда была хорошо видна дорога. Рядом с ним были Бойко и Сергей, изнывавшие от любопытства первый раз в своей жизни увидеть американских солдат.

Самой колонны войск, скрытой в соседней низине, ещё не было видно, но шум моторов и характерный лязг приближающихся танков нарастал с каждым мгновением. Первыми, одна за другой, показались три маленькие низкие, почти квадратные машины, и Шегов тотчас вспомнил, что именно на такой точно машине он видел советского майора в Бенешау, только теперь на кузове и плоском капоте вместо пятиконечных красных звёзд были, тоже пятиконечные, белые звёзды. — Вот откуда эти автомобили у Красной Армии... американского происхождения! — подумал Шегов.

На каждой машине рядом с шофером сидел другой военный, а в кузове установлен на турели пулемёт и сидел пулемётчик. Все солдаты были в серо-зеленых комбинезонах, маленьких круглых шлемах, с желтыми перчатками на руках и в высоких, также желтых зашнурованных ботинках. Офицеров видно не было, или же они были одеты так же, как солдаты. На радиаторах машин трепетали на ветру желто-голубые флажки.

— Господин майор, простите, Николай Петрович, посмотрите — жовто-блакитные! Самостийники! Это что же, украинские части?

— Уверен, что нет. Наверно, это полковая эмблема. — Шегов с огромным интересом наблюдал за вползающей на холм колонной американских войск. Всё в них было необычно, как будто это были пришельцы из другого мира.

— Марсиане! — почему-то подумалось Шегову. Машины, машины, машины. Танки, танкетки, маленькие, средние, огромные с прицепами, самоходная моторизированная артиллерия, ни одного пешего солдата. Очевидно, колонна шла через Меттен, не останавливаясь. Шегов, а за ним и другие вышли из скрывавших их кустов и подошли ближе к дороге. Сидевшие в машинах солдаты весело улыбались, что-то кричали, бросали стоявшим вдоль дороги немцам апельсины, шоколадки, сигареты.

— Как непохоже на вступление завоевателей в покоренную страну. Ареста пока бояться нечего, они идут без остановки. Если бы это проходила часть Красной Армии, было бы по-другому, вряд-ли были бы веселые улыбки и апельсины с шоколадками. — Шегов медленно шел вдоль обочины, стараясь рассмотреть как можно. — Красные остановились бы, начали обыски, кого-то ловили, кого-то арестовывали, грабили население, а может, и пристрелили бы уже пару таких вот, как аз, многогрешный.

Отличить американских солдат от офицеров было нелегко, все были одеты почти одинаково, ранг обозначали разные нашивки на рукавах да значки на шлѐмах. Желто-голубые эмблемы были всюду, и на рукавах солдат, и на машинах, и на флажках. Наконец, мимо Шегова проплыл американский флаг с белыми и красными полосами и синим прямоугольником с белыми звѐздочками на нём. "Вот она, Америка! Соединенные Штаты Северной Америки! Страна капиталистов, акул Уолл-стрита, убийц Ку-Клукс-Клана и негров-рабов из 'Хижины дяди Тома' ". И тотчас, словно в ответ на свою мысль, увидел негров. В больших грузовиках среди белых солдат были и чернокожие. Они, как и их белолицые товарищи, кричали, улыбались и бросали свои подарки придорожной толпе. Только их улыбки были ярче и заметнее, ослепительно белые зубы сверкали на тѐмнокоричневых лицах.

— Смотрите, смотрите, чѐрные люди! — почти истерически закричала стоявшая рядом с Шеговым молоденькая девушка. Внимание толпы к неграм вызвало ответное оживление среди солдат, но так как негров было довольно много, то довольно скоро они перестали вызывать сенсацию.

Одна из проходивших машин вдруг замедлила ход и отъехала в сторону: спустила шина. Солдаты повыскакивали из кузова, стали переговариваться и шутить с немцами, плотным кольцом обступившими грузовик. Кое-кто из солдат понимал и немного говорил по-немецки.

— А, у них тоже бывает! Ну, застряли на пару часов! — с каким-то злорадством сказал Бойко.

— Чего ж они зубоскалят, не меняют шину? Шофер сидит, как барин? — удивился Сергей.

— Вот сейчас появится какой-нибудь старшой, он им зажжет сигару! Действительно, не спешат. — В Красной Армии Бойко был связан с автотранспортом, не раз командовал автоколонной по подвозке боеприпасов.

Американцы продолжали балагурить, будто авария с машиной их совершенно не касалась.

Раздался сигнал, и через расступившуюся толпу подошла машина какого-то особого вида. Из неё выскочили три солдата, шофер ловко развернул автомобиль и выдвинул длинный брус-рычаг. Солдаты подвели рычаг под ось потерпевшего аварию грузовика и мгновенно его приподняли. Потом подкатали новое колесо и... через несколько минут вся работа была кончена. Ремонтная машина ушла, солдаты попрыгали в кузов своего грузовика и шофер погнал машину, обгоняя всё ещё тянущуюся колонну, наверное спеша найти свое место в ней.

— Ловко! Вот это, я понимаю, организация автотранспорта! — восхитился Бойко. — Обслуживание на походе! А у нас снимали бы колесо, вытянули камеру, клеили бы её, потом надували ручным насосом. Все бы ругались, кричали, матюкались на тысячу фасонов. Командир бы размахивал руками, грозился штрафами, батюшки, сколько бы шуму было. А тут: ейн, цвай, драй и готово!

Наконец, замыкаемая опять-таки несколькими маленькими машинами с пулеметами на турели, колонна прошла. Возбуждённо разговаривая, народ стал расходиться.

Вернулись к дому фрау Норлих. Хозяйка была настроена сумрачно, за что-то дала крепкого шлепка своей внучке, а когда та заревела, прибавила еще. Покормила всех жидкой овсяной кашей, хлеба дала мало. Она была явно не в духе.

— Скупится, старая стерва, — рассердился Рожков, — жалко ей было пару лишних горстей овсянки подбросить.

— Расстроилась, стояла, смотрела на американцев и всё время ругалась: "Ферфлюхте американе, ферфлюхте швайне", — сказал Янков. — И что больше всего её расстроило, так это то, что некоторые местные фролайн в обмен на шоколадки стали бросать солдатам цветы. Ох, и ругалась, ох, и злилась.

От имени всей группы Шегов поблагодарил хозяйку за гостеприимство. Она крепко, по-мужски пожала Шегову руку и

её глаза потеплели.

— Идите и дай Бог вам всем найти свое счастье. Вы, конечно, всё равно попадёте за проволоку, хоть на некоторое время. Американцы вас заберут. Если там, в лагерях встретите Густава Норлиха, я надеюсь, что он жив, скажите, что мы все его ждём. Рудольф в худшем положении, он у большевиков.

От Меттена снова вышли прямо к Дунаю и здесь решили разделиться на две группы; Шегов, Бойко, Сергей, Рожков и Ванков решили переходить реку через мост у Деггендорфа, а остальные выбрали переправу у Страубинга, километрах в 15 выше по течению реки.

— Итак, прощайте, друзья, пока нам везло, будем надеяться, что это "везение" нас не оставит. — Шегов обменялся крепким рукопожатием с каждым, уходящим на Страубинг. — Вряд ли придётся встретиться.

— А знаете, господин майор, Николай Петрович, разрешите мне в последний раз вас назвать "господин майор", вы — первый в моей жизни офицер, которого я уважаю, — неожиданно сказал Симоненко, задерживая руку Шегова.

— Приятно слышать, в особенности от вас, — ответил Шегов. Симоненко был в Красной Армии кадровым сержантом и, как Шегов, попал в плен раненым. В РОА он вступил ещё в начале 44 года, был в полку снабжения с самого начала его формирования. Был он хороший служака, но всегда подчеркнуто официален, суров, безулыбчат. Командир роты Баранов как-то отозвался о Симоненко: "Солдат хороший, но трудный. Злой, нелюдимый, исполнительный, но ершистый. Пальца в рот ему не клади, откусит сразу".

— Нет, это правда, майор. До тех пор, пока вас не узнал, на пути только всякая сволочь встречалась, а не командиры. Поначалу я и вас в офицерскую сволочь зачислил, признаюсь, что ошибся! Будьте здоровы, Николай Петрович и желаю Вам всяческой удачи, прощайте! — Симоненко ещё раз пожал руку Шегову и скомандовал: "Шагом марш, бригада боевая!" — Его выбрала своим руководителем группа, идущая на Страубинг.

Шли по тропинке на краю обрывистого берега. Мост уже был хорошо виден. По обоим берегам Дуная на мосту развewa-

лись американские флаги.

— Ну, друзья, — сказал Шегов, — Попробуем. Либо пан, либо пропал!

— А что если попробовать найти какую-нибудь посудину? И обойти этот мост стороной? — предложил Апполинарий. — Мне-то ничего, пожалуй, я — старый эмигрант, постоянный и легальный житель Франции, у меня есть документы.

— Может, пойдем и мы на Страубинг — вдоль берега. Глядишь, найдём лодку, — поддержал Апполинария Бойко.

— А потом что? Рано или поздно, но придётся встретиться с американскими властями. Так лучше рискнуть первой встречей здесь, где простые солдаты, чем потом нарваться на всяких чиновников. Кто как хочет, я лично попробую рискнуть здесь, — твердо сказал Шегов.

— Пропадать, так вместе! Я с вами, майор! — поддержал Шегова Рожков. — Авось, повезет, не пропадем, проскочим!

Замедляя шаг, пятерка стала спускаться с холма в поросшую кустарником низину с высокой сочной травой и пестрыми весенними цветами. Уже отчетливо был виден мост и небольшой военный лагерь у самого моста, где стояло десятка полтора серо-зеленых автомобилей. Посреди лагеря виднелась высокая стальная мачта с американским флагом.

— Пошли! Не забыли, как надо врать? Апполинарий честно говорит: он из Франции; Сергей — получестно: рабочий, захваченный немцами, ищет свою семью. А мы трое врем: старые эмигранты, работали в Сербии, потом в Германии и не хотим встречаться с большевиками. Белые эмигранты. Американцы, надеюсь, слышали о такой разновидности млекопитающихся. — Шегов ускорил шаг. — Нужно кончать эту петрушку, — думал он. — Только себе нервы треплем.

Вдруг они натолкнулись на четырёх американских солдат, лениво лежавших на траве. Шагов выдавил из себя:

— Гутен таг... — Один из солдат что-то ответил. — Вас волензи? — приостановился Шегов.

— Вайтер махен... вайтер махен! — засмеялся солдат и махнул рукой: проходите, мол, я вас не задерживаю.

То же повторилось и дальше, у самой дороги. То там, то здесь на траве сидели и лежали американцы, нежась под лучами

солнца, многие без рубах, а некоторые только в зеленого цвета трусиках. Они все были безоружны и, видимо, абсолютно не интересовались проходившими мимо них людьми. Но на подходе уже к самому мосту их жестом остановил рослый солдат с автоматом в руке. — Стоп! — приказал он. У моста стояла охрана, а по мосту прохаживались часовые. По ту сторону дороги, в тени деревьев на земле сидела порядочная группа немецких солдат в форме, окруженная американцами с автоматами. Немцев, наверное, было не меньше сотни. Въезд на мост загораживала смешная маленькая квадратная машина, а рядом с ней сидел на стуле офицер в заломленной на затылок фуражке и в расстегнутом темнозеленом кителе. Он разговаривал с небольшой группой немцев, в основном женщин и детей разных возрастов. Один из немцев показывал офицеру какие-то бумаги. Это был контрольный пункт.

— Ах, Боже мой, — нервно прошептал Бойко, — нужно было с теми идти, задержат нас здесь! — Нервность Бойко передалась и Шегову. Им овладело противное, шемящее чувство:

— Что-то будет? Неужели не удастся проскочить? Неужели все эти дни бегства, стремления к свободе сейчас кончатся, — думал Шегов, поглядывая на широкую спину и мощный затылок стоявшего перед ним американца. — Какой смешной у него автомат, не автомат, а автоматик... совсем маленький. И почему это у американцев эта эмблема — пятиконечные белые звезды. Как бы они не покраснели от соприкосновения с советскими красными. Ведь могут заразиться.

Шегов оглянулся на своих спутников. Апполинарий, Сергей и Рожков внешне сохраняли достаточное спокойствие, только Вася Бойко заметно нервничал, оглядывался по сторонам, часто и глубоко затягиваясь, курил свою закрутку, то и дело поправляя на голове кепку, вытирая вспотевший лоб.

— Не крутитесь, Вася. Стойте спокойно. Что это с вами делается? — строго сказал Шегов.

— Я так... чего-то вдруг испугался, — смущенно ответил Бойко.

Первая группа немцев прошла на мост. К офицеру подошло несколько солдат-американцев и три немца, очевидно крестьяне-бауеры. Минут с десять они о чем-то говорили, потом и эти три

немца пошли на мост. Солдат, задержавший Шегова и его товарищей, жестом приказал всем подойти к сидевшему на стуле офицеру. Когда они встали перед офицером, тот вдруг полез в свою маленькую машину, достал бутылку с какой-то коричневой жидкостью, ловко открыл и залпом, прямо из горлышка выпил содержимое, а пустую бутылку бросил в кусты. Достал из кармана пачку сигарет, закурил и только теперь снова сел на свой стул. Это был еще очень молодой, высокий, худой человек со свежим, почти детским лицом. Его темные волосы были коротко подстрижены, а на левой стороне лица был виден большой шрам, яркорозовый, свежий. Он поочередно оглядел каждого из пятёрки и спросил:

— Somebody speaks english? — И не получив утвердительного ответа, словно извиняясь, продолжал — I do not speak German. — И снова обежав взглядом всех, добавил — Do you speak Spanish?... French?

— Oui, monsieur, je parle français, — обрадовался Апполинару Ванков.

Офицер широко улыбнулся и стал говорить с Ванковым. Быстро их разговора никто, конечно, не понимал, но было ясно, что офицер настроен благожелательно, хотя Шегова насторожило пару раз произнесенное слово "Платтлинг". Наконец, офицер вынул блокнот и карандашом стал писать пропуск на всю группу.

— Куда, куда мы идем? — быстро спросил Ванков.

— Пусть пишет... Регенсбург и Нюрнберг, — ответил Шегов.

Когда Ванков стал называть фамилии и имена всех пяти, то были затруднения в том, как писать латинскими буквами русские фамилии; особенно бились над фамилией Сергея — "Червонокопыльский". Офицер заставил повторить это длинное имя несколько раз и всё же никак не мог справиться. Ванков с помощью Шегова, наконец, написал на клочке бумаги фамилию Сергея, но как ни старался офицер прочесть ее, ему не удавалось, и он просто скопировал буква за буквой, а когда кончил писать, то рассмеялся и что-то сказал Сергею. Ванков перевел — Он тебе советует поскорее переменить своё имя, говорит, что ты можешь взять или начало, или конец, или только серединку; с

такой фамилией, говорит, тебе будет трудно жить.

На прощанье офицер угостил всех сигаретами, дал Ванкову две нераспечатанные пачки и два маленьких пакетика каких-то конфет и весело что-то сказал, обращаясь ко всем. Ванков перевёл:

— Он говорит, что русские — хорошие люди, и он желает нам поскорей добраться по домам к нашим девчонкам.

Почти не веря своему счастью, вся пятёрка скорым шагом перешла мост и, увидев на дорожном столбе надпись: "Stroubling - 29 kmt. Regensburg - 72 kmt", повернула направо на Регенсбург! Повеселевший Вася Бойко выскочил вперед и лихо пошел вприсядку, пришелкивая пальцами и припевая. Он ловко выбрасывал ноги и крутился на дороге, но все же поскользнулся и сел в пыль, счастливо улыбаясь.

— Проскочили! Ура! Теперь на свободе, и даже с паспортом! — Вася встал и потер ушибленный зад. — Эх, потерял мастерство, практики не было, — пожаловался он под общий смех.

Апполинарий рассказал о своем разговоре с американским офицером.

— Он из Нью Орлеана, это в штате Луизиана. Этот юноша сам французской крови. Он охотно поверил всему, что я ему рассказал про себя и про нас всех. Обругал немцев, похвалил русских и согласился написать эту бумажку-пропуск. — Апполинарий вынул листок и, взглянув на него, сказал — А фамилия у него знаменитая — Лавуазье, Жак Лавуазье.

— Что он говорил про Платтинг? — спросил Шегов.

— Ничего особенного, говорил, что там интернируются русские части, которые воевали на стороне немцев.

— Ничего особенного!? Интернируются! Ведь это значит плен! — воскликнул Шегов. — Слава Богу, что не уговорил нас Пронин, а бедный Ардин влип! Какая удача, что этот офицер — американский француз и что вы, месье Ванков, были с нами. От имени братства международных бродяг, выношу вам, месье, глубокую благодарность! Объявить благодарность в приказе, к сожалению, уже не могу, — шутил Шегов. — Сегодня 18 мая. Начали мы свой драпёж 2-го, 16 суток потратили на 200 километров пути, в среднем 12.5 километров в день, не слишком

большая скорость... Но пословица права: "Тише едешь, дальше будешь!"

— Под вашим мудрым руководством, господин майор! Ура майору Шегову! — завопил Бойко.

— Ура! Ура! Ура! — поддержали его остальные.

Шегов чувствовал огромное облегчение. Плохо было только то, что рана в ноге от немецкой пули под Скепней последние дни всё больше и больше начинала напоминать о себе и долго идти ему было трудновато.

— Знаете что, давайте сойдем с дороги и малость отдохнем, — предложил он. — Вон какой славный лужок у самой воды.

— Идея первый сорт! У нас с Серёжкой есть буханка хлеба, мы с ним и бараболой запаслись у немки нашей и, извиняюсь конечно, но я у неё спер порядочный кусок копченого сала, не обеднеет!

— Фу, какой нетактичный поступок, господин Рожков! Это в благодарность за то, что фрау Норлих вас приютила, кормила и даже эти штаны и рубаху, что на вас, подарила? Ай-ай-ай, — покачал головой Шегов.

— А жрать-то нужно! И... всё равно, в этом доме мне больше не бывать!

— Я бы так не сделал. Но если вы, дорогой мой, отрежете мне кусок хлеба и положите на него ломтик стибренного сала, то я, несмотря на мою страдающую совесть, съем и то и другое в один момент!

Развели костёр, спекли картошку, помыли в холодной прозрачной воде Дуная ноги. Когда приступили к трапезе, Бойко вдруг сказал:

— Должен просить у вас прощенья, господа. Чуть-чуть не посадил я вас всех за проволоку.

— Что? О чем это вы, Вася? — спросил Шегов.

— Да вот, когда мы свои пушки закапывали, утаил я эту игрушку. Бойко вынул из своего мешка небольшой пистолет. — Думал, может, пригодится. Вот и праздновал труса там, у моста, боялся, что станут обыскивать.

— Ну, знаете, — Шегов даже поперхнулся картошкой от возмущения. — За такой номер можно и по скуле съездить! Черт знает, что за винегрет у вас под черепной коробкой, господин

бывший поручик Бойко! Дайте-ка мне эту штучку. — Бойко протянул Шегову пистолет. — И заряженный притом! — Шегов вынул обойму, швырнул далеко в реку сначала пистолет, а потом и обойму с патронами. — Для Вашего же благополучия, Василий Бойко. Забудьте об этих стреляющих вещах хоть на время.

— А у меня угощение есть. — Апполинарий вынул из кармана сигареты и пачку маленьких плоских конфет, полученных от американского офицера. — Американская жевательная резинка. Глотать нельзя, жуйте, — разъянил он.

Стали жевать заморские "деликатесы".

— Я знаю эти резинки, в Нюрнберге на фабрике их из-под полы продавали.

— А жалко — это я про пистолет... Бельгийский, браунинг № 2. У немца забрал, там, у Лодениц, при "операции вооружение", — вспоминал Бойко. — Я, конечно, не обижаюсь, просто вещь хорошая, жалко.

— Даже если плакать станете, не поможет. Скажите спасибо, что мы гуртом вам голову не свернули за такое свинство! Риск был большой, глупый и ничем не оправданный, — сердито сказал Шегов.

— Ладно, спасибо что голову не свернули, — покорно согласился Бойко.

Отдохнув, пятёрка вышла на дорогу к Регенсбургу, выбранному Шеговым только потому, что там находился его старый приятель еще по лагерю военнопленных в Вольгасте, Сергей Бедрицкий.

День выдался чистый, солнечный, ласково-тёплый. Оба берега были покрыты по-весеннему свежей зеленью кустов и высокой травы. На противоположном берегу, у самой воды, сидели два рыболова. На дороге было почти пусто; изредка встречалась подвода местного бауера, бросавшего путникам традиционное "Грюсс Гот", одинокие пешеходы улыбались и тоже приветствовали — "Грюсс Гот" или "гутен таг". Никаких следов войны, тихо, спокойно, безлюдно. Голубое небо и голубой Дунай меж двух зеленых берегов.

— Вот и всё. Война между СССР и РОА кончилась без единой стычки, без единого выстрела. Мы её проиграли, — думал Шегов, идя замыкающим и смотря в спины своих това-

ришей по двухнедельному переходу от Праги в Баварию, к берегам Дуная. От войны к миру. — Что же впереди? Все, что было до сих пор, исчезло и, конечно, навсегда. То, что называется Родиной, родными, друзьями. У меня в кармане кисет с табаком и порядочный кусок хлеба — все моё имущество. Немного, пожалуй. Но я жив и абсолютно свободен! Какое это замечательное слово — свобода! Не инженер, связанный по рукам и ногам рутинной и ложью советской жизни, не командир Красной Армии, обязанный жертвовать своей жизнью и заставлять это делать своих подчиненных, чтобы кремлёвские владыки со своим параноиком Сталиным могли продолжать грязное дело, и не майор РОА — больного плода прекрасной идеи. Просто тридцатисемилетний бродяга на дороге, просто человек. Могу идти в Регенсбург, искать там Бедрицкого. Могу попробовать найти следы Ольги, такой нежной, хрупкой, как орхидея, девочки, перекрестившей меня при расставании, и вместе с нею начать новую жизнь. А могу лечь вон под теми кустиками, смотреть в небо на тающие весенние облака, побыть сам с собой хоть на короткое время, чтобы собраться с мыслями, оглянуться. Свобода. Уравнение со многими неизвестными.

*Петр Палий*

## ГРУСТЬ

Не отгадать, не объяснить,  
Когда и как она приходит.  
Ее таинственная нить  
В уме, и в чувстве, и в природе.

Между началом и концом  
Она, как будто связь живая  
И в ткани жизни серебром  
И лунным светом отликает.

Она тонка, она крепка,  
Ее узор красив и вечен.  
Путь юноши и старика  
Им одинаково отмечен.

Земное счастье перевив,  
Она чем глубже, тем прочнее,  
И лучший творческий порыв  
Прекраснее в союзе с нею!

## ВЕСЫ

*Неутешной*

Вопрошая, тоскуя и мучась,  
Не ропщи, что любимое — прах!  
Кем-то взвешена каждого участь  
На особенно точных весах!

Жизнь вразброску кладется на чаши.  
Как? А это — особая статья!  
Только все, что нам кажется тяжким,  
Что-то с чем-то должно уравнивать.

И когда сердце рвется на части,  
Проклиная свое бытие,  
Знай, что это — расплата за счастье,  
За минутное счастье твое!

*Мария Волкова*

## ТЕМ ЛЕТОМ В ТАРУСЕ

*Князь Святослав плыл вверх по Оке и увидел на левом берегу дома и людей. Он спросил: "Что это за народ, какого племени?". "То Русь, то Русь", — ответили с берега.*

Легенда

Конец июля. День Михаила Малейна, мученицы Голендухи, Федора Варяга и сына его Иоанна. На Оке почти закат. Искусствовед Лев Михайлович Дурасов, скособоченный, желтосый, жадно шуплый, сидит на лавочке у мусатовской могилы — матвеевского, приблизительно вылепленного мальчика. У лавочки не хватает двух перекладин — прошлой ночью выломали пьяные художники из Дома Творчества, придя поклониться великому духу искусства и природе. Лев Михайлович любит грустить на закате. Тогда в нем оживает тягучее славянское чувство расхищения и беспокойства. Он думает, как загублена его жизнь — без настоящих стихов, без бабушки-купчихи, у Измайловского Зверинца в Москве, населенного теперь пьяными крикливыми инвалидами. С обморочной женой-ретушером, сыном — подпольным абстракционистом и незавезенным до сих пор на зиму углем. На его острых вытертых коленях томик писем Флобера. Какая же удобная была тогда жизнь! Запускали мамелюкские усы, в окружении беев следили за танцем живота, а потом стали собирать японские гравюры, ездить в Довиль под парусиновые зонты на холодном ветренном пляже. И вдруг случилась Парижская Коммуна.

Дурасову, как исконно русскому человеку, трудно на чем-либо долго сосредоточиться, и взор его рассеянно бродит по купам мусатовских берез, по зарослям ольхи и ивняка на том берегу, вообще по природе. Он считает баб, подтягивающихся к

парому за бедным гробом. У его ног в заросшей ковылем яме валяется черный мраморный блок с торчащим из середины ржавым стержнем — "На сем месте телом погребена, а душою в вечность переселена...". Без имени. Без чисел. Лев Михайлович еще не знает, что и сам он скоро, совсем скоро умрет; на старом скрипучем проигрывателе на директорском столе рядом с его гробом будут играть "Лакримозу" Моцарта и совершенно некому будет закрыть саваном его запавшие глаза и желтую прокуренную бороду на одном из новых московских кладбищ. Оставшиеся будут страшно хотеть жить, пугаясь всяческого намека на смерть.

Вася Похвиснев с румяной женой взбирается по тропинке на соседний косогор. Вася недавно прочитал несколько страниц пятого тома "Истории Государства Российского" Карамзина и полон впечатлением. Жена рассказывает Васе:

— А потом Таня привезла литр земляники... Хорошо там, в Барятине, потолки лепные.

Вася откликается, произведя на лице участие:

— Прекрасно, Ариша, но ты же на одной землянике не вытянешь! А потом, что если пойдут дожди? Земляника — это хорошо, питательно, но как-то мало!

Под ними пыльная дорога, извилистая и репейная. Иногда стрекочет мотоцикл. Писатель Колзаков катает консерваторку. Все равно тихо.

Под вязами — днем там прохладно, а к вечеру доползает солнце — ждут ночи старики. Старики примостились на перевернутой облезлой лодке. Пахнет смолой и свежим сеном. Старший, закинув корявые нога на ногу, сидит, сложив руки на коленях крестом. Он в холщовой куртке, светлосерой, теперь, на последнем солнце, розовой. Шамкает девяностолетним ртом:

— Холостякую я ноне, дед. Померла летось моя Дарья...

Младший, в разлетах франц-иосифовых баков, говорит, суетливо прикладывая к кустистым бровям лиловую на солнце ладонь:

— Царствие ей небесное! Царствие ей небесное!

Он всматривается в дальнюю излучину реки, — нет ли парохода или на худой конец лодки, разглядывает баб на пароме, бормочет, будто про себя: "Вот и еще одну рабу на погост воло-

кут. Да поздненько што-то, замешкались сегодня”. Отнимает, наконец, ладонь от иссеченного морщинами лба и кричит старшему в глухое волосатое седое ухо:

— К депутату я, дед, давеча ходил.

Дед откликается: ”Ась! Похолоднело!”

— К депутатааату! — кричит натужно младший. — Дашники, говорю, мне поджигу сделали.

— Ааа..? — непонимающе трясет головой старший дед.

— Д-а-а-шники-и. Депутат меня вопросами наскрозь извертел — под каким случаем пожар проявился, так да эдак, да вот эдак так и того...

К старикам подсаживается соседка, Груша. Она в белом платочке в синий горошек, словоохотлива; козу привязала к вязу. У нее коза с сережками, кошка с котятками и две курицы без петуха; петух у соседа, младшего старика — да что от него толку, курицы от петуха бегают без ума, он так и кричит свое впустую, орало дьявольское.

Маленьким сухим настырным кулачком Груша показывает в сторону парома:

— Отмаялась ноне Прасковья... Вот и я рубашечку на смерть приготовила, и чулочки, и тапочки, купила себе покрывало с ангелами. Оно, конечно, пожелтело немного, а ничего, пока красивое. И все, как есть, увязала в узелок, всю ношу.

На стене ее комнатки с рваными обоями — Никола Угодник, святая Агнесса, Сикстинская Мадонна, Рабиндранат Тагор и советская киноактриса Зинаида Кириенко, похожая на смазливую злою хоряку.

Старики молчат по-мужски, неприступно. За их спинами блеет коза, просится домой. Груша все еще не теряет надежды стариков разговорить:

— Мы с сестрой вот так-же, бывалочи, сидим. Молчим. А потом она возьми и скажи: ”Груша!”. А я ей говорю — ”Что?” — ”Давай, я тебе погадаю — сколько жить осталось”. Оттянет на руке кожу, смотрит. — ”Кожа у тебя ничего, стоит. Не скоро померешь”. А я ей отвечаю: ”И слава Богу! У бедного да бледного шкуру оттянешь, а у красного нет”. Она в первых родилась, а я в шастых... Так-то вот... Дайте-ка, старики, я вам погадаю!

Старики не даются, притворяются, что не слышат...

Актер Лева Дрыгунов упражняет гладкие и иные мышцы своего безволосого, но красивого тела. Сегодня его любимое, неотложное чтение — "Над пропастью во ржи" и "Глазами клоуна". В гостинице из серого кирпича, в своем номере люкс он чувствует неожиданный прилив артистичности, какой-то достоинства, причастности чему-то, — даже здесь, в этом тщедушном доморощенном российском Барбизоне. Калина, крапива в овраге, трепещущие березы на кособоре, ольха и ивняк его раздражают — здесь нет ничего от его казахстанского оазисного бескорневого детства. Леве хочется избавиться, наконец, от провинциального акцента. Заговорить, ну хотя бы как самый младший Пров Садовский из Малого. Сыграть романтического героя Бонивура в революционных телесериях, сняться у Тарковского в чем-нибудь загадочном из западной жизни, но с критическими аллюзиями на отечественную, съездить в эти самые Канны и там безумно увлечь на коктейле хорошенькую заграничную звезду.

Деревенские самородки, Боря и Слава, живописцы, духовно и эстетически питаемые литератором-алкоголиком Шелестовым, пишут на просторном светлом чердаке недостроенного отцовского дома, каждый в своем углу, по картине-иллюстрации к популярной блатной песне —

Мы встретились с тобою, черемуха цвела

И в старом парке музыка играла...

На их полотнах все предельно реалистично, немного в рембрандтовском коричневом полусвете, немного в берлинской лазури. Отчего-то все российские самородки на некоторое время вдохновляются Рембрандтом Ван Рейном. К ним на чердак бегают Алеша, подросток, младший сын прозаика-сентименталиста, того, что описывает шорохи, скрипы старых домов, грустные будни провинциальных старых дев, а также призывает беречь незагаженную природу и чистые эмоции. Алеша носит самородкам водку и кильку, преобразованную его зятем, сентименталистом-драматургом, путем подогрева на радиаторе, почти в анчоусы.

У самого берега, в холодной уже траве, лежит Саша Нерымский, студент, личность, имеющая тенденцию к житейским ава-

приям. Он удит рыбу. Сегодня рыба хорошо клюет на тихом закате. Первые комары. Его приятель, художник Серафим, худой, всклокоченный, вдохновенный, полупьяный, с крупным синяком под глазом и в валенках, пишет сильными коровинскими мазками окский берег и рассказывает Нерымскому:

— ...Я была сильная, а теперь... — Ты была сильная с мамой, а теперь мама умерла... — Ты слушаешь?

Серафиму кажется, что Нерымский спит.

— Да! — студент сильно бьет надоевшего комара.

— Она говорит много и нудно, а я смотрю в окно, хочу рассола и стараюсь представить себе что-нибудь лирическое — прерафаэлитов, Офелию, вербу, — у меня Офелия неизменно связана с вербой...

— Жизнь как что? — откидывается на спину Нерымский. На траве бьется окунь с разорванным ртом. — Можно ее воспринимать как амфору, пусть ты даже знаешь, что она полна дерьма. Но вот идешь, держишь ее на вытянутых руках и боишься расплескать...

Из ивняка на другом берегу реки бредет лиловый негр с этюдником. Он в красной рубахе. Разбитной цыганенок Колька мчится к нему с пристани на моторке, озорно вертит рулем. Застывшая вода пенится спелым жемчугом. Негр замирает, он боится утонуть, потому что родился в Сахаре, среди песков, и плавать не может. На корме у Кольки лежит растрепанный фединский "Костер".

Телега с гробом сходит с парома на песок, полный рыбьей чешуи и рыбьих кишок. Бабы строятся, галдят — кому тащить гроб; решают, наконец, и тащат востроносенькую землистую старуху в гору по пыльной дороге — к кладбищу, через площадь.

На крыльцо милицейского участка выходит майор Неелов — в ногах нетверд, — удовлетворить свою патриотическую и профессиональную подозрительность, свою любовь к зримому порядку. Не обнаружив видимого бунта, круто поворачивается и исчезает во мраке участка, отдав — никому — громкое распоряжение: "Отдыхайте!"

На площадь въезжает автобус, пришедший со станции, а в нем — один из ранних диссидентов, Евгений Драбантов. Перед самым городом он закончил читать "Похвалу Праздности" и

потому окружающего мусатовского пейзажа не видел. Бабы стоят за керосином с пустыми канистрами, а у пивного ларька — небритая, с сизыми носами, непросветленная ничем толпа. Драбантов делает крюк — обойти пивной ларек. Мочит по рассеянности ноги в случайной луже. Думает о неконтактности вообще и темноте русского народа в частности. А также об исихазме Григория Паламы. В воздухе зримо плавает та бесформенная безбытийность, что так возмущала Чаадаева. На обильно заросшей крапивой улице Драбантов находит нужный дом — провонявший крепким табаком сруб, лебеда сразу же у крыльца, трава-мурава, загаженная соседскими курами, за крепкими купеческими воротами надрывается невидимый, но мощный волкодав.

Драбантов стучит конспиративным стуком. И раз, и два, и три. Наконец, никогда не мытое окно распахивается, из него высовываются сильно волосатые, жесткие руки, ногти с вековой рабочей чернотой, толстая трубка, а потом пегая голова поэта Штернберга:

— Сегодня не могу, Женя. Что хочешь. Любовь. Самум. С первого взгляда. Если к завтра все отгорит, покажу тебе стихотворение о лилипуте. Кажется, крепко заделано. Место в гостинице за тобой. А теперь извини.

Перед тем, как захлопнуть окно, Штернберг вспоминает:

— Кстати, разузнай, кто подучил избить Серафима Зверева. Это очень важно!

Он выворачивает ладонь плашмя —

— Такая вот штука жизнь, да!

Похвисневы осваивают извилистую тропу. Жена хватается от крутизны за стволы берез, за кустики, за Васю. Выйдя на дорогу, она смотрит на свои голые ноги и спрашивает боязливо мужа:

— А ничего, Вася, что босиком? Охальники разные смеяться не будут?

— Отчего же, Ариша, — говорит Вася, — это можно, это ничего.

— Знаешь, в Бярятине лепные потолки приспособили... Таня литр земляники... Хорошо там, — снова вспоминает Ирина.

Вася Похвиснев молчит, а про себя тоскливо думает, что

вот, он, от природы столбовой русский дворянин, не может купить жене босоножек. Но говорил же Державин — "Ты царь, коли сияешь ты душою, болярин, коль болеешь за людей". Вспомнив, Вася снова незлобив, почти спокоен — "Какой красивый закат, Ариша!".

Михотя Михайлов, сладкий старик и врач, сын того доктора, который всем больным прописывал молоко, принимает в гостях Валерию Ивановну, свою пациентку и старшую сестру входящей в моду поэтессы. Только что, в кабинете, он смотрел ее жирное, страдающее водянкой тело, а теперь вымыл руки и подал к столу свежего варенья и немного ванильных сухариков. Лениво летают уставшие за длинный день от жары мухи. Солнце еще цепляется за верхушки сосен и высокой березы. Валерия Ивановна непримиримо ругает младших сестер и племянницу. Особенно ей неприятна неожиданная слава единокровной сестры:

— Что они в ней нашли? Брат Андрей, вот он был блестящий ум. Присяжный поверенный. Если бы не революция — стал бы Плевако, Кони! Да что там Плевако и Кони!

— Умных я боюсь, — подозревающе говорит толстый, шумный, докончальный композитор Пантелеймон, ученик Метнера. И обращается к клавесинистке Надежде Осиповне — Так на чем мы кончили?

Надежда Осиповна, в белой оренбургской шали — ей всегда холодно — седая, колокольчатая, разминает пальцы, играть Шуберта. Она только что послала привезенную с собой из Ленинграда ученицу за пирожками и парным молоком.

Михотя наслаждается вечерней летней тишиной, своим гостеприимством, коллекционными гостями, недавним приобретением крупной картины в роскошной золотой раме "Иисуси встречают рассвет". Он жмурит глаза, вытягивает ниточкой и без того узкие губы, блаженно мурлычет:

Закону мудрому поверьте,  
Поутру все смятение и ложь,  
И копошашиеся черти,  
День только к вечеру хорош.

Писатель Колзаков, откатав консерваторку, заходит выпить портвяшка в столовую. Там пахнет карболкой и кислой

капустой. Консерваторка сидит в ожидании на мотоциклетном облучке, считает от скуки керосиновую очередь. Колзаков возвращается красный, лысый, горбоносый. Говорит вслух, никому:

— Придется поступиться своими правилами и в будущие приезды заходить в это шале.

Заводя мотор, напоминает:

— Помнишь, ты обещала Фрескобальди?

У его друга, поэта Штернберга, стоит старая фисгармония. Они еще не знают, что у Штернберга сегодня любовь. Самум.

Штернберг, в одной майке, жаркий, во вдохновении и любовном поту, окатывает себя вторым ведром холодной воды, пытаюсь нащупать поэтический ход —

— Хочу Шопена, Шопена, романтического взбивания клавиш, взвихря плачущих берез на проселке, все равно какая погода, — лучше чтоб дождь и выбоины блестели фотогенично, хочу ветра на откосе и зонтика, белого, с кисеи, хлопающей на этом ветру, хочу стволов каких угодно деревьев, но чтобы романтично — романтично — умирающий юнкер в Михайловском Провале, за калиткой, где всегда цветет вишня, где панночка когда-то сидела, высматривая Хому Брута — Нечистая сила на Палатине в Риме слетелась плясать над нашим длинноносым, не умевшим выразить ничего — Гоголем — Это — поэзия? — спрашивает сам себя Штернберг.

— Ну где же ты, Аркаша! — зовет из сруба капризный женский голос. Штернберг теперь уже наверное знает, что завтра все отгорит.

Льву Михайловичу Дурасову в его старом жидком пиджаке становится у мусатовского памятника холодно, сыро, сумеречно. Он спускается один в темный овраг. Так путь к Дому Творчества короче. Стрекается крапивой, бормочет что-то про себя, какое-то продолжение последних мыслей: "Злой Бог — это понятие, до которого люди легко дойдут, если нет никакого достоинства в бескорыстии любви".

*Юрий Кашкаров*

\*

\*        \*

Дождаться резкого звонка,  
Почти случайного, как шутка,  
Снять трубку, поболтать минутку  
И бросить весело — Пока!  
А жизнь идет по первопутку  
Угрюмо, холодно и жутко.  
И темь. И на сердце тоска.  
А там ободришься слегка,  
Влюбясь с насмешливостью чуткой  
В стада, деревни, облака,  
В деревья и пастушью дудку,  
Во все минувшие века,  
Все весны, всех стволов погудку...  
Так коротаешь в промежутки  
Срок — от звонка и до звонка.

\*

\*        \*

И та далекая весна,  
И голуби, и голубятни,  
Но с каждым годом все невнятной,  
Все глуше слышится она.  
А осень — ближе, и понятней  
Все то, что я понять должна,  
Понять, отдать, смирить... До дна  
Допить всю горечь и усталость,  
Чтоб ни одна моя вина  
Неискупленной не осталась

*Лия Владимирова*

## ДОМА И В ЛОДКЕ С ЛЕОНИДОМ ЗУРОВЫМ

С писателем Леонидом Зуровым я познакомился и дружил в тридцатые годы, годы моей далекой юности.

Леонид Зуров, тогда молодой, начинающий писатель, гостил в имении Жоготы, в Латвии, у другого начинающего писателя, барона Леонида Николаевича Нольде (автора книги "Не ржавели слова" и ряда других интересных рассказов; он был также талантливым художником-пейзажистом).

Каждое лето в наши края, в озерный край, в Жоготы и в наше имение Балиново съезжались на деревенский отдых многочисленные дачники из Риги и других городов Прибалтики. Среди дачников можно было встретить именитых людей, бывали артисты театра Русской Драмы, писатели, художники. В нашем имении Балиново обычно гостил известный художник Н. П. Богданов-Бельский, рисуя там с природы русских деревенских ребятшек. Он также запечатлел наш цветущий фруктовый сад и берег нашего озера с юными рыболовами.

В 1920 году, вскоре после освобождения Прибалтики от большевиков, некоторое время в Балинове жил в качестве моего домашнего учителя известный в петроградских литературных кругах писатель Леонард Юлианович Кормчий (Кароль Пуришкевич), впоследствии издававший в Риге журнал "Юный читатель".

Вся Латгалия (восточная часть Латвии), благодаря сохранившейся преемственности русского дореволюционного быта, привлекала к себе носителей и хранителей русской культуры. На улицах Режицы, в Двинске, в Люцине главным разговорным

языком был русский, и мы, молодежь, учились в русских гимназиях, не особенно сильно ощущая, что мы живем уже не в старой России, не в Витебской и Двинской губерниях, а под властью мигрировавших в нашу русскую область курляндских латышей.

Естественно, что рожденные в России и вынужденные жить теперь не в своем русском собственном доме, мы тянулись к общению с нашими старшими братьями — учителями и хранителями русской культуры. Приезды в Латгалию русских художников, писателей и артистов всегда были светлыми праздниками для нас, провинциалов.

Ко времени моих встреч с Леонидом Зуровым я был студентом-заочником Радиоинженерного Политехнического института. Физика, радио, а затем телевидение интересовали меня с раннего детства. Будучи страстным радиолюбителем, я мастерил различную радиоаппаратуру, пугая лягушек в Балиновских прудах концертами из Будапешта, а по ночам — семью нашего спольщика, пана Тюнского голосами якобы привидений, спрятав громкоговоритель в недрах объемистой печи, где они выпекали превкуснейший ржаной хлеб. В дождливую погоду, когда было невозможно охотиться за растениями для гербария, я уединялся в своей комнате, читал научные и технические книги и писал стихи, должно быть, унаследовав эту привычку от матери, талантливой пианистки и поэтессы. Вот эти "дождливые слезы", как я называл свои пробы пера, и сближали меня с Леонидом Нольде и вторым Леонидом — Леней Зуровым. Время от времени я навещал Жоготы, а два Леонида приходили в Балиново повидать живших на даче знаменитостей, а также почитать друг другу пробы пера.

Это было, примерно, лет 45-50 тому назад, и только один из нас, ныне покойный Зуров, стал известным писателем. По слухам, Леонид Нольде умер в джунглях Бразилии, куда его привело беженство, а я доживаю свою жизнь в Америке, где последние двадцать лет работал в области атомной физики.

Во время наших литературных встреч в Жоготах и Балинове Зуров читал свои рассказы о жизни русских людей в изгнании. Читал он красочно и ярко. Его рассказы нам очень нравились и мы принимали их без критики, считая Зурова старшим

братом-литератором, нашим учителем. Помню, что его интересовала наша русская деревня, ее быт и люди. Подобно Богданову-Бельскому, Леонида Зурова можно было видеть в окружении крестьянских ребятишек, ведущим задушевные разговоры с мужиками, бородачами-староверами и, иногда, прогуливающимся под ручку с какой-либо деревенской красавицей, Афро-синьей или Феоктистой. Зуров любил посещать наши деревенские гулянки. Обычно по большим праздникам парни и девицы окрестных деревень собирались у берегов нашего озера или на опушках березовых рощиц, белоствольными островками раскинутых в долинах среди изумруда наших лугов, окруженных холмами, засеянными по склонам рожью, овсом или ячменем.

Иногда гулянки устраивались на плоской вершине "Лысой Горы", с вершины которой были видны зеркала наших, многочисленных в Латгалии, озер. Народу собиралось много — все молодое население деревень Болбыши, Ковали, Шитники и окрестных хуторов.

Латышей латгальцев в наших краях было мало, и они предпочитали держаться особняком, собираясь, обычно, раз в году на праздник Ивана Купалы (праздник Лиго). На русские гулянки деревенские парни побогаче приходили в "пиджаках", а бедняки — в русских рубашках навывпуск поверх штанов, кто — в сапогах, кто — в городского фасона туфлях, а иногда можно было увидеть и "деда" в лаптях.

Нас, "панычей", встречали не очень приветливо, но Леня Зуров умел расположить к себе остроумной шуткой и вскоре устанавливалось если не братство, то некоторая условная степень равенства. Гулянки обычно заключались в хождении группами взад и вперед, прерываемом хороводами и веянием цивилизации, — пляской "Святого Витта", как у нас тогда называли фокстрот.

Голливудская культура далекой Америки уже стала проникать в нашу простодушную деревню. Так, одно время была весьма модной песня "Валенсия", ее пели так: "Валенсия, ваши ножки, как у кошки, а глаза, как у совы". "Валенсию" обычно сменяли частушки, которых было премножество, вроде такой: "Ах ты, милая моя, я тебя потешу, положу тебя в мешок, а потом повешу"; или — "Староверки девки мелки, на суках сидят,

как белки, а латышки покрупнее, те уже сидят плотнее". Маши и Глаши обычно реагировали отрицательно на "срамные слова": "Чтоб вас холера заела, черти лупоглазые". Один из наших "чертей лупоглазых", деревенский поэт Еник Красовский собрал несколько сот таких непечатных образцов народного творчества и прославился в уборной нашей гимназии как великий собиратель непечатного искусства деревенской порнографии.

После пения частушек обычно приступали к поеданию деревенской снеди, к поглощению латвийской водки "Дзидрайс" и самогона производства деда Панфила или братьев Жуковых. Самогон пили обычно под "Яблочко" на советский лад: "Эх, яблочко, куда ты котишься, в ГПУ попадешь, не воротишься". Самогон был убийственный, вроде ГПУ.

Когда, подогретые самогоном, страсти разгорались, ковалевцы и болбышевцы шли "стенкой на стенку". Чтобы сохранить свои "черепушки", мы благоразумно ретировались с поля битвы. Полный отчет о результатах веселья на "Лысой Горе" или у березняков можно было вскоре получить от дочери нашего спольщика, Антоськи Тюнской, которую за всеведение прозвали "Антоська-газета". На следующий день после гулянки она обычно знала со всеми подробностями, кому "рыло свернули", кому "черепушку провалили" за болбышевскую Маньку, а кому "в конец душу вышибли" за ковалевскую Ленку.

Леонида Зурова весьма интересовала стихия этих примитивных людских страстей. Внимательно слушая последние сводки "газеты-Антоськи", он делал заметки в своей коричневой записной книжке, задавая нашей "газете" бесчисленные вопросы. Не знаю, использовал ли он в своих литературных трудах виденное и слышанное в нашей Латгалии.

Перед его отъездом из Жогот я отдал ему тетрадь своих стихов, старательно переписав лучшие из моих виршей. Ему нравились мои стихи, навеянные нашей приветливой природой и всплесками озерных волн.

В одну из очередных встреч с Леонидом Зуровым ему пришла в голову мысль из Жогот пробраться водным путем в наше имение Балиново. Местные жители рассказывали, что Жоготское озеро соединяется безымянной речушкой с большим, расположенным недалеко от Жогот и Балинова, озером Разно.

Наше небольшое живописное озеро в Балинове, в свою очередь, соединялось с озером Разно, вернее, с заливом Разно — озером Черное, каналом, прорытым прежним владельцем Балинова помещиком Лешинским. По рассказам местных рыбаков, эта безымянная речка протекала через большое, почти непроходимое болото. По словам рыбаков, некоторые смельчаки пытались пробраться из Жоготского озера в озеро Разно, но возвращались обратно, потому что в центре болота безымянная река растекалась на ряд мелких ручьев, которые терялись в камышах, а потом, по-видимому, опять соединялись в один непрерывный поток, втекающий в Разно.

Идея проделать водный путь из Жогот в Балиново исходила от Леонида Зурова. В его натуре жила жилка исследователя, искателя новых путей. Леонид Николаевич Нольде взялся достать лодку у местных рыбаков, так как лодка-”душегубка”, принадлежавшая ему и его братьям, была в состоянии, полностью оправдывающем ее имя. Когда соответствующее судно было доставлено к берегу имения Жоготы, мы стали собираться в путь. Вначале среди жоготских дачников нашлось несколько человек, желавших проделать это путешествие, но напуганные разговорами о непроходимости болот и тем, что там, якобы, водятся ”болотные черти”, малодушные трусили. В числе смелых остались только Леня Зуров, Леонид Нольде и автор этого рассказа.

В последнюю минуту перед отъездом Леонид Николаевич Нольде тоже смалодушничал, ссылаясь на то, что он не переносит укусов комаров и хочет окончить недавно начатую картину. Таким образом, мы остались вдвоем с Леней Зуровым.

Судя по карте, наше путешествие не являлось кратчайшим расстоянием между двумя точками и, возможно, могло продолжаться несколько дней, поэтому мы взяли с собой немного еды, пару коробок спичек, чтобы разводить костер, удочку для рыбной ловли, котелок, снадобья, необходимые для варки ухи, а также пару байковых одеял.

В ясное, летнее утро группа веселых дачников устроила нам торжественные проводы. Слышались шуточные замечания, советовали взять с собой козу: козье молоко, мол, содержит много витаминов и это даст нам силу для усердных взмахов веслами.

Некоторые шутники советовали намазать носы горчицей, чтобы отгонять комаров. Один из провожавших шутников прицепил к носу лодки сухую заячью лапку на счастье, чтобы мы не заблудились в болоте. А прелестная дачница Нина даже наградила нас поцелуями. Под крики "ура" мы тронулись в путь-дорогу.

Наша ладья — чудо деревенского кораблестроения — была грубосколоченной из сосновых досок плоскодонной посудиной. Чтобы вода не проникала внутрь лодки, изогнутые дугой доски по стыкам были густо обмазаны липким варом, пахнувшим колесным дегтем. Чтобы двигать это пятиместное чудовище, надо было действительно, выпить пять крынок козьего молока, в чем мы скоро убедились. Как бы там ни было, переплыв пару верст Жоготского озера, после усиленной гребли и пузырей на ладонях от мозолей, мы благополучно нашли устье безымянной речушки и поплыли по неширокому, извилистому коридору, окруженному густой стеной камыша. Леня наломал "шомполов" — тростниковых соцветий — и украсил ими нос нашего корабля.

Цветы душистой таволги, растущей на островках среди камышей, наполняли слегка дурманящим ароматом наш речной коридор. Этот аромат, по-видимому, отгонял многочисленных комаров, которые нас не очень беспокоили. Вспугнутые дикие утки в панике, громко крикая, подымались с поверхности медленно текущей воды и густыми стаями проносились над нашей ладьей. Я пожалел, что не догадался взять с собой свое "монте-кристо" — было бы утиное жаркое.

Ночь застала нас в сплошном камышовом лесу; попытки разыскать островок для ночлега были безуспешны: ноги проваливались в мягкий торфяник, куда бы мы ни двигались, всюду было болото. Непечатно покрыв всех "болотных чертей", мы стали устраиваться на ночлег в лодке. Закусив хлебом с сыром и выпив единственную взятую с собой крынку молока, мы разостлали одеяла на дне нашего "гиппопотама", как окрестили наш неуклюжий корабль, и улеглись спать. Вернее, улегся спать я, а Леня, болтая босыми ногами в воде, остался сидеть на корме, слушая лягушачий концерт и голоса ночных птиц. Я уснул, как убитый.

Оказалось, что наш "гиппопотам" пропускает воду, так что ранним утром мы проснулись подмоченными: одеяла набухли,

как губка, и неприятно, мокрыми пластырями, липли к телу. От утренней прохлады нас трясло, как осиновые листья. Хорошо было бы разжечь костер и согреться, но за сплошной стеной камышей невозможно было найти ни клочка суши.

Взмахи весел согрели наши озябшие тела и жить стало веселее. Я спросил Леонида, видел ли он "болотных чертей", которыми нас пугали деды-рыбаки. Видел всего лишь какие-то синеватые огоньки, — говорил Леня, — должно быть, лунные блики или болотный газ.

Наша река окончательно расплылась в камышовых джунглях. Пришлось снимать "невыразимые", погружаться по колена в воду и, раскачивая лодку, двигать ее с мели. Куда бы мы ни толкали нашу лодку, всюду вода была по колена, всюду сплошной стеной стоял камышовый лес. Заячья лапка не помогла — мы потеряли наш водный путь. Пробродив несколько часов вправо и влево, бесцельно тараня камыши, мы, наконец, наткнулись на место, где вода была выше колен и можно было плыть по-индейски, отталкиваясь веслами. Узкие протоки воды среди камышей стали объединяться в некое подобие речушки. Наконец, появились признаки течения, и мы облегченно вздохнули.

Но нашу радость омрачила другая неприятность: оказалось, что пока мы, напевая "Эх, дубинушка, ухнем", толкали нашу ладью, к нашим ногам и шиколоткам присосались пиявки. Кроме того, "голод — не тетка"; хотелось, по-деревенски выражаясь, пожрать, но, кроме подмоченного хлеба, десятка кусков сахара и банки с листочками чая, ничего не было. Вскоре болотную топь заменили плоские, покрытые лозой берега, и ладья поплыла сама, гонимая усилившимся течением речушки.

Мы совсем повеселели и, причалив у поросшего лесным молодняком берега, растянули наши одеяла, положили на солнцепек полбуханки подмоченного хлеба, чтобы он высох, развели костер, набрав сухого хвороста в чаше лозняка.

Чтобы обогатить наш рацион, я решил наловить рыбы и сварить уху. Оказалось, что это не так-то просто. Поиски живцов все же увенчались поимкой нескольких жужелиц и пары лохматых гусениц, которые, по-видимому, были плотве и окуням не по вкусу. Сидя на берегу речки, я долго с грустью смотрел на неподвижный поплавок, а потом, вспомнив пого-

ворку "на одном конце червяк, а на другом дурак", с досадой бросил удочку на дно плоскодонки. Леня Зуров смастерил из сучьев треногу, повесил котелок, и мы, позавтракав чаем с хлебом и набранной им земляникой, отправились в дальнейший путь.

Речушка весело заструилась вдоль полей, засеянных ячменем. "Вот мы и в цивилизованном мире", — сказал Зуров. Цивилизованный мир состоял из пары пегих стреноженных саврасок на берегу; стадо флегматичных коров медленно брело на водопой, и вихрастый, веснушчатый пастушок, засунув в рот палец, с нескрываемым удивлением смотрел на нас.

На наш вопрос, где его деревня или хутор, ответа добиться не удалось; по-видимому, он принял нас за "болотных чертей" и от испуга не мог выговорить ни слова.

По отдаленным крикам петухов и лаю собак я определил местонахождение деревни и отправился туда на разведку — достать чего-либо съестного.

"Разведка" оказалась не очень успешной — десяток яиц и буханка черного хлеба. Добродушная хуторянка-бабуля опознала во мне городского "паныча" и ни за что не хотела брать за хлеб серебряную "мильду" (так у нас называли латышскую денежную единицу — лат, на которой была отчеканена голова латышской девушки).

Закусив, мы снова отправились в путь. Новое препятствие: оказалось, что рыболовы перегородили нашу речку сетями и мережами. Сначала, пыхтя и изнемогая от натуги, мы волокли нашего "гиппопотама" по мелкому прибрежному дну, напевая "Эй, дубинушка, ухнем" во все более и более минорном тоне, а потом, рискуя, что рыболовы поломают нам ребра, поплыли напролом, опрокидывая мережи и снимая сеточные заграждения. Леонид оказался превосходным поваром и мы плотно поужинали ухой с хлебом, подаренным нам бабулей.

Наступила безоблачная, безлунная, тихая летняя ночь. Расстелив одеяла среди кустов можжевельника и пахнущего елеем сосняка, мы улеглись спать. Перед сном разговорились.

Помню, что главной темой нашего разговора была наша Родина — Россия. Мы все тогда "болели" Россией. Я не знаю, где родился Леонид Зуров. Я же родился в городе Режица Витеб-

ской губернии. Там, до кошмара нашей нелепой и ненужной смуты, почему-то называемой революцией, в условиях домашнего уюта и полного достатка протекало мое детство. Потом настали дни, когда моя мать стояла на коленях у ступенек вагона красного комиссара, вымаливая жизнь моему отцу, уведенному из дома вооруженной группой площадно ругавшихся оборванцев, предводителем которых был Яська, сын жившей на нашей улице попрошайки Мадоли. С этим Яськой я иногда бегал наперегонки и иногда, по его просьбе, секретно снабжал его отцовскими папиросами. И мне было теперь непонятно, почему он держал винтовку направленной на отца. Ведь раньше он разговаривал с отцом почтительно, когда отец занимал его колоть дрова или топить печи в нашем доме.

Я рассказывал Зурову о пережитом нами ужасе в дни красного террора, когда многие из моих сверстников потеряли отцов, дедов и старших братьев, расстрелянных за то, что они жили лучше, чем Мадоли и Яски. Леонид Зуров долго расспрашивал меня о виденном и слышанном в это тяжелое время советской власти в Режице, в 1918 и 1919 годах, о возникновении белой борьбы в наших краях, зная, что два моих дяди, полковник и генерал\*, жившие в Балинове, были видными участниками этой борьбы. В то время мы все верили, что антинародная советская власть на территории России не продержится долго, что спасение придет из глубин Сибири.

Смотря на звезды, мы предавались мечтам, как это произойдет. Каждый из нас имел свою теорию. По теории Леонида, освобождение придет вследствие религиозно-духовного возрождения нашего народа, придет изнутри, и этот процесс возрождения потребует значительного количества времени. Я был сторонником немедленной активной борьбы всеми доступными средствами.

Природа угостила нас неожиданным спектаклем — поток падающих звезд фейерверком посыпался из созвездия Леонидов. Прервав наш разговор, мы, как зачарованные, молча смотрели на летящие в небе огненные стрелы.

---

\*Генерал Михаил Александрович Афанасьев. Полковник Владимир Константинович Неплюев прославился, отбив у красных бронепоезд.

”Леня, задумай желание, — сказал я, — когда увидишь яркую падающую звезду; должно сбыться, ведь звезды летят из твоего созвездия”.

”Мое желание — попутешествовать по разным странам, встретить собратьев по перу, поучиться у них, найти свой путь, свою дорогу”, — сказал Зуров, когда очередная падающая звезда пронеслась по небу.

Моей мечтой было побывать там, на других планетах. Я рассказал Зурову, как в гимназическое время мы, гимназисты, члены Ломоносовского кружка юных естествоиспытателей, построили чувствительный радиоприемник сантиметровых радиоволн и, снабдив его антенну рефлектором от электрической печки, пытались принять радиосигналы от обитателей других миров, но, увы, кроме шумов и загадочно-периодических шорохов, ничего не услышали — ни со стороны Марса, ни с Венеры.

Падающие звезды прекратили бороздить небо и, побродив в мечтах по другим планетам, мы улеглись спать.

Главным происшествием следующего дня была ловля раков. Продолжать опустошать мережи было совестно, остатки ухи после нескольких полных котелков уже не лезли в горло. На этот раз я стал учителем, снисходительно объясняя своему старшему другу, как надо ловить раков. После вскриков ”ай” и ”ой”, на дне плоскодонки барахтался десяток усатых чудовищ. И как же были сладки раковые ”лапки”! Плотно закусив меж молодых сосен на полянке, мы отправились на экскурсию, обозревать окрестности. Место нашей остановки было без признаков цивилизации. Сосновая опушка переходила в густой бор, поднимавшийся щетиной стройных стволов на вершине крутого холма. Забравшись повыше на холм, мы старались обнаружить в лиловеющей дымке горизонта зеркало большого озера Разно, однако, вершины более высоких, поросших лесом холмов непроницаемой для взора сизо-зеленой занавесью скрывали его от нас.

Вдыхая в себя теплый смолистый воздух и купаясь в лучах полуденного солнца, мы улеглись на покрытую сосновой хвоей почву, слушая переливчатые крики иволг и кукование кукушек.

”Чудно хорошо здесь у вас, — сказал Леня. — Приезжая

сюда к вам из душного, лязгающего железом удушливого города, я чувствую себя обновленным, я чувствую, что еще жива наша простая деревенская Россия. Этот запах сосен, белые стволы березок, добродушные лица бородачей крестьян, гостеприимство вас, "старосветских помещиков", все это уводит меня в наш старый, крепкий русский быт, не разрушенный еще трагическим безумием, охватившим нашу Родину".

На обратном пути через луг, на берегу нашего ручья, я набрал букет диких орхидей, ароматных любок и нашел несколько неизвестных мне растений, которые взял с собой, чтобы, пользуясь ботаническим атласом, определить их название и к какому семейству они принадлежат. Этот интерес к жителям флоры вернулся ко мне и здесь, в приютившей меня Америке, и мой небольшой садик густо населен разнообразными растениями, а в погребе, под лучами флуоросцентных трубок цветут тропические орхидеи. Но моя душа все еще принадлежит скромным красавицам наших опушек — ночным фиалкам, любкам.

Леня набрал букет ромашек и, обрывая их лепестки, гадал — "любит — не любит". "Кто это — Нина?" — спросил я Леню, но он только звонко рассмеялся в ответ.

На третий день нашего путешествия мы, миновав ряд прибрежных деревень, вплыли в устье Режицы, названной в честь города Режица, в котором я родился в России, а, по иронии судьбы, провел свою юность уже в городе Резекне — в той же русской Режице, но уже не в России, а во вновь образовавшейся независимой республике, в Латвии.

Теперь грести пришлось против течения и примерно через полчаса, с криками "ура" наша лодка появилась на просторе озера Разно. Озеро Разно — второе по величине озеро в стране озер — Латгалии. Самым большим озером этого края было озеро Лубань, в Люцинском уезде. Мы называли Разно нашим морем, потому что его берега были почти не видны, сливаясь с синевой горизонта, и в ветреную погоду оно катило свои волны белыми пенными гребнями, подобно нашему Балтийскому морю.

Когда мы вплыли в озеро Разно, наше "море" спало. Погода стояла чудная, озеро было как зеркало, отражая редкие кучевые облака; по верхушкам подводного леса Элодей за каждым взма-

хом весел желто-зелеными зигзагами бежали струйки света. По поверхности воды расширяющимися кругами расходились кольца от выпрыгивающей рыбы, испуганной нашим "гиппопотамом".

Мы решили переплыть Разно, чтобы осмотреть там замковую гору Волькенберг, на которой сохранились руины замка рыцарей-крестоносцев.

Пыхтя и обливаясь потом, мы, в конце концов, взяли крепость и устроились на отдых в тени, под арками замковых стен, построенных из крупного булыжника, сцепленного друг с другом серым известковым цементом. Отдохнув, мы занялись тщетными поисками входа в тайный подземный ход, который, по преданию, соединял друг с другом этот замок с замками в городе Режица и в небольшом городе Люцине. Согласно легенде, этим путем навешали друг друга жены магнатов-рыцарей Люция, в чью честь назвали город Люцин, и Розита, в честь которой был назван наш город Розитен, затем превратившийся в Режицу, а при латышах — в Резекне. Люцин же в латышское время был переименован в Лудза.

Зуров интересовался подробностями этой легенды, связанной с рядом замков крестоносцев, которую, вкратце, я и передал ему. Он опять делал заметки в записной книжке.

Осмотрев руины замка крестоносцев, мы отправились в обратный путь. Теперь мы плыли в сторону длинного узкого залива, известного под именем озера Черно или Черное. На полпути вдруг, неожиданно, поднялся сильный ветер, озеро стало свинцово-серым и наш "гиппопотам" стал содрогаться под ударами свирепых седых волн.

Как из ведра полил дождь. За его пеленой исчезли берега озера и наше судно подобно легкому перышку закружилось в водовороте бешено бурлящих волн. Признаюсь, мы, смелые путешественники, изрядно струхнули, в особенности, когда начали греметь раскаты грома и недалеко от нашей лодки молния с треском и шипом ударила в воду, осветив нас синеватым светом и наполнив воздух запахом озона. Гроза так же быстро ушла, как и началась.

Опять наше Разно стало "разным" — голубым, отдающим в лучах наступающего солнечного заката червонным золотом. Леня

сидел на веслах, а я нашим закоптелым котелком вычерпывал воду, во время дождя наполнившую нашу плоскодонную посудину.

Уже в сумерках, усиленно работая веслами, мы проплыли мимо костела на берегу озера Черное и, наконец, въехали в заросший кувшинками Балиновский канал. Проплыв еще полверсты по каналу и версту по нашему озеру Гульбинки, как его называли русские крестьяне (Гульбини — на местном наречии), мы причалили у большого камня. Этот камень, окруженный группой ребятишек-рыболовов, художник Богданов-Бельский увековечил на одной из своих известных картин.

Плотно поужинав густым, как студень, кислым молоком и картошкой с укропом, напившись горячего чаю из тульского самовара, довольные, что мы проложили "великий водный путь" и победили стихию Разненского "моря", мы отправились спать на сеновал.

Зуров остался в Балинове (по крестьянскому наречию — в Малинове) погостить несколько дней, побывать на деревенской гулянке и поговорить с моим дядей, генерал-майором армии Юденича Михаилом Александровичем Афанасьевым (расстрелян в 1940 году во время вторжения Советского Союза в Прибалтику). Зурова интересовала история добровольческого отряда, организованного моим дядей Мишей в 1918 году для борьбы с большевиками. Пока Зуров гостил в Балинове, мы с ним ходили по грибы, лакомились замечательной балиновской земляникой, навестили несколько крестьянских семей, а в дождливые дни я читал ему мои "дождливые стихи".

*В. Кудрявцев*

## ОБРАЗЫ РОССИИ В МИРЕ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ

Марина Цветаева не создала своего большого мифа о России, как Некрасов или Блок. Но кровную связь с Россией всегда ощущала, и было у неё свое русо-видение. Вместе с тем, она была крепко связана и с Западом — более всего с Германией. "Германия, мое безумье..." — писала она во время Первой Мировой войны, а в стихах памяти Райнера Марии Рильке признавалась: всех ангельских родней немецкий. Но Гитлера осудила, ибо "за фюрером фурии". Она любила Францию, но Францией не вдохновлялась. Близок был ей древне-еллинский мир.

Один из образов цветаяевской России — это имперская Россия, и, в меньшей степени — белогвардейская, о чем не принято говорить ни в СССР, ни в кругах многих эмигрантов-диссидентов.

Императорская Россия явлена ею в очерке *Открытие музея* (имени Императора Александра Третьего, как он тогда назывался) в 1912 г. Двадцатилетняя Марина Цветаева всем восхищается, хотя и, не без иронии, вспоминает: нагие статуи древнегреческих богов и героев кажутся куда живее присутствующих на торжествах старцев-сановников. Но её восхищает мраморный барельеф великих князей. Еще прекрасней:

Сонм белых девочек... Раз... два... четыре...  
Сонм белых девочек? Да нет — в эфире  
Сонм белых бабочек? Прелестный сонм  
Великих маленьких княжен.

Проходит Государь: "Бодрым ровным скорым шагом, с добрым радостным выражением больших голубых глаз, вот-вот готовых рассмеяться, и вдруг — взгляд — прямо на меня, в мои. В эти секунды я эти глаза увидела: не просто голубые, а совершенно прозрачные, чистые, льдистые, совершенно детские". И Марина гордилась тем, что "на меня посмотрел Государь".

Никак нельзя назвать Марину Цветаеву монархисткой. Она выросла в культурно-интеллигентской либеральной семье, равнодушной к политике. Её отец — искусствовед, вечный труженик, сын бедного сельского священника. Мать — дочь высокопоставленного чиновника, тоже труженица, помогавшая мужу в работе по собиранию материалов для их общего дела — Музея — слепков классической и ренессансной скульптуры. Вместе с тем, не было у неё, как у всего поколения, подросткового к 1910 г., никаких интеллигентско-революционных антиимперских предрасудков ("старый режим сгнил", "нами правит Николай Кровавый"). И вот, восхищенная видением Российской империи, она так живо, с таким упоением изобразила те торжества.

Еще в большей степени восхищался Российской империей ее сверстник и друг Осип Мандельштам:

Чудовишна, как броненосец в доке,  
Россия отдыхает тяжело.

В следующих стихах поэт берет верхнее *до* восхищения — высокую, высочайшую ноту, превосходящую все голосовые верхи пушкинского *Медного Всадника*:

А над Невой посольства полумира,  
Адмиралтейство, солнце, тишина.

Знаю: самое упоминание об этих имперских стихах Марины Цветаевой и Осипа Мандельштама многих современных ненавистников *любой* России очень раздражит, но из песни слова не выкинешь. К тому же, это не политика, а *эстетика*; и отнюдь не досужих эстетов, снобов, а замечательных русских поэтов, восхищенных и красотой Российской империи, и ее правдой в истории, культуре, искусстве.

Отмечу: ни один из поэтов предыдущего поколения символистов не мог бы восхититься имперской Россией: в этом смысле

все они — Мережковский, Гиппиус, Блок или Белый, да и другие, были еще интеллигентами-радикалами. Между тем, сказать: Цветаева и Мандельштам — интеллигенты — режет слух! Имею здесь в виду определение интеллигенции Г. П. Федотова: для этой части образованного общества характерны идейность и беспочвенность... и, конечно, полный разрыв с правительством, с Империей да и с Церковью.

Все империи строились железом и кровью, привилегированные классы угнетали рабов и низшие классы. Но имущие сословия создавали высокого качества культуру в империях Александра или Августа, Людовиков во Франции или Филиппов в Испании, а также в Российской империи, начиная с середины 18-го века.

Кто знает, может быть Россия никогда уже не даст ничего, равного литературе имперского периода — от времен Державина — через Достоевского, Толстого — до последних пяти больших поэтов — Ахматовой, Пастернака, Мандельштама, Цветаевой и Георгия Иванова. И достигнет ли она морального уровня — русско-дворянского этоса, унаследованного и различной интеллигенцией. Добродетель, выпестованная этим сословием — *благородство*. Я имею в виду понятия и поступки, сообразованные с добром и красотой. Здесь этика сливается с эстетикой. Это греческое *красодобрие* (калокагатия). В средние века эта добродетель была свойственна западным рыцарям — конечно, только лучшим из них. Они прощали побежденных, утешали вдовиц и сирот, раздавали милостыню, наконец, убивали драконов (т. е. боролись со злом). Прекрасный человек творит добро — потому что оно *прекрасно* и борется со злом — потому что оно *уродливо*.... У нас тоже были благородные рыцари — князья XIII-го века: Мстислав Удалой или Даниил Галицкий.

Благородство вымирает, но еще не совсем вымерло. Осип Мандельштам не был героичен по натуре, но мужественно, благородно изобличил Сталина в сатирическом стихотворении. Сталин-дракон был куда сильнее, чем он, и погубил его. Мандельштам также остановил руку чекиста, подписывавшего смертные приговоры в пьяном виде, и это было актом благородства. Цветаева всегда стояла на стороне гонимых, в особенности тех,

кто был среди первых и стал последним, как Царская семья. Марина Ивановна говорила мне: преследуемый всегда прав, — как убиваемый, так и его убийца, убегающий от преследователей; и это тоже благородно.

Через пять лет после открытия Музея, в апреле 1917 г., Цветаева молится:

За Отрока — за Голубя — за Сына...

Грех отцовский не карай на сыне,  
Сохрани крестьянская Россия,  
Царскосельского ягненка — Алексия!

Россия его не сохранила, и за измену заплатила новым рабством — новым крепостным правом.

В том же апреле 1917 г. Марина Цветаева вешала в отрывистых крепких дольниках:

Это просто, как кровь и пот,  
Царь — народу, царю — народ.

Это одно из самых монархических стихотворений, когда-либо написанных в России. Но, опять-таки, из этого не следует, что Цветаева была монархисткой. Стихотворение кончается так:

Царь опять на престол взойдет  
Это свято, как кровь и пот.

Кое-кто усмотрит здесь пророчество — но не будем загадывать вперед. Для меня в этом стихотворении раскрывается органическая правда имперского порядка, столь противоположная жестокому беспорядку гражданской войны и последовавшему затем советскому гнету (насильственному порядку). Нужно же честно признать: такого массового террора, такого геноцида Россия не знала со времени монгольского ига, да и татары были гуманнее большевиков, равно как и Иван Грозный.

Императоры строили дворцы, музеи, театры, школы. Искусство, стиль жизни — и красоты, и добра, создавали господа, баре — но, конечно, лучшие из них. Дворянство не только проливало кровь за Царя. Иногда оно шло против Царя. Так, в XVIII-м веке гвардейцы низвергли трех императоров, двое из них были

убиты. За ними выступили другие гвардейцы — декабристы. Генеральская дочь Софья Перовская стала душой заговора убийц Александра II. Многим из этих крамольников тоже нельзя отказать в благородстве. И Марина Цветаева это помнила. В мае 1917 г. она писала:

— Свобода! — Прекрасная Дама  
Маркизов и русских князей.

Но показала и обратную сторону в том же восьмистишии:

— Свобода! — Гулящая девка  
На шалой солдатской груди!

Отдавая дань восхищения белой России, Цветаева осуждала черную Россию. Монархистам, оскорбившим в Париже лектора-еврея, Цветаева крикнула "хамло!" ("с каждым говорю на его языке"). И здесь Марина Ивановна выказала благородство. Благородным было для нее и поколение отцов-интеллигентов, — "поколение с сиренью".

Благородство — дворянская по историческому происхождению добродетель, но, конечно, украшает не одних дворян.

Восхищало Цветаеву не только старобарское благородство души, но и породы. Уже после революции Марина Ивановна подружилась с А. А. Стаховичем (1856 - 1919). Он прежде был помещик, коннозаводчик, гвардеец, позднее — актер МХАТ'a. Она прославляла:

В черном царстве трудовых мозолей  
Ваши восхитительные руки.

К нему же обращены эти стихи:

Выменивай по нищему Арбату  
Дрянную сельдь за пачку папирос —  
Все равенство нарушит нос горбатый  
Ты — горбонос, а он — курнос.

О нем же она писала: он "бархат и барственность. Без углов. Голосовая и пластическая линии непрерывны...". У него — "веки природно высокомерные". По цветаевским дневниковым записям "*О смерти Стаховича*" можно было бы написать поэму или

роман *"Последний русский дворянин"*.

Восхищал Марину Цветаеву и князь С. М. Волконский (1860 - 1937). Для него она создала лирический миф об Учителе, хотя он ничему ее не научил, а только восхищал рассказами о чтении стихов Тютчевым и многими другими... Ради кн. Волконского, равнодушного к женщинам, Цветаева в стихах, ему посвященных, обратила себя в мальчика, верного Учителю:

Быть мальчиком твоим светлоголовым,  
О, через все века! —  
За пыльным пурпуром твоим брести в суровом  
Плаще ученика.

А. А. Стахович и кн. С. М. Волконский — аристократы. Они служили империи, но и жили в мире искусства. Хотя оба они мало проявили себя творчески, Цветаева любила и прославляла в их лице лучших представителей дворянства, которое дало Державина, Пушкина, Толстого, Мусоргского и многих других.

Отмечу: в том же очерке об открытии Музея Марина Ивановна вспоминает слова отца — профессора И. В. Цветаева: "Думала ли красавица, меценатка, европейская известная умница, воспетая поэтами и прославленная художниками, княгиня Зинаида Волконская, что ее мечту о русском музее скульптуры суждено будет унаследовать сыну бедного сельского священника, который до двенадцати лет и сапогов-то не видел". Здесь вспоминается стих Аполлона Майкова:

Русь скрепляли и собирали  
И ковали броню ей  
Всех чинов и званий люди  
Под рукой ее царей.

[*Броня* здесь — не только военные укрепления, доспехи, но и — музей...].

Муж Марины Ивановны С. Я. Эфрон, белый офицер, воевал в Крыму, и она долго не имела от него известий. В красной Москве Марина Цветаева посвятила ему белогвардейские циклы — *"Лебединый стан"*, *"Перекоп"* и с вызовом читала свои контрреволюционные стихи красноармейцам. Но в то время *такое* сходило с рук.

Нельзя оценивать стихи да и прозу только по содержанию или исключительно по форме (формальный анализ). Увы, у части литературоведов зачастую нет слуха к поэзии и вообще к языку. Поэтому они литературу понимают неважно, в лучшем случае, отказываются от суждений об искусстве, а в худшем — судят, не считаясь с тем, на каком *своем* уровне говорит поэт. Но стихотворец или критик отличают сильные стихи от слабых, что я и делаю, хотя на безошибочность своего суждения не претендую. Я сочувствую белогвардейским стихам Цветаевой, хотя многие из них — неудачные, вялые. Есть поэзия в стихах о великих княжнах-бабочках, в плаче об отроче царевиче Алексее, но отвлеченны, безвоздушны стихотворения о Корнилове, Деникине или Врангеле: не видела она их, не увлеклась темой. Неверно ее толкование: Добровольчество — это добрая воля к смерти. Можно сказать — Белое движение было заранее обречено (хотя и это неверно). Ведь, конечно, была у белых воинов добрая воля к жизни и победе. Иначе они перестали бы сражаться, а, по всем данным, они воевали лучше, чем русская армия при Керенском.

Отмечу: в *белый* цветаевский цикл вкраплены *красные* стихотворения. Это *Перебежчики* — о белогвардейцах, дезертировавших в Красную армию. Они говорят:

Ваша власть, ребята, — барская  
Наша — братская, солдатская.

Это тоже не лучшие стихи Цветаевой — нет в них лирического подъема, но они не хуже белогвардейских, героических. Замечательно: несомненно сочувствуя тогда Добровольчеству, Цветаева понимала и "барскую кость", и "хамское отродье".

Еще больше холода в ее позднейших стихах, посвященных героям СССР — Челюскинцам. Наконец, совсем несносная риторика слышится в *Стихах к Сыну* (1932 г.): "Езжай, мой сын, в свою страну". Ему она сулит:

Призывное СССР, —  
Не менее во тьме небес  
Призывное, чем: S.O.S.

Поистине, силы небесные не позволили Цветаевой написать об этом призыве Родины на высоком уровне — во весь голос.

Ведь на небе-то уже могли знать, что вернувшимся через несколько лет матери и сыну суждена гибель.

Читатель, разве вы не слышите разницу в звуке, слове, ладе между вышеприведенными вымученными стихами Цветаевой и этими:

Надобно смело признаться, Лира!  
Мы тяготеем к великим Мира:  
Мачтам, знаменам, церквам, царям,  
Бардам, героям, орлам и старцам.... (1918 г.)

В искусстве мало что можно доказать, но можно что-то показать читателям, слушателям или зрителям: здесь Марина Цветаева говорит полным голосом, и своим собственным голосом! И прославляет *белый*, а не красный мир.

Антитезис имперской белой России у Цветаевой — не красный СССР, о котором она пролепетала несколько жалких слов в обращении к сыну, но Россия бунтовщиков — Стеньки Разина, Емельки Пугачева — *красная* (пускающая красного петуха!), но не коммунистическая, и скорее всего, — анархическая.

В одном из своих лучших очерков "*Пушкин и Пугачев*" Цветаева верно угадывает: Пушкин, достаточно хорошо осведомленный о зверствах Пугачева (в "*Истории Пугачевского бунта*"), очень по-своему, хотя и не идеализируя, дает образ Емельки — разбойника, не чуждого благородства. Так, глазами Пушкина Цветаева увидела романтического Пугачева и его же глазами увиден ею строитель новой империи — классический Петр. Пушкин для Цветаевой:

Последний — посмертный, бессмертный  
Подарок России — Петра.

Еще одна параллель к Осипу Мандельштаму. Если Цветаева величала Петра за "подаренного" им Пушкина, то Мандельштам прославлял его за кораблестроительство, за открытие всемирных морей, за его хищный глазомер простого столяра. У каждого из них был свой миф о Петре, Петромиф, и об этом можно было бы поговорить подробнее (хотя бы уже потому, что

о Петре Великом они говорили полным голосом...).

Какая еще Россия у Цветаевой? Народная — и самая яркая — в поэме-сказке *Царь-Девуца*. Поражает богатство языка — встречаются там и славянизмы ("рече"), иностранщина ("мундиры-командиры"), вульгаризмы ("прынци"), народно-песенные выражения ("песнь прежалостную тут мы споем"), сокращения как бы в лад быстрой гармошке ("д'как сорвется, д'как взовьется"). Это отчасти солдатский фольклор с добавкой переводного лубка (повести о Бове-королевиче). Повесть может быть приурочена к нашему XVIII веку (как и другая, державинская "Царь-Девуца"). В этой поэме-сказке есть трагическая эротика, не связанная с национальностью. Царица-мачеха напоминает древнегреческую Федру, но у Царевича нет мужественности эллина Ипполита. А Царь-Девуца — не "веселая царица Елисавет", как у Державина, а сама Марина Цветаева. Обе — страстные жены (не жёны!) борются за Царевича, и обе — погибают. Этот трагический треугольник — не русский, и не греческий, а чисто цветаевский, воплощенный в духе русского народного лубка.

Жанровая и языковая фольклорность присутствует и в других поэмах и стихотворениях Цветаевой: в цикле, посвященном Стеньке Разину, в недописанном "*Егорушке*", в "*Переулочках*" или в "*Молодце*". По-моему, все эти "вещи" Цветаевой не удалось, в особенности же "*Молодец*". Я писал об этом Марине Ивановне, и она моим непониманием возмущалась. Но и теперь я усматриваю в этих ее стихах покушение с негодными средствами: это набор народных песенных слов, никак не связанный с тематикой, и без оживляющего драматизма "*Царь-Девуцы*". Цветаева права:

Не меньше, чем пол-России  
Покрыто рукою сей...

Ведь она писала и о Сибири, где не побывала, но, повторяю, Россия не стала для нее живым существом, как для Некрасова или Блока. Или — в прозе Гоголя и Достоевского. Так, даже в самых русских ее стихах все очень "русское" (народное) было чем-то вторичным по сравнению с главными темами *любви, ревности, разлуки, вечности*.

Из всех образов России ей особенно близка была Россия

имперская и дворянская, хотя любила она и сказочно-народную и песенную Россию — Русь. При этом, первая в ее поэзии конкретнее, живее, потому что она ее лучше знала, чем вторую, с которой она знакомилась по книгам (по сказкам Афанасьева, по сборникам народных песен).

Красную Россию она себе навязывала в *"Стихах к сыну"*, но — без успеха. Остаются в силе её стихи 1920 года:

Не ринусь в красный хоровод  
Вкруг древа майского.  
Превыше всех земных ворот  
Врата мне — райские.

*Юрий Иваск*

# СЕРГЕЙ ГОЛЛЕРБАХ: ПРИБОЩЕНИЕ К ЖИЗНИ

## 1.

Когда зрелый художник открывает в своих произведениях несовершенство женского тела, то более или менее психолог может с уверенностью сказать, что у художника — либо огромное неудовлетворённое чувство, либо — личные неприятности, либо — то и другое... Но когда художник *видит* всё несовершенство женского тела и в то же время не может не делать его прекрасным (как совершенный природный инструмент)... тогда... тогда психологический анализ характера художника не имеет никакого значения, потому что как человек он интересен лишь своим родственникам и знакомым; в то же время попытка анализа его произведений становится, если хотите, — навязчивой самоцелью, просто потому что создание прекрасного при внешней непрезентабельности объектов изображения представляет собой жгучую и манящую тайну.

Но говоря о творчестве Сергея Голлербаха, речь идёт не только о том, как он изображает женщин... Эстет может сказать: слабость Голлербаха в том, что он не замечает красивых людей.

Это — правда.

Однако сила и таинство Голлербаха в том, что он сделал антиэстетичный мир — прекрасным.

В самом деле, возьмём "голлербаховские" женские тела: тонкие, маслястые, или, наоборот, — толстые ноги, дряблые мышцы (даже у молодых), висячие бескровные груди, треугольные, как у гусынь, животы, широкие плоские зады, небрежные

причёски (или — отсутствие таковых, космы) — всё это может вызвать в памяти неаппетитные запахи пота, кухни, несвежего белья, месячных периодов и случайные, кое-как сложившиеся жизни.

И несмотря на эту кажущуюся антиэстетичность, женщины Голлербаха — прекрасны... Почему? Трудно на это ответить... Может, потому что все эти тела несут, либо — несли — начала новых неведомых нам жизней?

Или изобразительное искусство, — как каждый вид искусства, — вызывает у нас подсознательное чувство восхищения тем, что другой человек делает *мастерски*, то, что мы, зрители, делать не можем?.. Другими словами, не коренится ли признание искусства в искусстве самом, его часто необъяснимых и неуловимых качествах, или — признание искусства коренится в нашей собственной неудовлетворённости?.. Наконец, не есть ли искусство в целом и изобразительное искусство в частности тем инструментом, который сознательно, но чаще всего *бессознательно* вызывает у нас восхищённость, либо, наоборот, — глубокую разочарованность миром?

Очень часто мы отказываем в признании называться искусством тому, что просто не трогает, оставляет нас равнодушными... Сам голлербаховский мир часто оставляет нас равнодушными потому, что мы сами — *часть* этого повседневного мира, но *способ отражения* этого мира С. Голлербахом заставляет нас пристальнее в него всматриваться, делает наше зрение более острым, обоняние — более чутким и настрой души — более человеческим и толерантным.

## 2.

Художником становится не тот, кто, исходя из простого эгоцентризма, отталкивается от похожести на других, а лишь тот, кто, изучив, впитав эту "похожесть", сумел её расширить. С этой точки зрения неважно в каком направлении идёт расширение этого опыта: в плане психологическом или — чисто техническом. Парадоксально, но расширение психологического опыта легче заметно и проще воспринимается (органами чувств других), чем — опыт в чисто техническом плане: техническая

сторона любого вида искусства представляет наиболее трудоёмкую, головоломную и трудно постигаемую часть профессии (именно здесь — камень преткновения слабых духом и бесталанных). Психологические особенности портретов Рембрандта хорошо изучены (известны), но сколько раз он делал лессировки тех или иных деталей лиц — остаётся загадкой, и навсегда останется ею.

Более чем тридцатилетний путь в искусстве Сергея Голлербаха даёт основание сделать вывод, что он далеко не сразу обрёл "своё лицо". Если "психологически" он определился как-то сразу (жизнь последнего, нижнего слоя среднего класса и — людей дна города-голиафа), то в техническом отношении его путь был довольно долог и извилист: скажем, для рисунков двадцатипятилетней давности характерна довольно точная, но — рваная линия: края то утоншающейся, то утолщающейся линии имеют неровный, рваный характер, — как и нередко вялые мышцы рук, ног, живота моделей. Колорит его гуашей — холодноватый, несколько отчуждённый, преобладают сероватые, голубоватые, пепельные, серебристые тона.

Примерно в 1967 г. он в рисунках от неровной линии переходит к линии ровной и *тонкой*, а тени и фактуру передаёт неровной штриховкой — довольно небрежной (как подчас и небрежны тела его моделей). Но именно в это время С. Голлербах начинает менять и свою палитру: в серовато-голубоватых гуашах вдруг — довольно неожиданно для зрителя, но, по-видимому, не для самого художника, — стали появляться красные, кирпичные, охристые акценты... Акцентировка с использованием контрастирующих тонов — довольно рискованное предприятие в живописи. Голлербах смог несколько снизить этот риск за счёт умеренности, но тем не менее ему не удалось, на мой взгляд, избежать некоторого шокирования зрителя, шокирования преднамеренного, а потому несколько отталкивающего.

Примерно в 70-м году наметился любопытный перелом в творчестве С. Голлербаха: рисунок его стал проще, а гуаши... — как бы это выразиться поточнее — жизненнее. Он отбросил "интеллектуальное мудрствование". (Скажем, запечатлевая игру матери и ребёнка, шуточную борьбу, художник фиксировал отдельные положения рук, ног, головы и получалась живопис-

ная смесь руко-ного-голов... Модернистский, но не новый приём манипулирования с очень зримыми и осязаемыми объектами, знакомыми каждому, — эксперимент очень редко способный пробудить цельность впечатления.)

Даже при поверхностном взгляде на историю современного изобразительного искусства бросается в глаза одна странная закономерность: большинство художников-модернистов, пройдя период экспериментаторства (иногда — довольно успешного), возвратились к изображению видимого и осязаемого мира, — природы, вещей, людей, — в самом традиционном, рационалистическом, реалистическом духе.

Нечто подобное произошло и с С. Голлербахом... У живописи есть собственные границы, у красок есть собственные пределы. Казалось бы, что границы можно раздвигать, экспериментируя с формой. Но тут уже испробовано всё: белое полотно с чёрным кругом Малевича, или — приклеенный на стену грязный ботинок безымянного поп-артиста... куда ещё *дальше* можно двигаться в отношении формы?

Но есть другой способ, более трудный и более утончённый, раздвижения границ живописи: выбор *объекта* письма, разработка композиционной характеристики, создание индивидуального колорита. Последнее, кстати, — самое трудное.

Значительно проще добиться необычности в отображении мира, чем — индивидуальной простоты. Простота — труднее, чем необычность. Но необычная простота, которая и является индивидуальностью творческого лица художника — в наше время просто редкость. (Всё уже было испробовано и испытано). Раздвижение границ живописи, возможно, как раз и лежит в создании художественной индивидуальности.

Живопись, выражаясь несколько упрощённо, можно уподобить многоугольнику, число сторон которого медленно растёт. Глядя сегодня из XX-го столетия назад, скажем в XV столетие, можно сказать, что живопись была подобна стоугольнику: сто имён, сто индивидуальностей... Остальная тысячная армия художников-ремесленников толпилась за пределами стоугольника, потому что либо следовала за тем или иным мастером, либо — не поднималась до уровня искусства вообще. Подобный процесс продолжается и сегодня. С той лишь раз-

ницей, что сегодня живопись — это тысячеугольник: выросло число мастеров невероятно, всё уже было кем-то испробовано и проверено. Всё... Добавить тысяча первый угол или тысяча первую сторону — задача трудности неимоверной, огромного и многодесятилетнего напряжения.

Как раз когда С. Голлербах примерно в 70-м году махнул на экспериментирование и моды, и вернулся назад — к улице, запахам, людям, какими он их видел и ощущал, к простоте, — именно тогда он добавил тысяча первую сторону в огромный и живой тысячеугольник.

### 3.

”Душа обретает форму и становится человеческим телом”, писал когда-то Эдмон Спенсер. ”Обнажённое человеческое тело является наиболее совершенным воплощением материи в форме”, — вторит ему много лет спустя Кеннет Кларк.

Глядя на голлербаховские картины, в первый момент возникает сомнение: либо что-то произошло с человеческой душой, либо — с формой...

Да ничего не произошло!

Художник просто не ищет идеала в классическом понимании этого слова. Разница между *настоящим* искусством и *коммерческим* в наше время состоит в том, что последнее работает (подделывается) под вкус потребителя. Парадоксально, что в данном случае коммерческое искусство изнывает в преследовании ”идеала”, каким его представляет средний массовый покупатель: если на картине изображён человек, то фигура у него должна быть пропорциональная, лицо — с правильными чертами, красивым; если речь идёт об абстрактной композиции, то хочде идут вещи, где цвета — сбалансированы, и т. д.

Серьёзное искусство имеет мало общего с рынком просто потому, что идеал художника имеет мало общего с представлением об идеале среднего обывателя. Иногда, — как в случае с С. Голлербахом, — художник просто отрицает его. Голлербаховское творчество — это отрицание стереотипного идеала, или, более точно, — *раздвижение понятия идеала*.

Сергей Голлербах далёк от того, чтобы идеализировать свой "расширенный идеал". (Некоторые критики даже усматривали в его творчестве сильный элемент гротеска, с чем трудно согласиться: гротеск в изобразительном искусстве, когда его объектом являются люди самых нижних социальных ступенек — очень сомнительный жанр для серьёзного художника, если не иметь в виду иллюстраторов газет и журналов.)\* Голлербах правдив в изображении своего "идеала". Не его вина, что его "идеал" живёт в условиях, где правда — гротескна, а гротеск — правдив.

Раздвижение понятия идеала, кроме эстетической стороны, имеет ещё одну — философскую: желание, по словам самого художника, "приобщиться" к жизни других, незнакомых людей. Об этой очень важной для меня, зрителя, стороне, он, говоря об искусстве рисунка, сам пишет так:\*\*

"... есть художники, для которых рисование, в особенности — наброски с натуры — своего рода страсть. Без блокнота и карандаша они никогда не ходят и при первой возможности, будь то ресторан, вокзал, парк или пляж, стараются ухватить на бумаге движение и характер неподвижных или движущихся своих моделей. Такая страсть к наброскам не является каким-то особенным достоинством и часто эскизы не имеют прямой цели, хотя художник, конечно, тренирует на них глаз и руку. Но главной движущей силой является тут какое-то особое желание приобщиться к жизням незнакомых художнику людей. Улавливая линию лба и носа, посадку головы, манеру сидеть или стоять, художник "что-то" узнаёт о них. И это "что-то" образует некую связь с окружающим его миром, связь как физическую (ибо рисование есть физическое действие), так и душевно-интим-

---

\*Преувеличенный элемент гротескности нашёл великолепное отражение в дружеской эпиграмме известного поэта русского Зарубежья Ивана Елагина: "Угловатые уроды / Голлербаховской породы / Наклоняются со стен. / В них — чувствительность антенн. / Эти задницы и шеи / Попадут ещё в музеи / И ещё столетий пять / Будут публику страшать". (Публикуется впервые с любезного разрешения поэта). — Ю. З.

\*\*Нижепубликуемый отрывок тематически примыкает к книге С. Голлербаха "Заметки художника", Лондон, 1983. С разрешения художника этот отрывок (с незначительными сокращениями) публикуется впервые. — Ю. З.

ную, поскольку художник, рисуя, "читает" лица и тела своих моделей...

Что такое умение рисовать? Рисовать, мне кажется, умеет тот, кто может схватывать тончайшие соотношения линий и углов, воспринимает энергию жеста, кто может подчеркнуть характерную деталь, не разрушив целого... Некоторые опытные портретисты, не ошибаясь ни в одной детали, часто не способны передать какую-то особую жизнь лица. Что-то ускользает от них. А это "что-то" и есть тайна живого рисунка, будь то характерный жанровый набросок, очертание обнажённой фигуры или чисто абстрактные формообразования. Из громадного числа художников всех времён и народов лишь немногие были истинными рисовальщиками — Рембрандт, Домье, Тулуз-Лотрек, Дега, Эгон Шиле, Генри Мур. Их искусство рисунка пленяет и чарует всех, у кого есть потребность к этому приобщению жизни посредством карандаша или пера".

Сказанное можно отнести не только к искусству рисунка, но и к живописи С. Голлербаха. Личная "приобщённость" художника к жизни других, незнакомых людей — какой бы искренней она ни была! — имеет очень небольшое значение. Однако если художник умеет "приобщить" к своему миру зрителей — это имеет значение решающее, и С. Голлербаху особенно в работах последнего десятилетия удаётся это.

Вот почему его очень относительный с чисто эстетической точки "идеал" становится объектом внимания и понимания у зрителя.

#### 4.

Две критических особенности характерны для творчества русского нью-йоркца Сергея Голлербаха. Он — художник интимности момента и — мастер детали. Под интимностью момента надо понимать момент, не предназначенный для постороннего любопытного глаза, момент лишь для самого себя... Голлербах умеет передавать эту интимность так, что у зрителя нет неловкого чувства, что художник подсматривает. Он просто *видит*.

У Голлербаха — пристальное любопытство к движению

формы, к движению в часто неожиданный и очень интимный момент, когда лишь одно оно выражает сущность происходящего.

Большая гуашь. Двое загорающих на крыше. Она — сидит на старом коричневом одеяле. Он, стоя, согнувшись пополам, целует её. Всё его тело — широко расставленные ноги, напряжённые мышцы (до этого — вялые), даже сутулая спина, — выражает одно: желание, желание сейчас, в данную минуту...

Другая картина: дешёвое кафе и молодая женщина сидит за стойкой. Её можно назвать привлекательной, возможно, даже — красивой: тонкие черты лица, большие, чуть навывкате миндалевидные глаза, чувственные губы, тонкие изящные пальцы... Но в данный момент ей только что принесли чашку чёрного кофе, и она готовится сделать первый глоток. Кофе — очень горячий (заметили ли вы, что в дешёвых забегаловках всегда подают очень горячий кофе: наливают-то из большого кипятильника). И в этот *голлербаховский* момент, момент приготовления к первому глотку, молодая женщина — очень некрасива: её взгляд устремлён вниз, в чашку, её губы вытянуты в трубочку, тонкий нос даже заострился и стал утиным — всё от желания наконец-то хлебнуть кофе и от страха обжечься и испортить себе настроение в этот и без того холодный зимний день...

Кто из нас не наблюдал, как противоречивые чувства могут до неузнаваемости изменить или обезобразить даже привлекательные лица.

Другая сцена. Изображён общественный мужской туалет, грязный, обшарпанный. На переднем плане справа, повернувшись к зрителю спиной, — негр в куртке неопределённого цвета и зелёных штанах. (Именно штанах, а не брюках). Он ждёт своей очереди, потому что все кабины в этот *голлербаховский* момент заняты.

Но как он ждёт!

Его тело — чуть наклонено вперёд, колени — сдвинуты (поэтому ноги стали "иксом"), левой рукой он придерживает низ живота. Человек в зелёных штанах страдает, ему самому неловко и больно, что ему так приспичило... Трагикомедию момента словно подчёркивает монументально возвышающаяся над перегородкой голова белого, с сосредоточенным и упёртым в

стенку взглядом.

Если бы художник бросился в разработку *деталей* других, помимо движения формы, то он, по-видимому, не ушёл бы дальше тривиального рассказа весьма сомнительного вкуса. Но его сверхлаконичность в деталях и колорите делает небольшую гуашь экспрессивным и интимным произведением, где суть эксперимента — это движение формы.

Именно интимностью момента С. Голлербах отличается от других и продолжает традицию очень немногих: Рембрандта (который в эпоху сравнительно пуританскую дерзал изображать даже сцену физической любви), игривого Франсуа Буше, утончённо поэтического в своей откровенности Дега и — откровенно эротических Бердслея и Пикассо.

## 5.

Объектами картин и рисунков Сергея Голлербаха являются самые обычные люди улицы города-голиафа, но нередко — люди дна: бродяги, пьяницы, проститутки, наркоманы, сутенёры, уличные музыканты, одинокие старики и старухи, нищие и — просто странные типы.

Последние, которых друг художника, известный поэт Иван Елагин метко окрестил "угловатые уроды голлербаховской породы", вовсе не страдают отсутствием *внешних* деталей, как раз наоборот, — у них избыток наружных особенностей. Искусство художника, — в отличие, скажем, от этнографа-иллюстратора, — начинается и заканчивается отбором деталей. Микроскопическая зоркость С. Голлербаха является его органической чертой, и, странное дело, — не унижает ни зрителя, ни объекты его мимолётных эскизов или законченных картин; его зоркость является ценностью сама по себе, которая, найдя адекватную обобщённую по характеру форму и индивидуальный колорит, вылилась в нечто единственное, что называется художественной индивидуальностью.

Вот пример "микроскопичности" его зрения. Рисунок. Пожилая женщина одиноко сидит на садовой скамейке, отдыхает. Она — в лёгком пальто. Её расслабленное тело словно обтекает форму спинки и сиденья. На ногах — туфли на сравни-

тельно высоком каблуке, и ноги — вытянуты, служат продолжением линии откинувшегося, отдыхающего тела... протянуты и поставлены параллельно так, что ЛЕВАЯ нога касается земли лишь задним кончиком каблука. Но в правой руке у женщины — клюшка, и эта клюшка подсунута под ПРАВУЮ ногу так, чтобы нога была ещё прямее, ещё выше, поэтому она висит в воздухе, не касаясь земли...

Не надо быть врачом или глубоким психологом: не особенно эстетичная поза женщины говорит, что она устала от ходьбы, у неё, возможно — артрит, и правое колено — болит у неё сильнее.

Маленькая деталь?

Разве наша жизнь не цепь маленьких деталей?..

Сергей Голлербах — один из немногих, насколько мне известно, кто обратил внимание на детали подобного рода, несмотря на их явную антиэстетичность.

Одна характерная деталь голлербаховских работ: очень часто женщины на его картинах одеты так, чтобы выразить себя физически: либо мини-юбки, либо брюки и блузки — в обтяжку. Физические формы, а вместе с ними и характер, привычки, слабости просто выпирают из этих недорогих одежд — инвентаря Вулвортов, Кеймартов и Кресгесов. Голлербах умеет одевать свои модели так, словно бы раздевая их. Он очень точен: глядя на его картины, можно с уверенностью сказать, какие *цвета* считались *модными* массовым покупателем... лет эдак пять тому назад.

Другая характерная голлербаховская деталь: женщина сидит, чуть расставив ноги... Некрасиво сидит, но со смыслом: большому, треугольному, как у гусыни, животу так удобнее... когда чуть расставлены ноги. Юбка или платье — чуть выше некрасивых, деформированных колен. И тень от этой юбки или платья на чуть отставленной ляжке — треугольная, с вершиной, опущенной вниз: намёк на женскую наготу.

Парадоксально, но внимание к внешне незстетичной детали лишь усиливает эстетические акценты рисунков и картин художника. Так, например, у *всех* моделей С. Голлербаха пальцы рук и ног — *длинные* (сомневаюсь, чтобы так было в действительности). *Всегда* длинные пальцы — невнимательность к этой

детали; но невнимательность эта — подсознательное выражение любви к прекрасному, потому что ничто не может быть безобразнее, чем короткие, словно обрубленные пальцы.

У С. Голлербаха нет деталей, которые не заслуживали бы внимания; но из всех центров деталей он безошибочно отбирает те несколько граммов, которые характерны для его моделей в данную минуту и в данной ситуации, детали, которые создают *характер* — физический, психологический, интеллектуальный и даже, возможно, — моральный. Он способен линией выразить движение и меру энергии, цветом — вызвать состояние интеллектуальной напряженности, усталости, равнодушия, или созерцательности... Единственное, чего мне ни разу не удалось обнаружить у художника, — несмотря даже на своего рода спортивный азарт желания найти, — это состояние *превосходства* над изображаемым или то, что американцы называют словом "detachment" (обособленность, отрешённость, взгляд со стороны). Художник видит свой мир изображаемого изнутри, он — не самовольный пришелец и не приглашенный по чьей-то прихоти, он — органическая часть своего же мира.

Его интимная близость к жизни шокирует многих, потому что не так просто уловить скрытую поэзию в голлербаховских вещах, скрытую мелодию, построенную на внешних диссонансах города-голиафа. Достаточно внимательнее взглянуть в красочные, тёплые и полные внутреннего динамизма гуаши или более поздние работы, выполненные акриловыми красками, как до вас донесётся побряхтывание, бормотание, похрустывание, поохивание, всхлипывание, посмаркивание, похрапывание, посапывание, почавкивание, пришепётывание, постанывание — целый оркестр сдерживаемых, приглушенных интимных звуков, которые стараются не слышать и не замечать из-за их незстетичности, но которые окружают нас повседневно. Голлербах вытащил всё это на свет Божий, но сделал он это незаметно, с тактом: внутренняя деликатность и дисциплина — характернейшая черта всех его работ.

Всех художников приблизительно можно разделить на две группы: тех, кто стремится видеть лишь прекрасное в прекрасном, и — тех, кто видит прекрасное во внешне безобразном.

Вторая группа — малочисленна, это — открыватели, круг их

почитателей сегодня сравнительно мал, и наиболее распространённый тип поклонника, это — просвещённый либерал. И здесь, в нашем случае скрыт один парадокс...

Картины Сергея Голлербаха — это интеллектуальный вызов посредственности, но обращённый не к самой посредственности, а к тем, кто больше других потрудился, чтобы посредственность сделать массовым явлением, т. е. — к нашей либеральной интеллигенции.

Неудивительно поэтому, что "appeal" голлербаховских вещей на сегодня — сравнительно небольшой и до сих пор обходится стороной как большой прессой, так и индустрией Мэдисон-авеню... Голлербах до сих пор — в положении "in limbo": он — вроде не революционер, но в то же время — и не ретроград; он — фигуралист, но в то же время он и не простой и понятный реалист; он — философ, но в то же время у него нет абстрактной зауми, которая так привлекательна для многих денежных снобов; он не отрицает жизнь, но и не поэтизирует её, он просто обеими ногами крепко стоит в жизни: оглянитесь вокруг себя и вы обнаружите, что окружены голлербаховскими уродцами.

Всё творчество Сергея Голлербаха подтверждает мысль, что *не прекрасного мира* — не существует... Мир, как творение Всевышнего, прекрасен даже во внешне отталкивающих формах и проявлениях.

И нет более трудной и гуманной работы, чем дать это почувствовать в работах карандаша, кисти или резца в наше сумасшедшее и взрывоопасное время.

*Юрий Зорин*

# ПЕРЕПИСКА И. А. БУНИНА С М. А. АЛДАНОВЫМ\*

ПУБЛИКАЦИЯ А. ЗВЕЕРСА

2.1.46

Получил Ваше письмо от 26 дек[абря], дорогой Марк Александрович. Здоровье мое все еще плохо, главное — по целым ночам не сплю от кашля, все же изредка и недалеко выхожу и завтра пойду к Полонск[им] насчет "Речн[ого] тр[актира]", поговорить о том, что Вы пишете<sup>1</sup>. *He на все* отвечал Вам немедля, повторяю, по крайней слабости и отравленности лекарствами; но в последнем письме, длинном, кажется, написал все, что нужно. Писал, что получил 30 т. через Расина, не зная, однако, до сих пор, что это такое; больше пока ничего не было; во всяком случае, истинно от всей души благодарен М[арии] С[амойловне] и всем Вам, милые, дорогие друзья, за все Ваши заботы обо мне! Добужинскому давно написал. Ужасно тронут Вашей похвалой "Речн[ому] Трактиру" — и рад ей, ибо все еще, повторяю, "сочиненьца мои занимают меня", как сказал когда-то Петрарка. (А на Волге я был всего один раз в жизни — Плыл(?) от Саратова до Ярославля и "речных трактиров" никогда не видал. Верно, они там никогда и не назывались так, — скорее, "Поплавок". Но это слово противное.). "Р[ечной] т[рактир]" нравится даже моим "нынешним политическим недругам"? Кто же это, дорогой мой? Искренне говорю — не понимаю. Софья Юльевна и ее новые друзья? Иных не вижу. Ужели Марк Вен[иаминович], который будто бы сказал про меня (весьма обидно и безмерно несправедливо), будто я не знаю, "что начать — ложиться спать или вставать?". Роман Триоле не читал — думал, что это плохо (как то, что читал прошлой зимой "Alexis Slavsky"), хоть и "Земляничка" и "Таити" мне когда-то

---

\*См. "Н. Ж.", кн. 150.

весьма понравились; а что она умна и очень, очень показалась мне мила всячески при нашем знакомстве с ней (когда я месяца два тому назад ездил к ней за письмом Телешева, которое она привезла мне из Москвы) я Вам об этом, кажется, уже писал. Книгу ее высылаю Вам завтра-послезавтра — как только найду. Борису Конст[антиновичу Зайцеву] скажу тоже не нынче-завтра, что Вы ему скоро напишете. Вижу его послед[нее] время редко — то он был болен, то я. В. Н. тоже все кашляет, боюсь за нее ужасно — вот-вот жестоко простудится!

Вместе с ней обнимаю Вас обоих.

Ваш Ив. Бунин

P. S.: Найти в Париже конверт — большая редкость!

---

1. 26 декабря Алданов написал Бунину: "... Рассказ выйдет дней через десять. Мы напечатали 1000 экземпляров, так как разница в стоимости между 1000 и 500 невелика. Из них нам нужно около двухсот для подписчиков и нужно оставить экземпляров двести для продажи, — больше на всякий случай, так как, по общему правилу, магазины здесь продают мало книг (у "Нового Журнала" подписчиков раз в десять больше, чем покупателей). Что до остальных 600 экземпляров, то не отправить ли их во Францию? Я совершенно не знаю, есть ли теперь покупатели в Париже для такой книги? В ней один печатный лист, бумага выбрана и украшения сделаны Добужинским, издание красивое. По какой цене оно могло бы продаваться у Вас? Посоветуйтесь с Яковом Борисовичем [Полонским], как поступить. Если Вам не лень подписаться несколько сот раз, то, быть может, книга с автографом и во Франции кое-что Вам дала бы в дополнение к нашим деньгам? . Будем ждать Ваших указаний".

[Алданов Бунину]

5 января 1946

... Я Вам давно писал... писал, что моя любовь к Вам не может уменьшиться ни от чего. Если Вы вернетесь, Вас, думаю, заставят писать что полагается, — заранее "отпускаю" Вам этот грех. Добавлю к этому, что я, чем старше становлюсь, тем становлюсь равнодушнее и терпимее к политике. Не говорите, что в Вашем случае *никакой* политики нет. Это не так: визит какой бы он ни был и какова бы ни была цель, помимо Вашей воли становится действием политическим. Я солгал бы Вам ... если бы я сказал, что Ваш визит здесь не вызвал раздражения... Мое личное мнение? Если Вы действительно решили уехать в Россию, то Вы были правы... В противном же случае, я не понимаю,

зачем Вы поехали к послу? ... Ради Бога, решите *для себя* окончательно: возвращаетесь ли Вы или нет? По-моему, все дальнейшие Ваши действия должны зависеть от этого решения!... Ваш рассказ "Месть" получен и уже набран. Он превосходен, и редакция (т. е. Карпович) чрезвычайно Вам благодарна. Мы уже начинали обижаться, а я даже думал, что Вы не читаете моих писем: я ведь об этом несколько раз писал, а Вы не отвечали, пришлете ли что-либо еще. Раз навсегда от имени Карповича прошу Вас присылать нам все что у Вас есть. 12-ая книга начала набираться еще до выхода 11-ой, беллетристика уже вся набрана и скоро будет печататься. Поэтому в 12-ую книгу, кроме "Мести", уже ничто Ваше попасть не может. Эта книга выйдет в конце марта, а 13-ая в июне. Неужели Зелюк выпустит Ваш том раньше? Вы отдали ему *все?*...

---

1. См. *Н. Ж.*, 81 (1965), 122, 123.

23 янв[аря] 46 г.

Дорогой Марк Александрович, письмо Ваше от 5 янв[аря] давно получил, но отвечать не мог: лежал (недели 3) в большом жару, начиналось воспаление легких, которое прервали каким-то новым лекарством, от которого (лекарства) я чуть не орал и день и ночь от резей в животе; сейчас уже сижу понемногу в постели, но слаб бесконечно, от бронхита и кашля все еще мучусь ужасно.

Как уже давно писал Вам, получил 30 страниц рукописи с месяц тому назад, а назад тому дней десять — еще 130. Неужели уже все? Вы писали, что будет больше. Все еще не теряю надежды на это.

Визиту моему придано до смешного большое значение: был приглашен, отказаться *не мог*, поехал, никаких целей не преследуя, вернулся через час домой — и все... *Ехать "домой" не собирался и не собираюсь.*

Открытка мне от Телешова из Москвы: "Государств[енное] Издательство печатает твою книгу избранных произв[едений]. Листов в 25".

Это такой ужас, которому имени нет! Ведь я еще жив! Но вот, без спросу, не советуясь со мной, — выбирая *по своему* вкусу, беря старые тексты... Дикий разбой! (Открытка от 10

ноября — теперь уже поздно вопиять). Целую Вас и руку Т. М.  
Ваш Ив. Б.

Шлю заказн[ой] банд[еролью] книгу Триоле. В продаже этой книги уже нет почти.

Суб[бота] 25 янв[аря] 46 г.

Дорогой Марк Александрович, на днях, вообще вот-вот, будет, как все говорят и пишут в газетах, какая-то катастрофа с франком. Поэтому, если остаток моих долларов еще не послан, не посылайте, пожалуйста, поберегите у себя.

Я все еще очень плох, в постели, почти круглые сутки в забытьи. Целую Вас и Т. М., благодарю за новую посылку — получена на днях, Ваш Ив. Бунин.

P. S. Нынче получено через Грасс письмо мне от Александры Львовны [Толстой], отправленное в апреле 1941-го года!

4.2.46

Дорогой Марк Александрович, д-р Болотов (бывший муж Шурочки) написал некоторую фантастическую повесть, не лишённую известного интереса, послал ее в "Новый Журнал" и просит меня замолвить перед Вами словечко за нее — несмотря на мое упорное заявление ему, что Вы никакого участия в редактировании журнала не принимаете — и вот пишу Вам об этом (не выдавайте меня, как именно пишу)!.

За последние недели 2 писал Вам 2 раза, извещал, что получил за последние полтора месяца 160 тысяч, и просил не *присылать пока* остаток денег (каковой, повидимому, имеется).

Поправляюсь чрезвычайн[о] медленно, все еще в постели, только изредка, изредка добираюсь на несколько минут до письменного стола (с головокружением).

Была посылка от Вас недавно — спасибо, спасибо, дорогой. Обнимаю Вас, целую руку Т. М.. Оч[ень] кланяется В. Н.

Ваш Ив. Б.

P. S. Только что пришла XI кн[ига] "Нов. Ж.". Очень хороша Ваша Катя<sup>2</sup>.

1. Эта повесть не появлялась в "Новом Журнале".

2. Героиня романа Алданова "Истоки".

[Алданов Бунину]

7 февраля 1946

... Сочувствую в огорчении по поводу того, что советское издательство поступает так бесцеремонно. Но все-таки я чрезвычайно рад, что Вас там выпустят в огромном числе экземпляров... Получили ли Вы 11-ую книгу "Нового Журнала"?.. А цирк я писал с бродячего американского цирка, к которому два с лишним года тому назад пристал... Говорю это потому, что Вы терпеть не можете "выдумщиков"... Кстати, не сохранилась ли у Вас копия нашего с Вами сценария (из жизни Толстого, по "Казакам")? Моя была увезена гестапо со всей моей библиотекой, рукописями, тетрадами, письмами... Хотя шансов очень мало и связей у меня в Холливуде нет, но можно было бы попытаться счастье?! Получим каждый по миллиону долларов и купим по замку?...

---

1. См. *Н. Ж.*, 81 (1965), 124, 137.

11.2.46

Дорогой Марк Александрович, давно нет от Вас ни словечка, — последнее Ваше письмо было от 5 янв[аря], — а я за последний месяц послал Вам три записочки, несмотря на то, что, как писал Вам, совсем околевал, лежал в постели в жару и в страшных страданиях в животе от какого-то нового жесточайшего лекарства, прервавшего воспаление в моем левом легком. Неужели не дошли мои записки? Или Вы решили порвать со мной переписку по причине моего "визита"?

Во всяком случае мне нужно повторить то, что я Вам писал, и иметь от Вас хоть 2 словечка в ответ: я писал, что получил (в декабре и в начале января) 160 страниц рукописи и что остальное прошу пока не посылать, держать у себя. Если ответите, будьте добры сообщить, сколько именно осталось. А если остаетесь со мной в прежней дружбе, сделайте одолжение послать записочку в P.E.N. Club — 16 East 96th Street, New York 28, N.Y. — сказать, что я получил от них извещение, что они посылают мне посылки, и что я горячо благодарю их заранее (посылки еще не получил) и что адрес мой они написали верно. (Я удивлен этим письмом — откуда они узнали мой адрес). Были посылки

(2) и от Вас.

Повторяю сердечную благодарность — и просьбу: не шлите больше, у нас теперь всего много. Обнимаю Вас и Т. М.

Ваш Ив. Бунин

Я еще очень плох.

14.2.46

Дорогой друг, получил Ваше письмо от 7 февр[аля]. Рад и благодарю, что предупредили Марью Самойловну<sup>1</sup> (как она? Как переносит свое горе? Ох, как режет мне душу эта смерть! Передайте ей наши горячие чувства — и благодарность за посылки и чтобы написала нам). Что хотите заплатить мне за Триоле — оч[ень] обидно! Копейки не возьму! В Москву я отправил 2 больших письма — Телешову и Государств[енному] Издательству — написал не в меру резко, что именно там выбрали из меня? И какие тексты? "Огромное количество экземпляров" меня ни чуть не радует, я вне себя от горя. Была В[аша] посылка от 22 дек[абря] (наполовину разворованная). А что это, что не так вкусно, как виски, но полезно? Изумлен и восхищен, что Вы жили одно время с цирком! Алеко Алданов? Сценарий не сохранился. Целую Вас и руку Т. М.

Ваш Ив. Б.

---

1. Вдова М. О. Цетлина.

Будьте добры, дорогой друг<sup>1</sup>, сказать Кодрянским: м. б., они могут привезти мне настоящее золотое перо Eversharp или типа Eversharp: Eversharp N 4, *средней* остроты (которая, вероятно, определяется этим номером 4), с ручкой никак не толстой, а средней. Я когда-то подарил Вам перо *другой* марки, но, помнится, оно похоже было на то, о чем я пишу (только уж слишком тугое для меня). М. б., я ужасно отстал от века — м. б., теперь Eversharp и не существует; но ничего не имею и против новых марок, если перо будет похоже на то, о чем я говорю. Иду на любую цену — все заплачу Кодрянским с благодарностью.

А еще у всех у нас в Париже великая беда с мылом для бритья — нет ни хорошего крема, ни палочек — есть палочки, которые не дают ни чёрта пены! Пришлите, дорогой! Все осталь-

ное, повторяю, прекратите посылать — всего у нас довольно. Обнимаю.

Перечитываю кое-какие разрозненные кн[иги] "Совр[емен-ных] Э[аписок]" — между прочим с *большим* удовольств[ием] "Начало конца" [роман Алданова]. И дикий, развратный "Дар" [роман Набокова], ругаясь матерно. Перечитал еще "Дорогу" Иванникова. *Просто удивительный* талант! Где-то он теперь?

1. Письмо от 15.2.1946, написанное на другой стороне письма к Бунину от М. Суховой.

[Алданов Бунину]

20 февраля 1946

... Вы, конечно, пошутили насчет того, что я решил "поврать с Вами переписку" из-за визита, но меня и шутка огорчила. Вообще *я самый* терпимый из всех нью-йоркцев.

... Получили ли Вы экземпляр отдельного издания "Речного трактира"? Вы так мне и не ответили, послать ли Вам несколько сот экземпляров его для продажи во Франции. Мы пока продали около двухсот экземпляров рассказа, — но через магазины мало, все больше по подписке, в результате газетных и письменных обращений...

26.2.46

Дорогой Марк Александрович, получил вчера Ваше письмо от 20-го, — как всегда, милое, сердечное, — очень благодарю Вас за него! Что Вы "самый терпимый" среди прочих, неудивительно, — что ж все "прочие" перед Вами со всеми Вашими удивительными дарами! О своем здоровьи я Вам много писал, — поправляюсь, слава Богу, а был у меня не только жестокий бронхит, а, повторяю, начало настоящего воспаления левого легкого, прерванное "сульфамитом", от которого страшно пострадали многие из наших знакомых, тоже хворавшие. Дай Бог скорее поправиться Татьяне Марковне без него!

Сборник затеял Ремизов, — будет называться "Русский сборник", — вместе с неким Пантелеймоновым, химиком, хорошо зарабатывающим, немножко пописывающим (и, конечно, желающим немножко печататься) и я в этот сборник дал рассказ, что можно было сделать в постели, *но редактором его не*

*был и не есмь*. Почему не дали в него Газданов и Зайшев, не понимаю, — будет в нем, правда, Бердяев, но вполне невинный; м. б., потому, что Пантел[еймонов] "стоит на советск[ой] платформе". Пантелейм[онов], приехав ко мне, сказал, что сборник затеян в честь Бенуа (80 лет!) и в мою, так что из статей будут еще статьи о нем и обо мне; прочее — множество стихов и несколько рассказов: я, Ремизов, Ладинский (что-то древне-греческое или римское, с пошлейшим заглавием: "Под сенью колонн"), сибирский рассказик самого издателя — он сибиряк, Ставро́в — словом, не Бог весть что.

Насчет денег я Вам писал в прошлом письме; рад, что остальное будет пока у М[арии] С[амойловны] или у Вас. "Речн[ой] трактир" получил (5 экз[емпляров]) — еще раз очень благодарю за него Вас и Добужинского. Пришлите две, три сотни для продажи здесь (на которую я слабо надеюсь) на имя Як[ова] Б[орисовича Полонского].

Дня четыре тому назад я вышел в первый раз, дотащился до почты, позавчера был с Адамовичем и Пантел[еймоновым] у Ремизова, а вчера у Полонских. Як[ов] Б[орисович] очень много интересного рассказывал о Нюрнберге и сообщил мне еще одну страшную для меня вещь: Федин (который, хотя и незнаком со мной, прислал мне "самый сердечный привет") сказал ему, что мои писания издаются сразу и в Москве и в Петербурге — по 80 печатных листов каждое издание!! Я убежден, что я за все за это и гроша не получу, но чёрт с ним, с грошом — ужасно то, повторяю, что мною распоряжаются как своими собственными штанами и без всякого моего ведома. Храни Вас Бог и дорогую Т. М.!

Ваш Ив. Б.

17-го февр[аля] получили Вашу посылку за № 8709 (через "Нов[ое] Р[усское] Слово"), 19го февр[аля] — еще одну, от 19 янв[аря]. Спасибо, спасибо!

---

1. См. также письмо от 1 апреля 1946-го г.

[Алданов Бунину]

6 марта 1946

... Получил пересланное Вами письмо к Вам М. Суховой от 15 ноября 1941 года. Я тотчас навел справки. Она писала, что послала

деньги "О-ву Русских Писателей в Нью-Йорке". Вероятно, она имела в виду либо Лит[ературный] Фонд, либо Толстовский Фонд. Действительно, в 1941 году, вскоре после того как я приехал в Америку, в "Нью-Йорк Таймс" появилось письмо А. Назарова: он приводил цитату из Вашего письма к нему о том, что Вы находитесь в нужде, и просил читателей помочь Вам, причем указывал для приема пожертвований адрес Толстовского Фонда. Откликнулось немало людей, и было собрано несколько сот долларов. Все они поступили к гр. Александре Львовне, и она тогда же Вам их перевела. Получив теперь это Ваше письмо, я позвонил Толстой (сначала Назарову), и она подтвердила, что тогда перевела Вам все, что собрала. Она не помнит (и это вполне естественно), была ли в числе пожертвований тогда сумма в 77.50 от Суховой. Обещала навести справки, но это потребует времени... Спасибо за добрые слова об "Истоках". Насчет Иванникова всегда был с Вами согласен... Книгу Триоле вчера получил, — от души благодарю Вас за подарок. Завтра начну читать...

12.3.46

Дорогой Марк Александрович, получил Ваше письмо от 6-го. Кончив свой роман, Алеко должен, по-моему, опять начать писать небольшие рассказы и повести — это выходит у Вас, как Вы сами отлично знаете, уж совсем превосходно. Здоровье мое ничего себе, только сильно слезится левый глаз — старость и утомил глаза, слишком много читал и читаю лежа. Пера мне не покупайте, раз Кодрянские не едут: я Вас, дорогой, хорошо знаю — Вы не возьмете то, что истратите, и мне это будет очень огорчительно — уж и так Вы на нас разоряетесь без конца и уж сколько времени! "Нов. Журн." должен, наконец, дать очень основательно статью насчет того безобразия, которое называется новой русск[ой] орфографией. "Война и мирь" — вот я, напр., впервые читаю такой романи как могу решить: "В. и мирь" или "В. и мірь"? и т. д. и т. д.

Яков Б[орисович], наверно, Вам писал, что Федин сказал ему, что даже не одно печатается издание моих избр[анных] сочинений, а два — в Москве и в Птб. — совсем пропал я, если даже заплатят что-нибудь (во что я почти совсем не верю) — ведь все-таки не в деньгах дело, а в том, *что* выберут и *как* будут сокращать, выкидывать им неподходящее! О деньгах от Суховой не беспокой-

тесь — я написал Вам о них просто так и уверен, что в свое время я их получил. (Записей насчет получек я никогда не вел, но уверен, что получил). Погода в Париже уже давно просто страшная — грязь, снег сугробами, темно, пронзительно холодно и сыро, похоже на Птб. — или Нью-Йорк? Ведь у Вас вообще адский климат? Берегите себя и Т. М. — от всей души говорю, очень за Вас боюсь! В "Русском Сборнике" Пантелеймонова будут рассказы: мой, Тэффи, Ремизова (этих, впрочем нечто не совсем похожее на рассказы), Ладинского (нечто небольшое, историческое, гимназическое, под смехотворным заглавием "Под сенью колонн", кои, кажется, над Геллеспонтом — он вообще совсем одурел, а охолопился до невероятной степени), затем, кажется, Ставрова рассказик, воспоминания Бенуа, статья о нем Маковского (ведь сборник издается в честь старости его и моей — будут наши портреты, обо мне статейка Адамовича) и множество стихов, среди них по 2 посмертных — Гиппиус и Цветаевой.

Мои "Темн[ые] аллеи" выйдут полностью у Зелюка в конце апреля, а по-французски (у "Le Pavois", новое издательство), вероятно, в мае, в июне. Выхожу очень редко, слаб и боюсь простудиться. Перешел на пиво (довольно уже сносное), цены на вино все растут — то, что стоило еще недавно 100, 120 фр. (а когда-то 5, 6 фр.), стоит уже 225, 250...

Весь Ваш, дорогие мои, Ив. Б.

Еще моя острота: говорю, что горячо завидую Ною: пережил всего один потоп и был тогда в мире всего один Хам.

Вера З[айцева] раз поддела меня насчет моего визита. "А ты разве не бывала у сестры Льва Дав.?"<sup>1</sup> спросил я. Замолчала.

---

1. Троицкого.

[1 апреля 1946]

Дорогая Татьяна Марковна, очень прошу Вас...<sup>1</sup> не падать — и поскорее приехать в Париж. О том-же, т. е. о скорейшем приезде прошу и Вас, дорогой Марк Александрович, — так хочется видеть Вас обоих! Кроме того — ведь я вот-вот уеду на Кавказ... Впрочем, я это сейчас выдумал — вспомнил, что нынче первое апреля. А дальше идет уже правда: телеграмма из Москвы! "Selon votre desir editions Litteraire Etat ont suspendu preparation recueil vos oeuvres stop Mikhail Apletine vice president commission etrangere union

ecrivains sovietiques 12 Kouznetski Most Moscou".<sup>2</sup>

Тотчас написал письмо Апплетину (завтра пойдет с дипломатической почтой) — запросил, как это понимать: "suspendu" вообще, на неопределенный срок, или же до выяснения моих пожеланий насчет выбора моих oeuvres и текста их? — Забыл написать Вам о Ное еще и то, что особенно завидую тому, как великолепно был он обеспечен, помимо всего прочего, пропитанием: подумайте — 7 пар чистых и 7 нечистых, среди которых были, конечно, и свиньи, одно из самых любимых моих кушаний (в виде колбас, сосисок, жареной "буженины") — это тебе не Грасс и не Париж! И вина было вдоволь!

"Русский сборник" выйдет в конце апреля... предисловие Адамовича: "Появление первой книги... совпадает с юбилеями И. А. Бунина и А.Н. [Бенуа]. Творчеству славных юбиляров посвящены в книге статьи". Дальше — мой портрет, статейка Адамовича обо мне, мой рассказ ("Зойка и Валерия"), Ремизов, Тэффи, Зуров, Ладинский, Пантелеймонов (очень милый сибирский рассказ — вместо его жалкой статьи "Война и народы"), потом воспоминания Бенуа, статья о нем С. Маковского, статья Бердяева (невинная, иначе я ничего не дал бы в сборник) — и куча стихов. Сборник моих рассказов Зелюк печатает в Швейцарии, выйдет, вероятно, в начале мая. Я туда поместил почти все лучшее — уж не знаю, что послать в "Нов. Ж."? Что-нибудь все-таки пошлю — не нынче-завтра. Дней десять т. н. был у Триоле — попросила повидаться ("хочу дать Вам несколько сведений насчет вообще издания книг в Москве"), прислала за мной собственную машину, — да-с! — посидел у нее, познакомился с Арагоном — небольшой, сухой телом, уже с проседью, довольно сносно говорит по-русски... Очень тронут, очень благодарю за заботы о пере. *Рукописи не высылайте: я б хотел их иметь, но только в оригинале.* В. Н. целует Вас обоих, я тоже.

Сердечнейший поклон А[лександр] А[брамович] Полякову.

1. Угол письма оторван.

2. "Согласно Вашему желанию, Государственное Издательство Художественной Литературы приостановило подготовку [издания] Ваших избранных произведений. Михаил Апплетин, вице-президент Иностранной Комиссии Союза Советских писателей, 12 Кузнецкий Мост, Москва".

15.IV.46

Дорогой Марк Александрович,  
 спасибо, спасибо — пришла Ваша посылка от 23 марта (с тюбиком мыла для бритья). Дней 10 т. н. получил большое количество "Речн[ого] Трактира". С неделю т. н. послал Вам "Галю Ганскую". Страшно дороги стали авионы, поэтому сделайте одолжение передать Марии Сам[ойловне] нашу благодарность за посылку и наши самые лучшие чувства — и, если можете, то, что я очень тронут ею, Екатерине Исааквне Еленевой, дочери И. П. Альтшулера, моего старого друга (Cath. Elene, Luona Hotel, 2783 Woadway, N. Y. 25) — письмо ее, как это ни дико, только что получил (оно побывало в Грассе). Целуем Вас обоих.  
 Ваш Ив. Б.

У меня нет летнего пальто. Нет ли в "Толстовск[ом] фонде"?

22.IV.46

Дорогие Марк Александрович и Татьяна Марковна, поздравляем Вас с праздником, сердечно обнимаем. Нынче пришел "Н. Ж." Благодарю редакцию за доброе слово обо мне<sup>1</sup>, благодарю В[еру] А[лександровну] Александрову<sup>2</sup>. Прошлый раз написал Вам глупость о летнем пальто — у Литературн[ого] фонда, верно, нет таких вещей. Если еще не уехал Баранов, не может ли он купить на мои деньги, что у М[арии] С[амойловны], и привезти? Он, мне кажется, одного роста и склада со мной. Мне бы хотелось иметь обычного желтоватого цвета, так наз. непромокаемое, но *не* прорезиненное, а шелковистое, *очень легкое, с подкладкой только в плечах*. "Истоки" прочел не отрываясь.

Ваш Ив. Б.

1. Т. е. за статью "Юбилей Бунина", появившуюся в 12-ой книге журнала: "все сходятся в том, что он гордость и украшение русской литературы. Его юбилей — ее большой праздник".

2. В той же книге появилась статья В. А. Александровой "И. А. Бунин".

[Алданов Бунину]

6 мая 1946

... Большое спасибо за "Галю Ганскую". Рассказ чудесный. Карпович умоляет Вас о разрешении выпустить три строчки (о

поцелуях по ножке, вдоль чулочка...). Не скрою от Вас: редакция "Нового Журнала" получила письма с протестами против "эротики" и отдельных слов в Ваших рассказах!! Одно пришло от ученого... "Как же можно? У меня жена" и т. д. Мы не ответили. Со всем тем Карпович, разумеется, не настаивает: если не хотите, оставьте эти три строки. Рассказ уже набран, но еще не сверстан<sup>1</sup>. И умоляем, не забывайте журнал. Гонорар причисляется к Вашим суммам, хранищимся у Марьи Самойловны...

---

1. См.: *Н. Ж.*, 81 (1965), 137, 138.

10 мая 46 г.

Дорогой Марк Александрович, только что получил Ваше письмо от 6 мая. Прежде всего, чтобы не забыть: мои сердечн[ые] соболезнования Александру Федор[овичу Керенскому] — и совет: ни в каком случае не приезжать (слышал вчера, будто собирается). О пальто *забудьте*, простите, что беспокоил: конечно, могут украсть, а главное — невозможно в самом деле без мерки. Оч[ень] буду рад познакомиться со Столкиндо. "Галя" без "эротики" никуда не годится, поэтому лучше не печатайте. Ах, уж эти болваны и лицемеры... Неужели после "Истоков" замолкаете? Это будет оч[ень] грустно! Что же тогда останется из беллетристики в журнале! Зелюк заплатил мне 25 т., при выходе книги должен еще 20 — и это все, никаких процентов, а когда выйдет книга, неизвестно — должно быть, еще месяца через 2, три тысячи экземпляров; печатает в Швейцарии — у него там и типография и бумага, он туда ездит то и дело. По-французски моя книга выйдет, вероятно, еще позднее. Кое-что из нее будет напечатано в еженедельнике "Cavalcade"<sup>1</sup>, где литературн[ым] редактором Нелги Тгоуат — помните, тот, что получил премию Гонкуров, русский армянин Тарасов. Там платят неплохо — 12 тысяч за 12 страничек на машинке с довольно большими полями. Но и жизнь у нас все дорожает, дорожает. Здоровье мое не важно, оч[ень] задыхаюсь. Нужно бы в горы, на воздух, на некоторую высоту, но я и мечтать об этом не смею — все мое "состояние" Вы знаете. И что дальше, если Бог продлит веку? Впал ли я "в немилость" — не знаю. После той телеграммы и моего ответа на нее, нет больше никакого движения

дела, молчание. "Рус[ский] сборник" выйдет недели через две, предполагается и второй. Ваши апрельск[ие] посылки еще не пришли. Бог даст придут, спасибо, спасибо! Посылки Пен Клуба? М. б., одна была, уже давно, не могу вспомнить, была ли, но если была, то *одна*. О "Союзе" Вам напишет В. Н., — я о "бурях" там слушаю краем уха — и *ни в какие* "Союзы" не вступлю. Оч[ень] благодарю Вас и М[ихаила] М[ихайловича] Карповича (которому мой дружеский привет!), что просите "не забывать" "Н. Ж." Но мой "портфель" уже опустел, а нового я ничего не написал — и, думаю, уже не напишу.

Наши с В. Н. самые сердечные чувства Вам и Т. М.!

Ваш Ив. Б.

P. S. Сейчас получил предложение из Англии от бывшего директора Hogerth Press, основавшего свое издательство, издать "Темн[ые] аллеи". Он смелее...

---

1. 20 июня 1946-го г. в этом журнале был напечатан "Le corbeau" и 10 октября того же года "L'Heure tardive" (в том же переводе).

28.V.46

Дорогая Татьяна Марковна, целую Вашу руку, сердечно благодарю — получил Вашу посылку от 12 Апр[еля], получил и Вашу, дорогой друг, — от 22 Апр[еля]. Новостей нет. Все тот же холод и дождь, все так же задыхаюсь и вылечиться от этого нельзя — расширение легких, старость, которую можно лишь облегчить хорошими условиями жизни, а где ж их взять? Не будете ли добры позвонить в "Нов[ое] Рус[ское] Слово" и попросить контору передать мою сердечную благодарность и поклон Ирине Сергеевне Волконской, от которой я получил через "Н[овое] Р[усское] Слово" посылку от 8 мая.

Всегда Ваш Ив. Бунин

27.VI.46

Дорогой Марк Александрович,

так давно от Вас нет ни строчки, что начинаем беспокоиться — здоровы ли Вы и Татьяна Марковна? Напишите пожалуйста. И еще о том — приедете ли или нет? Все это во-первых, а вторых спешу Вам сказать, что сегодня меня просто *на удивле-*

ние, дико оболгали — я давал этот "интервью" (всего одну фразу) при свидетелях, но это не помешало оболгать меня — и исказить некоторые мои слова, сказанные уже в *частной* беседе: я, напр., говорил: "на завтраке некоторые напились на радостях" — а в газете: "мы выпили на радости" — и т. д.<sup>1</sup>

Целуем Вас и Татьяну Марковну сердечно.

Ваш Ив. Бунин

Бесстыдство этой стервозной газеты дошло до того, что напечатали, будто я послал "привет и пожелание успеха ей".

Я очень болен и только потому имел слабость принять этого с. с. редактора. И хуже всего, что ведь и думать нечего напечатать опровержение.

---

1. 28 июня 1946 появилось следующее интервью в газете "Советский Патриот" — "У И. А. Бунина":

На маленьком, прикрепленном к двери, куске картона надпись: "Ив. Бунин". Нажимаю кнопку звонка. На пороге с приветливой улыбкой верная спутница Бунина — Вера Николаевна. После краткого разговора и взаимных извинений приглашает в комнату.

В коридор выходит в темном халате Иван Алексеевич. Он все тот же, каким мы привыкли видеть его до войны на литературных вечерах и собраниях, со строгим скорбным овальным лицом, с внимательными, чуть прищуренными усталыми глазами.

Я кладу на стол еще пахнувшие типографской краской экземпляры экстренных выпусков "Сов. Патриота". Первый из них И. А. Бунин уже успел прочесть накануне.

— Мы праздновали юбилей нашего милейшего и старого друга, П. И. Борейши, и как раз в это время нам сообщили о получении указа Верховного Совета [речь идет об указе от 14 июня 1946 г. "о восстановлении в гражданстве СССР подданных бывшей Российской Империи, а также лиц, утративших советское гражданство, проживающих на территории Франции". — А. З.].

На радостях мы выпили за указ. Советское правительство поступило мудро и благородно в отношении нас — эмигрантов. Каждый теперь решит вопрос сам за себя и за своих близких. Советовать здесь нечего.

Я рассказываю о той радости и всеобщем подъеме, когда за скромной чашкой чаю на рю Галльера генеральный консул поздравил всех собравшихся с преддверием советского гражданства для всех без исключения русских людей, которые этого пожелают, упоминаю о волнении и слезах на глазах наших юношей и девушек.

Лицо И. А. взволновано. Он отвечает: — Отрыв от Родины не проходит даром. Вот, мне приходится бывать иногда в эмигрантских семьях. Кое-кто из молодых скучает при чтении "Войны и мира". Некоторым юношам непонятна даже Наташа Ростова. Я думаю, что они так же относятся к ней, как я, скажем, к

описанию жизни каких-нибудь гренландцев. Да и то, пожалуй, эти гренландцы будут мне ближе и понятнее, чем им переживания Наташи на первом балу или сцены охоты. Конечно, это не вина молодых людей, да даже и не всегда вина их отцов... Молодым — прямая дорога на Родину.

Мы говорили о тех переживаниях, которые испытывают русские эмигранты, когда после четверти века скитаний по всему миру переступят родной рубеж.

— Да, вероятно, почувствуют многое... Вот и я, помню, заволновался, когда меня еще задолго до войны встречали в Риге. Латвия — почти та же Россия, хотя и сидел там Ульманис. Поднесли цветы, говорили речи, даже открыли царские комнаты на вокзале.

— И на Родине вас, И. А., встретят с цветами и почестями.. Поверьте, иначе и быть не может.

Вошедший в комнату Л. Ф. Зуров горячо меня поддерживает. И. А. очень интересуется предстоящим собранием эмигрантов в зале Иена, 30 июня, спрашивает о судьбе наших военных инвалидов, которые пожелают вернуться на Родину. Ответ наших дипломатических представителей о приискании работы для трудоспособных вполне его удовлетворяет.

Мы прощаемся. И. А. желает успеха нашей газете и ее редактору. проф. Д. М. Одинцу. В. Курилов".

I.VII.46

### Письмо в редакцию "Советского патриота"

Позвольте заявить в ближайшем номере Вашей газеты мой протест по поводу интервью со мной, напечатанного в "Сов. П." от 28 июня. Я твердо и при свидетелях заявил г. В. Курилову, автору этого интервью, что даю ему право опубликовать только *одну* мою фразу, выражающую только одно — мою скромную мысль о значительности для русской эмиграции указа 14 июня. Несмотря на это, в "Сов. П." напечатано было нечто совершенно иное: описание моего то якобы "скорбного", то якобы "взволнованного" лица и целый набор восторженных фраз, *которых я и не думал произносить*, — вплоть до заключительной фразы всего этого интервью, резко искадившего выдуманнами за меня словами даже тот *частный* и краткий разговор, на который я был вызван моим собеседником<sup>1</sup>.

Ив. Бунин, 30 июня 1946 г.

Вот, дорогой Марк Александрович, то, что я отправил в ред[акцию] "Сов[етского] П[атриота]". Если, паче всякого чаяния, письмо это не будет напечатано, его напечатает Ступницкий<sup>2</sup> и я обращусь во франц[узский] суд, на что я, по словам Ступницкого,

имею полное право: я этого дела так не оставлю, ибо более наглого и дикого поведения, чем поведение "С[оветского] П[атриота]", я не знаю. Моя вина, однако, то, что я принял сотрудника этой архистервозной газеты; но я как-то не подумал об этом, а главное — сотрудник этот — старый, близкий знакомый Полонских, очень милый и застенчивый человек. И вот вышло то, что не только попался, осрамился я, но и он, Курилов: позавчера я обедал у Полонских и тут пришел этот Курилов — и при Полонских и при других гостях заявил, что его текст — текст его интервью — вдребезги был искажен и расширен в редакции (по его словам, скорее всего Румановым, совершенно *падшим* стариком). Читали ли Вы, дорогой Марк Александрович, это гнусное интервью? "Сов[етское] правительство поступило мудро и благородно в отношении нас — эмигрантов..." "*Мудро и благородно...* в отношении *нас...*" — Каково!! Мне и не снилось это говорить! "*Мы* выпили на радости за указ...". А я, в этой *частной* беседе, сказал так, смеясь: "На завтраке в честь Борейши русачки-наборщики клюкнули "на радостях" выше всякой меры...". Не говорил я ни слова об "отрыве от родины, который не проходит даром"; не говорил: "Молодым — прямая дорога на родину"; не посылаю никаких приветствий Одинцу — и т. д. и т. д. Целую Вас и руку дорогой Татьяны Марковны. Ваш Ив. Б.

Прошу "Нов[ое] Рус[ское] Слово" не "делать бума" — мне это будет *опасно*.

Вчера я, слава Богу, подписал контракт на издание в Англии "Темн[ых] аллея".

---

1. В письме, появившемся 5 июля в "*Советском Патриоте*" были введены некоторые изменения в текст. Письмо начинается с "Многоуважаемый господин редактор", и кончается — "С почтением".

2. А. Ф. Ступницкий, редактор "*Русских Новостей*".

#### 5.VII.46

Дорогой милый друг, получил Ваше письмо от 1 июля — какой Вы редкий, благородный, добрый человек! Горячо благодарю Вас за Вашу сердечность! Я все время болен затяжным бронхитом и расширением легких, а это непоправимо, может быть, только облегчаемо подходящим местом жизни, чего я не могу иметь по своей нищете, да даже и возможности поехать

куда-нибудь на отдых (мы сидим и будем сидеть, конечно, только в Париже). А писал я Вам про свою болезненность еще раз потому, чтобы сказать, что я принял этого интервьюера по слабости, происходящей от отравленности "кодоформом" (где есть кофеин, т. е. опиум) да еще потому, что он хороший знакомый Полонских. Впрочем, все это я уже писал Вам в том другом письме об этом гнусном интервью — в том, которое Вы 1-го июля, очевидно, еще не получили. (Еще о здоровье: к вечеру мне бывает легче, а идя в [неразб.] я принимаю то одни, то другие возбуждающие капли и держусь молодцом, хотя и излишне возбужденным. И еще вот что: никакой Вишняк не имеет права меня упрекать в чем бы то ни было: я сделал то, что, не знаю, как бы другой сделал — истинно, в самые последние годы, а м. б. дни своей жизни, нищий, старый, отказался от большого богатства, от всяческих больших "возможностей" и т. д. и т. д.

"комментарии излишни"). Прилагаю письмо мое в "Сов[етский] Патриот" — подробнее я *не мог* написать, хотя все же решился на большой *словесный* скандал; только опять прошу — не раздувать этого дела в "Н[овом] Р[усском] Слове".

О "Союзе" Вам напишет В. Н., я это дело плохо знаю — знаю только одно — бывш[ие] германofilы тут ни при чем, их якобы "обеление" тоже.

Для 14-ой кн[иги] "Н. Ж." мне, кажется, уже нечего послать — книгу мою Зелюк уже набрал и она выйдет не позднее сентября<sup>1</sup>. Кое-что я не ввел в нее, но, на мой взгляд, это оставшееся "так себе", так что ж посылать это в "Н. Ж."?

Письма от Извольской не получал. "Датской" посылки Вашей — тоже. Спасибо, спасибо за то, что будет через Долгополова.

От всей души обнимаю Вас, целую руку Татьяны Марковны. Все же очень, очень надеемся, что увидим Вас. М[арию] С[амойловну] уже видел два раза — дай Бог не сглазить, вид у нее хороший, крепкий.

Ваш Ив. Б.

---

1. Издание *Темных аллей* (Париж, 1946).

19 января 1947

Я благополучно приехал в Ниццу и снял небольшую квартиру без обязательств о сроке. Сколько останусь здесь, не знаю...

23.1.47

Дорогой друг, получил Ваше письмо — с новосельем! Я все еще хвораю, но надеюсь выехать дней через 10 в Juan-les-Pins (Dr. Борис Никандрович Belaeff, Villa Le Fournel, Chemin du Fournel, Juan-les-Pins) [в поле приписано]: почти возле вокзала.

Бог даст, увидимся, тогда передам Вам расписку на заказное письмо в одну милую страну. Целую Вас и руку Татьяны Марковны.

Ваш Ив. Б.

7.2.47

Дорогой друг, я все еще в постели, — простите поэтому, что не поблагодарил Вас во-время за Ваши добрые, заботливые письма.

Выедем мы (т. е. Тэффи, я, Роговский) вероятно 20-го.

Сердечно обнимаю Вас, целую руку Татьяны Марковны.

Ваш Ив. Б.

23.2.47, Воскресенье

Дорогой мой, еще раз горячо благодарю Вас за Вашу сердечность ко мне. Дела мои, дай Бог не сглазить, немножко поправляются — уже дня четыре нет крови, но, конечно, я еще очень слаб, несмотря на все лекарства и на пожираемую мной печенку (с отвращением и некоторым ужасом, ибо она стоит 600 фр. кило!!), так слаб, что вчера, ожидая Полонских, должен был накачать себя, чтобы не осрамиться, камфарой, которая, по словам Пушкина "нужна гробам". Когда смогу выехать поэтому не знаю — доктора мои говорят, что я должен до отъезда не только окрепнуть, но еще и сделать некоторую операцию, чтобы быть уверенным, что кровь не повторится.

Яша (Цвибак) прислал нежное письмо — извещает, что был болен воспалением легких — и что какой-то америк[анский] издатель "Б. Г. Танко" или "Танько" желает издать "Темн[ые]

аллеи" с авансом в 200 долларов. Что Вы думаете об этом? Я думаю отказаться: эти 200 дол. в 5 минут уйдут здесь "на печенку"!

Целую Вас и дорожую Т. М.  
Ваш Ив. Б.

4 марта [1947]

Дорогой Марк Александрович, вчера мне сделали первую операцию. Нужно сделать еще две — в понедельник 10-го и в понедельник 17-го. Выехать могу только 19-го или 20-го. К этому времени и постараюсь достать билет в спальном вагоне.

Целую Вас и Татьяну Марковну.  
Ваш Ив. Б.

16.3.47

Дорогой Марк Александрович, простите, пожалуйста, что так поздно и так кратко отвечаю на Ваше последнее письмо, опять такое дружеское и заботливое: все последние дни чувствовал себя даже хуже, чем прежде. Горячо благодарю за готовность помочь мне, но я на днях получил кое-что, так что на некоторое время обеспечен. Писать обо мне в Н[овом] Р[усском] Слове бесполезно — будет только позор и гроши. Завтра будут делать мне уколы в третий раз — надеюсь, последний. После завтра я должен получить место (верхнее) в спальном вагоне второго класса на 22-ое марта (в поезде, отходящем от Парижа в 8 ч. вечера и приходящем в Antibes около одиннадцати утра). М. б., Бог даст сил выехать. А Тэффи выезжает завтра в 4 ч. 40 с Роговским.

Обнимаю Вас, дорогой, и целую руку Татьяны Марковны. В. Н. шлет Вам обоим самый сердечный поклон. Она, бедная, тоже едва жива от моих бессонных ночей: я совсем лишился ночного сна — помимо кашля, иногда чуть не кричу на весь дом от спазматических болей в груди. Ваш Ив. Б.

2 мая 1947

Дорогой, милый Марк Александрович,  
позвольте просить Вас сделать мне величайшее одолжение помочь мне получить билет на возвращение в Париж: пожа-

луйста, зайдите в свободную минуту к Куку (думаю, что Кук все-таки лучше других) и закажите мне спальное место (в том спальном поезде — Calais-Mediterranee, — который отходит из Ниццы в 17 часов 55 м., — если не изменили расписания с 1-го мая). Мне очень трудно ехать с кем-нибудь даже вдвоем, поэтому я был бы просто счастлив получить купе *первого* класса *одноместное*. Но если это невозможно или Кук может обещать мне это купе *без гарантий*, то просите мне *нижнее* место в *курящем* двухместном купе 2-го класса. *Выехать я хотел бы между 1-м и 5-м июня. Если же Кук посоветует почему-либо дату немножко позднее, согласен и на это. Дайте понять тому, с кем будете иметь дело у Кука, что он получит очень приличную взятку (какую именно, по-Вашему?) или же (если найдете нужным) просто дайте эту взятку заранее.*

Целую Вас и руку Татьяны Марковны.

Ваш Ив. Б.

P. S. Просить по этому делу Роговского боюсь! Он "вертопрах", зимой надувал меня в Париже раз 10.

P. S. Кук, верно, попросит мою фамилию и N. Carte d'identité. Так вот, прилагаю для Кука бумажку.

N. B: Удобно ли, что я с билетом, взятым от Ниццы, сяду в Antibes?

И когда именно я получу билет? Ведь мне билет нужен *здесь* для сдачи вещей в багаж.

(Извините, если, вследствие этих вопросов, я покажусь Вам довольно глуповатым: стар!)

[24 июля 1947]

Дорогой друг, чрезвычайно рад, что Вы уже здоровы — суку потому, что уже могли написать нам и большое письмо Адамовичу о его книге (не читал, но видел это письмо). Что до меня, то я истинно погибаю от жары и духоты, ускоряю свою и без того близкую смерть, а *выехать* куда-нибудь "капитал не позволяет" совершенно. Не прохладно, конечно, и Вам, да у Вас все-таки море. Когда Вас ждать сюда?

Обнимаю Вас, целую руку Татьяны Марковны.

Ваш Ив. Б.

24.VII.47

Послал Вам открытку, дорогой друг, и забыл написать то, что на днях рассказал мне некто, бывший недавно в гостях у Бердяева. Бердяев говорил: "Вот в Англии назвал меня Болдвин русским Сократом. Это не совсем правильно: Сократ вот так", — тут Бердяев поставил правую ладонь ребром и провел налево, — "а я так", — прибавил он, поставив левую ладонь ребром, и провел в другую сторону. Правда, чудесно?

Ваш Ив. Б.

[Алданов Бунину]

28 июля 1947 года

... Адамович в своей книге рассказывает, со слов Мережковского, будто Боборыкин, в его, Мережковского, присутствии, говорил Тургеневу, радостно хлопая себя по ляжкам: "Пишу, Иван Сергеевич, много и очень хорошо!" По-моему, это выдумка, да и где же М[ережковский] мог видеть Тургенева? Однако очень забавно. В своем роде не менее забавно, чем Ваше "Сократ вот, а я вот".

Перечитываю классиков, чтобы отдохнуть от немецких философских книг, которых прочел за последние полгода видимо-невидимо. В Париже я купил советский том избранных сочинений Лескова. "Соборяне" у меня были. "Некуда" и еще кое-что я взял в здешней церковной библиотеке. По-моему, "Соборяне" слабая вещь, а "Некуда" просто негодная. Но вот в "однотомнике" есть настоящие шедевры. Я в первый раз в жизни прочел "Разбойник". Читали ли Вы? Рассказ написан без малого сто лет тому назад, а из него, думаю, вышел Чехов, в частности "Степь", одна из самых любимых моих вещей. Очень неровный и странный был писатель Лесков. Перечел и Аксакова, — он изумителен. Теперь собираюсь перечесть всего Гончарова и *всего* Бунина, хотя, кажется, и Вас, и Гончарова знаю хорошо<sup>1</sup>...

---

1. См.: *Н. Ж.*, 81 (1965), 138.

31.VII.47, 1.VIII.47

Дорогой Марк Александрович, ставя в свое время на карту нищеты и преждевременной гибели своей от всего сопряженного с этой нищетой свой отказ от возвращения "домой", я

мысленно перечислял множество причин для этого отказа и среди этого множества мелькала, помню, и такая мысль: "как! и М. А. я тогда уже никогда больше не увижу и даже письма никогда от него не получу и сам ему никогда не напишу!!". Из этого следует, что я Вас действительно люблю (и, конечно, больше, чем Вы меня, чему я, кстати сказать, даже радуюсь, как частенько в подобных случаях, — радуюсь потому, что всегда боюсь, что кто-нибудь несколько любящий меня вдруг во мне разочаруется, — так пусть же поменьше любит меня). Следует из этого, конечно, и то, что я истинно рад, что Вы уже *совсем* выздоровели, смущаюсь только тем, что Вы читаете и пишете "как до болезни", хотя Вам это не велено, а кроме того не воздерживаетесь и от арманьяка должно быть. ("Чудо мое, ужели не помнишь, как мерзок Богу издающий зловоние пьяница?"). Рад и тому, что рассказ Ваш одобрен и принят Карповичем "и предвкушаю удовольствие от чтения его<sup>1</sup>, а что до "философской" книги Вашей, то все еще томлюсь загадочностью ее, утешаюсь лишь надеждой, что она, верно, все-таки не вполне философская. "Мережковский слышал, как Боборыкин в присутствии Тургенева" — это, конечно, ерунда. Но что Б[оборыкин] хлопал себя по ляжкам и говорил, что он пишет "много и хорошо", очень похоже на Б[оборыкина]: он был милый и веселый человек, любил шутить. "Разбойника" Лескова не помню, — верно, не читал, — непременно достану и прочту (или перечту). Да, очень неровный был писатель, даже и в самых лучших своих вещах почти всегда не в меру болтлив и с прочими недостатками, а все-таки *редкий*. Аксаков, конечно, изумителен каким-то совсем особым очарованием. Страшно буду рад, если перечитаете меня, — убежден, что Ваше мнение обо мне повысится, — Вы напр., м. б. *впервые* заметите, что я разнообразен как мало кто и — ни на кого не похож; но *горячо прошу, прямо умоляю не читать меня, если у Вас не будет собрания моих сочинений издания "Петрополиса"*, до всех других изданий ради Бога не касайтесь: я идиотичен, психопатичен насчет своих текстов — вспомню вдруг, например, что в таком-то рассказе моем не вычеркнуто в первом издании какое-нибудь лишнее, глупое слово — и готов повеситься, кричу, как Толстой, когда вспоминал что-нибудь неприятное из своих слов или поступков, на весь дом: а-а-

а! Кстати: сообщите пожалуйста при случае, если узнаете, что именно есть в церковной библиотеке в Нишсе из моих книг. Книгу, которую Вы мне привозили, я дал для передачи в эту библиотеку некоей Смирновой [-Макшеевой] (она немного и писательница) и убежден, что она ее передала в свое время, но все-таки нынче же напишу ей об этом. С красными шариками у меня, кажется, сейчас благополучно, но ведь сердце у меня старое, в легких старческое расширение и потому та жара, духота, в которых я день и ночь обливаюсь потом, сидя в своей "ночлежке" для меня, конечно, не мед. Вчера заехали за мной и В. Н. Конюсы (Т. С., дочь Рахманинова, и ее муж) и повезли нас смотреть пансион в Marly-le Roi, уговаривая меня пожить там хоть полмесяца, и какое это было наслаждение — дышать загородным воздухом и лететь в их совершенно изумительном автомобиле! Великое дело, дорогой друг, богатство! Пансион, как Вы хорошо знаете, прекрасный, только надо платить 700 фр. в день (без вина и пятиминутного чая, конечно), что для меня "немножко дорого". Я вежливо ухмылялся, когда Конюсы уговаривали меня как можно скорее переехать в этот пансион, и идиотски бормотал, что подумую, подумую... Очень тяжело и бедной Надежде Александровне [Тэффи]. Хочу писать о ней Александре Львовне [Толстой]..

Целую Вас и руку дорогой Татьяны Марковны.

Ваш Ив. Бунин.

P. S. Я только что прочел книгу В. Ермилова (*В. Ермилов. Чехов. Молодая Гвардия, 1946.*). Очень способный и ловкий с. с. — так обработал Ч[ехова], столько сделал выписок из его произведений и писем, что Ч[ехов] оказался совершеннейший большевик и даже "буревестник", не хуже Горького, только другого склада. И читая эти бесконечные и однообразнейшие выписки, все время удерживаешься от ненависти к Чехову. (Пьесы его мне всегда были почти ненавистны). Ах, Толстой, Толстой! В феврале 1897 г. он был в Птб. и сказал Суворину ("Дневник Суворина"): "Чайка" Чехова вздор, ничего не стоящий... "Чайка" очень плоха ... Лучшее в ней — монолог писателя, это автобиографические черты, но в драме они ни к селу ни к городу. В "Моей жизни" Чехова герой читает столяру Островского и столяр говорит: "Все может быть, все может быть". Если бы

этому столяру прочесть "Чайку" он не сказал бы "все может быть"<sup>2</sup>.

За столяра Чехову ставлю 5 с плюсом, Толстому за все эти его слова 50 с плюсом; ведь даже это заметил, и вспомнил: "Все может быть, все может быть"<sup>3</sup>.

Простите, что так грязно это письмо, — от жары пишу с трудом, бездарно, часто неточными словами и потому мараю.

1. Рассказ Алданова "Астролог".

2. См.: *Дневник А. С. Суворина*. Москва-Петроград, 1923, стр. 147.

3. Часть этого Р. С. Алданов уже напечатал в предисловии к книге Бунина *О Чехове*.

[Алданов Бунину]

4 августа 1947

... Насчет Чехова Вы напрасно. Цитаты повьдергивать Ермилов мог, но уж какой Чехов был большевик! Он был "правый кадет" и если бы дожил до революции, то писал бы в "Совр[еменных] Записках" и в "Последних Новостях", ходил бы с нами в Париже в рестораны, а в Москве Ермиловы другими цитатами доказывали бы, что он белобандит. Или, вернее, не писали бы о нем ни слова, и его книги там не издавались бы...<sup>1</sup>

1. См. *Н. Ж.*, 81 (1965), 138.

Суббота [9 или 16 августа 1947]

Дорогой Марк Александрович, от всей души благодарю Вас за Вашу заботу обо мне, но я никак не могу поехать тратить в Марли: у М[арии] С[амойловны] хранится некоторая сумма моих денег, но я ее берегу на зиму — ведь мы с В. Н. должны будем уехать в октябре или в конце октября *надолго* в "Русский Дом", я страшно боюсь провести еще одну парижскую зиму в постели; да и жара, слава Богу, кончилась, кажется. Зимой вообще у меня будут большие траты — и парижск[ая] квартира, и "Рус[ский] Дом", и переезд туда — и мало ли еще что!...

Очень слаб, потому кончаю. Целую Вас и руку Татьяны Марковны.

Ваш Ив. Б.

20.8.47

Как поживаете, дорогой мой? А за Вами есть грешки: нашел "Рус[ский] Инвалид" от 22 мая 1929 г. — там ген[ерал] Краснов и прочие вроде него<sup>1</sup> — и Вы: "В дороге" — ночевка Суворова в Брюнне. Как отлично написано!<sup>2</sup>

Целую Вас и Татьяну Марковну.

Ваш Ив. Бунин

Письмо от Смирновой: давным давно передала книгу в Церк[овную] Библ[иотеку].

1. П. Краснов. "Маленькая лача Шуаны".

2. Нетрудно согласиться с Буниным, что этот рассказ отлично написан: "...Фельдмаршал поднялся по обыкновению за три часа до рассвета. Помогившись, Суворов засветил свечу и разбудил своего старика-денщика, Прохора Дубасова, капнув ему на нос горячим воском. Прохор разразился отчаянной бранью. Суворов выслушал ее внимательно, затем приказал Прохору ставить самовар..."

[Алданов Бунину]

22 августа 1947

Дорогой Иван Алексеевич,

Получил Вашу открытку, сердечно благодарю за нее и за слова о моем давнем отрывке. Насчет "грешков" сознаюсь Вам и не в этом. Едва ли не самая лестная рецензия обо мне на русском языке за всю мою жизнь была написана именно несчастным генералом Красновым. Он писал о моих *романах* и политики совершенно не касался. Не упомянул даже о моем не-арийском происхождении. Впрочем, это было еще до прихода Гитлера к власти.

Получил из Нью-Йорка неутешительный ответ насчет Тэффи. Обещают ей (и Вам) из Литературного Фонда посылать двойное количество посылок, но денег у них нет и до бала (?) не будет. О Вас я им ничего вообще не писал, но Марье Самойловне сообщил, что Вы по отсутствию денег жаритесь в Париже. Что до Тэффи, то я просил о деньгах, а не о посылках. Ведь, кроме конденсированного молока, во Франции теперь в продаже есть решительно все, и *почти* все стоит (на черном рынке) несколько дешевле, чем в Нью-Йорке. Поэтому, между нами говоря (я им этого, конечно, не пишу) отправка продовольственных посылок из Америки стала довольно бессмысленным делом:

гораздо лучше переводить деньги. Вероятно, они и сами это знают, но посылка стоит 6-10 долларов, а деньгами переводить так мало неудобно. В Толстовском же Фонде сейчас нет ничего: мертвый сезон. Просто беда.

В здешней церковной библиотеке из Вашего последнего собрания сочинений есть только *два* тома: 3-ий и 4-ый. Ген[ерал] Масловский объяснил мне, что и эти они получили случайно: "Отчего же Иван Алексеевич не подарил нам своего собрания?". Есть, конечно, все издание Маркса, и три книги старых заграничных изданий. Что же мне делать после Вашего запрещения? Я взял оба тома того издания, которым Вы недовольны, и, разумеется, все тотчас прочел. Что ж мне Вас хвалить, дорогой друг! Почти все изумительно. Самое изумительное, по-моему: "Хорошая Жизнь" и "Игнат". Но какой Вы (по крайней мере тогда были) мрачный писатель! Я ничего безотраднее этой "Хорошей Жизни" не помню в русской литературе (убедился, кстати, в том, что все Ваши рассказы этих двух томов и не все, но очень многие стихи я помнил отлично). Это никак не мешает тому разнообразию, о котором Вы мне совершенно справедливо писали. Да, дорогой друг, немного есть в русской классической литературе писателей, равных Вам по силе. А по знанию того, о чем Вы пишете, и вообще нет равных: конечно язык "Записок Охотника" или Чеховских "Мужиков" не так хорош, как Ваш народный язык. Вы спросите: "Откуда ты, старый дурак и городской житель, можешь это знать?" Я не совсем городской житель: до 17 лет, а иногда и позднее, я каждое лето проводил в очаровательной деревне Иванково, где был сахарный завод моего отца, с очаровательным домом, парком и заросшей рекой (позднее, окончив гимназию и став "большим", начал летом ездить за границу, а с 1911 года в этом раю не бывал совсем). Но эта деревня была в Волынской губернии, т. е. в Малороссии. Велико-русской деревни я действительно не знаю, — только видел кое-что, как Ясную Поляну в 1912 году. Однако писатель *не может* не чувствовать правды, и я понимаю, что нет ничего правдивее того, что Вами описано. Как Вы все это писали *по памяти* иногда на Капри, я просто не понимаю. По-моему, сад, усадьбу, двор в "Древнем Человеке" можно было написать только на месте. Были ли у Вас записные книжки? Записывали ли Вы

отдельные народные выражения (есть истинно чудесные, отчасти и по неожиданности, которой нет ни у Тургенева, ни у Лескова в его *правдивых*, а не вымученных со всякими "мелкоскопами" вешах)<sup>1</sup>.

Ну, вот хорошо, это "суд современника". А вот Вам другой суд современника. Тот же Тургенев в 1866 году пишет Анненкову. Он получил и прочел мартовскую книгу "Русского Вестника". Публицистический отдел прочел "с великим удовольствием": "статьи Костомарова, Богдановича, Мордовцева. Дельно, интересно, умно". А вот художественный отдел ему не понравился. Там были, экскюзе дю пе: "Преступление и Наказание" и "1805 год" (т. е. начало "Войны и Мира"). В "Преступлении и Наказании" Тургеневу не нравится "тухлятина и кислятина", а в "Войне и Мире" какая-то "капризная изысканность", "эти вечные повторения", — "странный исторический роман". Кстати, я видел и читал эту самую книгу "Русского Вестника". Катков напечатал "Преступление и Наказание" и "1805 год" на шестом и седьмом месте. Нет, я все-таки в "Новом Журнале" напечатал бы их первыми, даже впереди Жигаловой. Да, да, и впереди "Истоков" — не ругайтесь...

---

1. См. *Н. Ж.*, 81 (1965), 138, 139.

23.8.47

Огорчили Вы меня, дорогой Собрат! (так любил писать и говорить чудесный Боборыкин). Ежели бы я знал, что Кр[аснов] так хорошо рецензировал Ваши романы, я бы ни за что не предал его!

(Кажется, я уже писал Вам на этой бумаге и говорил, что это за бумага. Если нет, то дивитесь: куплена эта бумага в Москве, на Кузнецком Мосту, в английском магазине Шанкс, лет 35 тому назад!).

Получил письмо от Александры Львовны. Пишет приблизительно так: "денег в Толстовском Фонде" — или в Литературном, — ведь это, кажется, одно и то же, — "нет, все уходит в Германию и Австрию, но из Союза писателей будет послана некоторая сумма Н[адежде] А[лександровне] Т[эффи]... Я перегружена всяческой работой... Получила заказ написать био-

графию моего отца, работа эта очень тянет, но времени нет... М[ария] С[амойловна] пишет о посылках Н[адежде] А[лександровне] и мне. Н[адежда] А[лександровна] говорит, что она в восторге — "Помилуйте, будет у меня скоро сушеный горох!"

Нынче Н[адежда] А[лександровна] у нас обедает. Был у нее с неделю тому назад — была мила, как всегда, оживленна, но вдруг изменилась, сразу даже похудела в лице, полуприлегла на постель, закрыла глаза, потом взяла какой-то пузырек, поспешно проглотила какую-то пилюльку. Я испугался, жаль мне ее стало бесконечно... Слава Богу, скоро ей стало легче.

Вы пишете: "что ж мне хвалить Вас!". Нет, хвалите, пожалуйста хвалите! Ужасно рад нравиться Вам! А то ведь, если хвалит Адамович, это пол-радости, 1/4 радости — ведь он не читает меня, едва знает, да и какой-же он "любитель словесности", главное — художества (т. е. настоящего) — она ему нужна как прошлогодний снег! Итак низко и благодарно кланяюсь Вам. Что иногда, да даже и частенько, я "мрачен", это правда, но ведь не всегда, не всегда. Я сейчас, благодаря Вам, стал перечитывать свое "Собрание" (изд[ание] Петрополиса), кое-что правлю (чуть-чуть) и, поправив книжку, надписываю подурачки на ней: "Для нового издания!" — потому подурачки, что не видать мне как своих ушей этого нового издания при жизни (да и после смерти-то будет ли оно такое, какое мне было бы нужно: ведь где ж издадут, кроме Москвы, ну а Москва есть Москва, чтоб ей в тартарары провалиться!). Да, так вот я и хотел сказать: наряду с "мрачным" сколько я написал доброго, самого меня порой до слез трогающего! Впрочем, Вы и сами соглашаетесь, что я разнообразен. Насчет народного языка: хоть Вы и жили только в Волынской деревне, — и как жили, Бог мой! — *такой* писатель, как Вы, с таким удивительным чутьем, умом, талантом, конечно, не может не чувствовать правды и языка великорусского, и пейзажа, и всего прочего. И опять я рад Вашим словам об этом. Только я не понимаю, чему Вы дивитесь. Как я все это помню? Да это не память. Разве это память у Вас, когда Вам приходится говорить, напр., по-французски? Это в Вашем естестве. Так и это в моем естестве — и пейзаж, и язык, и все прочее — язык и мужицкий, и мешанский, и дворянский, и охотничий, и дурачков, и юродов, и нищих — как в Вас рус-

ский (и теперешний и разных старинных людей Ваших романов, и французский, и английский). И клянусь Вам — никогда я ничего не записывал; последние годы не мало записал кое-чего в записных книжках, но не для себя, а “для потомства” — жаль, что многое из народного и вообще прежнего языка и быта уже забыто, забывается; есть у меня и много других записей — лица, пейзажи, девочки, женщины, погода, сюжеты и черты рассказов, — которые, конечно, уже никогда не будут написаны, — я, верно, “уже откупался”, как говорил Толстой в свои последние годы про свое “художественное” (и, увы, все еще писал кое-что, что больно и совестно читать — “от нее все качества”, например), — но и тут: клянусь, что 9/10 этого не с натуры, а из вымыслов: лежишь, напр., читаешь — и вдруг ни с того ни с сего представишь себе что-нибудь, до дикости не связанное с тем, что читаешь и вообще со всем, что кругом. И опять, опять твержу (бесстыдно хвастаясь и, верно, уже будучи тем противен Вам): как 9/10 *всего* написанного мною на 99 процентов *выдуманно*, так и “Игнат” и “Хорошая жизнь” выдуманы: был, напр., у нас на деревне подросток пастух, про которого говорили, что он в поле на коров “лазит”, — вот почти и вся правда, от которой пошла выдумка “Игната”; ходила к нам, “на барский двор”, одна баба, жена мелкого деревенского торгаша (вся его лавка была в большом сундуке), женщина бойкая, пронзительная, говорливая, соединил я ее не то с Ельцом, не то с Ефремовым — отсюда и пошла “Хорошая жизнь”...

Почитал Лескова: да, крайне богатый, замечательный писатель, но никак, почти никогда (а м. б. и никогда) не дающий чувства, что читаешь художественное (или, как в старину говорили, “поэтическое”) произведение — вспомните-ка рядом с этим, напр., “Казаки” или даже божественное “Путешествие в Арзрум”, где ведь рассказывается только действительное, а меж тем...

Отзывом Тургенева о Дост[оевском] и Т[олстом] Вы меня все-таки поразили! Зависть? Вполне возможная, но ведь только к Т[олстому], а не к Дост[оевскому]? Что до моего места в “Нов. Журнале” рядом с Дост[оевским] и Т[олстым], то уступаю только Т[олстому], а Достоевскому... са депан...

Низко кланяюсь Татьяне Марковне, рад, что и она меня читает (хотя чувствую, чую — она не столь добра к моим писа-

ниям как Вы). Адрес Павловских: 9, Place Maleherbes, Paris 17, телефон Wagram 42-22... Зажимаю Вас в объятия.

Ваш Ив. Бунин

27.8.47

Милые американцы, кланяюсь Вам и прошу при случае написать два словечка: каковы Ваши планы? Будете ли в Париже и, если да, то когда и надолго ли? Не думаете ли совсем покидать нас в некий срок? (Пожалуйста, не надо!) И еще: что и когда напечатаете Вы, дорогой друг, в "Нов. Журнале"? Вот пока и все.

Ваш Ив. Б.

28.8.47

Дорогой Марк Александрович, посылаю Вам две книжки Г[алины] Н[иколаевны] Кузнецовой: будьте добры, когда Вам нужно будет по своим делам зайти в Церк[овную] Библиотеку, передать их — как мой скромный подарок. Если Бог даст быть в Juan-les-Pins, привезу для библиотеки еще кое-что, книжек 10-15.

Когда в Италию?

Поклон от нас Вам обоим.

Ваш Ив. Б.

[Алданов Бунину]

31 августа 1947

... Раза три прочел Ваше длинное письмо. Вдруг когда-нибудь, когда мы оба уже будем пить нектар в *тех* Елизейских полях (а лучше бы подольше в *этих*, и не нектар, а что-нибудь более знакомое и проверенное), вдруг это письмо будет напечатано, — кем? где? когда? Что скажет критика? Думаю, она удивится: почему И. А. Бунин точно огорчился от вопроса, писано ли им хоть что-либо с натуры? Мне казалось, что как бы замечательна ни была Ваша глазная память, Вы кое-что в русском пейзаже должны были писать на месте. Ведь так же делали и все великие художники: и пейзажисты и портретисты, — писали с натуры, хотя у них зрительная память должна была быть потрясающей. То же относится и к необычным, неожиданным народным выражениям, — я думал, что Вы их иногда записывали.

Сколько ведь таких записей осталось от самых больших писателей. И Толстой записывал, как записывал он и другое, вроде тени орла на скале (для "Хаджи-Мурата"). Как бы то ни было, результатов Вы достигли изумительных, непревзойденных, а как Вы их достигли, это ведь и не так важно. Зато меня чрезвычайно огорчило, что Вы себя считаете уже "откупавшимся". Что же ссылаться на вещи престарелого Льва Николаевича? Если они нехороши, то не от старости, а от того презрения к художественному делу, какое у него создалось в последние годы. Помните, что он между "Войной и Миром" и "Анной Карениной" написал слабую комедию "Нигилист", хотя тогда был в расцвете сил. В ту пору это объяснялось верно "тенденцией", — разоблачу-ка их, а для этого настоящее искусство не нужно; на старости это объяснялось "проповедью" — сделаю их добрее, а для этого настоящее искусство и не нужно. Однако некоторые несравненные главы "Воскресенья" и "Хаджи-Мурата" были им написаны в старости. Но главное, скажу правду, я не понимаю, чем же Вы теперь живете, не в материальном, конечно, а в высшем смысле слова, если больше и писать не хотите. У Толстого было "толстовство", а что же есть у Вас? Я спрашиваю и только спрашиваю, потому что меня вопрос этот очень волнует. Если хотите сделать тысячам людей (больше же всего мне) великую радость, то пишите второй том "Жизни Арсеньева". А уж потомство рассудит, откупались ли Вы к 1947 году или нет<sup>1</sup>.

Насчет Тани Вы ошибаетесь. Она вчера еще мне говорила, как изумительно написана и как взволновала ее на ночь "Хорошая жизнь"...

---

1. См. *Н. Ж.*, 81 (1965), 139, 140, 126.

2 сент[ября] 47 г.

Получил Ваше письмо от 31 авг[уста], дорогой друг. Очень рад, что в Америку едете Вы еще не скоро и не совсем. Очень, очень завидую Вашей поездке в Италию, всегда с болью думаю, что уже никогда не видать мне ее больше! Как нельзя более верю, что будет еще один Ваш чудесный рассказ итальянский, равно как и в то, что "Истоки" будут иметь огромный успех на всех иностр[анных] языках. "Астролога" буду ждать с нетерпе-

нием. Что новый роман Газданова<sup>1</sup> "очень хорош", сомневаюсь — читал отрывки его. Вообще Г[азданов] молодец — навострился писать порядочно, но удивительно мертво, литературно, усыпительно-гладко-текуче и всегда похоже на перевод.

Будущий критик удивится, прочтя мое письмо к Вам, почему Бунин "точно огорчился от вопроса, писано ли им хоть что-нибудь с натуры"? Удивится-не удивится, но это так: огорчаюсь. В молодости я очень огорчился слабости своей *выдумывать* темы рассказов, писал больше из того, что видел, или же был так лиричен, что часто начинал какой-нибудь рассказ, а дальше не знал, во что именно включить свою лирику, — сюжета не мог выдумать или выдумывал плохенький... А потом случилось нечто удивительное: воображение у меня стало развиваться "не по дням, а по часам", как говорится, выдумка стала необыкновенно легка, — один Бог знает, откуда она бралась, когда я брался за перо, очень, очень часто еще совсем не зная, что выйдет из начатого рассказа, чем он кончится (а он очень часто кончался совершенно неожиданно для меня самого, каким-нибудь ловким выстрелом, какого я и не чаял): как же мне после этого, после такой моей радости и гордости, не огорчаться, когда все думают, что я пишу с такой реальностью и убедительностью только потому, что обладаю "необыкновенной памятью", что я все пишу "с натуры", то, что со мной самим было, или то, что я знал, видел! *Всякая* "натура" входила в меня, конечно, всю жизнь и очень сильно, но ведь одно дело сидеть и описывать то дерево, что у меня перед окном, — или заносить в записную книжку кое-что об этом дереве, — и совсем другое дело писать "Игната", сидя на Капри: неужели Вы думаете, что для того, чтобы написать зимнюю ночь, в которую Игнат шел с вокзала в свое село, в Извалы, я вынимал записные книжки? Разумеется, я иногда кое-что записывал в свои дневнички — и погоду, и пейзажи, и людей, и народный и всяческий другой язык, но ведь так мало, так редко, и пользовался этим и того меньше и реже. Разумеется, как было не записать что-нибудь *иногда!* Мужик, напр., говорит: "А Бог ее знает, как эта Москва *веществует*, — мы ее не знаем!" — *подобное* нельзя было не записать или не запомнить. И еще: я совсем не говорю, что у меня нет рассказов "с натурой" — несколько *есть, есть*, — вот,

напр., сейчас вспомнил рассказ "Древний человек" и еще кое-что подобное. Но большинство — сплошная выдумка... Но довольно об этом, извините, что опять надоедаю Вам собою. А "Нигилист", "от нее все качества" и прочее в этом роде для Толстого все-таки нечто непростительное. А чем я живу теперь "в высшем смысле слова" — об этом очень трудно говорить. Больше всего, кажется, чувствами и мыслями о том, чему как-то ни за что не верится, что кажется чудовишно-неправдоподобным, изумительным, невозможным, а между тем дьявольски-непреложным, — о том, что я живу как какой-нибудь тот, к которому вот-вот войдут в 4 ч. 45 м. утра и скажут: "мужайтесь, час ваш настал..."<sup>2</sup>. Очень благодарю Вас, дорогой мой, за добрые слова о "Жизни Арс[еньева]", но, право, я кажется, "откупался" навсегда. Карпович прислал мне очень сердечное письмо, просит что-нибудь для следующ[ей] кн[иги] "Нов. Журнала", но не вижу ничего подходящего в своем "портфеле".

Очень рад, очень рад, что "Хорошая жизнь" "дошла" до Татьяны Марковны, читателя, как мне кажется, очень требовательного.

Целую ее руку, а Вас "в плечико", как любил говорить Дон Аминадо, столь удивительно где-то исчезнувший.

Ваш Ив. Б.

P. S. Вы меня, повторяю, натолкнули на перечитывание собрания моих "писаний", и вот я уже 6 книг перечитал. Поражен "Деревней" — совсем было возненавидел ее (и сто лет не перечитывал) — теперь вдруг увидел, что она на редкость сильна, жестока, своеобразна. В "Игнате" нашел вчера дикую чепуху: 10 лет тому назад, читая корректуру, я зачеркнул в одном месте описания морозной ночи и палисадника, где стоял Игнат, слово "зеленоватый", заменил его словом "зеленый" и, для пушей силы, написал для типографии *на полях*: Не "зеленоватый", а "зеленый"! И типография взяла да и всадила это *в текст*! Получилось нечто столь идиотское, что я нынче ночью раза три просыпался в ужасе.

1. "Призрак Александра Вольфа"

2. В предисловии к книге Бунина "О Чехове" Алданов напечатал пассаж от "А чем я живу..." до "...час ваш настал".

[Алданов Бунину]

12 сентября 1947

... Рассказ "Астролог" Вы напрасно хвалите в кредит. Я его испортил тем, что с самого начала взял какой-то неправильный, немного иронический тон. Итальянский мой рассказ будет, кажется, лучше. 16-ая книга "Н. Журнала" выходит, по-видимому, около 20 сентября, — так мне писала Марья Самойловна...".

15.IX.47

Дорогой товарищ писатель, я прочел 2 "советских" книжки — одну в стихах — "Василий Теркин" Твардовского — и другую в прозе, какого-то К. Паустовского (пожилой человек, интеллигентный), в которой есть рассказ "Корчма на Брагинке", — и в совершенном восторге и от "Теркина" и от "Корчмы"! Совершенная редкость в этой "советской" литературе! Не читали ли?

По странной случайности — нынче Ваше письмо об архиве в Америке, а вчера разговор с Полонскими, которые угощали нас с В. Н. в "Courtois", насчет того, что следовало бы мне списаться с Зензиновым и отправить кое-что из моего "архива" в Америку. Мой "архив" невелик и, думаю, не очень интересен, — я ведь не Вы, человек довольно беспутный, — но все-таки не хотелось бы, чтобы погибло множество писем ко мне многих видных и некоторых даже и весьма видных людей, целый сундук критик обо мне, моих портретов...

С кем же мне списаться об этом? С Зензиновым или с Николаевским (который, верно, уже вернулся в Америку)? Или же лучше всего было бы, если бы Вы разузнали все это дело, раз Вы и сами подумали о своем новом архиве (который, конечно, гораздо ценнее моего и на этот раз уже непременно должен быть в надежном месте)?

Страшно рад, что Вы так много читаете и пишете!

Что за граф Готье Виньяль, что-то не соображу — то ли оттого, что вчера выпил лишнее, то ли от жары, которая опять стоит у нас уже несколько дней.

Мако? Несчастный человек — пьяница и связался с молоденькой (вероятно, сучкой)! И неужели Вы дались ему позировать? Он, кажется, мучит тех, кого пишет, без конца, без стыда

и совести?

Никак не ожидал, что так трудно попасть в Италию. Дай Бог, чтоб Вам удалось, — и для Вашего рассказа и для того, чтобы мы могли послушать Ваши впечатления о ней. Я совершенно не представляю себе, что там сейчас. Неужели и там дело кончится "товарищами"?

Нынче письмо от Телешова писал вечером 7-го сент[ября], очень взволнованный (искренно или притворно, не знаю) дневными торжествами и вечерними электрическими чудесами в Москве по случаю ее 800-летия в этот день. Пишет, между прочим, так: "Так все красиво, так изумительно прекрасно и трогательно, что хочется написать тебе об этом, чтобы почувствовал ты хоть на минуту, что значит быть на родине. Как жаль, что ты не использовал тот срок, когда набрана была твоя большая книга, когда тебя так ждали здесь, когда ты мог бы быть и сыт по горло, и богат и в таком большом почете!" Прочитав это, я целый час рвал на себе волосы.

А потом сразу успокоился, вспомнив, что могло бы быть мне вместо сытости, богатства и почета от Жданова и Фадеева, который, кажется, не меньший мерзавец, чем Жданов. Я ведь даже Пантелеймонова недавно предостерегал насчет его "Зеленого шума" (книжка, где рассказы об урмане (тайге), о пароходе "Святой Владимир" и т. д.):

Зеленый шум, зеленый шум...  
 Как много он наводит дум!  
 Читая, чувствуешь вопрос:  
 Где ж пятилетка? Где колхоз?  
 "Святой Владимир", шум, урман...  
 Сплошной ахматовский дурман!  
 За этот шум, ядрёна вошь,  
 В Колым в два счета попадешь!

Что за ядрёна вошь, Вы, верно, знаете: это из рассказа Корякова (в "За свободу") о Ясной Поляне — как мужики ждут там хлеба из Тулы и кричат, чуть не плача от радости, завидя подводы с хлебом на дороге: — Хлебушка, хлебушка везут, ядрёна вошь!

Ну, целую Вас, мои дорогие Алдановы.

Ваш Ив. Б.

P. S. В Москве ставят памятник Юрию Долгорукову. А Павла Дм[итриевича] Долгоруков[ова] расстреляли в июле 27 г., а Петра увезли из Праги — куда? (в 45 г.).

16 сент[ября 1947]

Вчера вечером был у нас Алексей Струве с женой и сказал, что Николаевский только что приехал из своей второй поездки в Германию и хочет видеть меня. Вот как удачно выходит насчет архива. После свидания с ним тотчас напишу.

Еще раз поклон Вам и Т. М.!

Ив. Б.

P. S. Если нужно что-нибудь сказать Николаевскому от Вас, напишите поскорее.

[Алданов Бунину]

20 сентября 1947

... Это очень хорошо, что Вы повидали или повидаете Николаевского... Вероятно, он Вам рассказал о своем архиве. Думаю, что Вы должны были бы поставить ему условие: после того, как в России восстановятся человеческие, т. е. свободные, условия жизни, Ваши бумаги должны быть перевезены в Москву или в Петербург. Ведь в самом деле, в Нью-Йорке историков-литературоведов и сейчас (русских) почти нет, а со временем их будет еще меньше. Так как они (Николаевский), вероятно, Вам ничего за Ваш архив не заплатят, то условие совершенно справедливо. То же самое могло бы относиться к другим. Так, например, Маклаков, Церетели, Зайцев верно согласились бы им отдать свои архивы. Мог бы отдать и я, но я это сделал бы только после смерти: т. е. оставил бы распоряжение, чтобы все мои бумаги были переданы архиву Николаевского. Спросили ли Вы его, считает ли он *совершенно* обеспеченным их дом в Нью-Йорке (7 Ист 15 стрит) и русское отделение в этом доме?

Книги Паустовского я не читал. Из "Василия Теркина" читал отрывки в "Новом Русском Слове", и мне тоже многое в них понравилось.

Почему Вы так ругаете Мако? Он милый человек, а молоденькая жена его просто прелесть. Позирую я ему терпеливо, он пишет третий портрет, да еще во время сеансов угощает

арманьяком. Иногда приходит туда и Адамович. Ему (Мако) очень хочется естественно написать Вас. Вы ни за что не согласитесь? Вас давно, кажется, не писали? Лишний портрет пригодится.

Забыл спросить у Готье Виньяля, где он Вас видел...

7.X.47

Дорогой Марк Александрович, пишу Вам пером и чернилами из Америки — привезла в подарок С[офья] Ю[льевна] Прегель, могучая, энергичная, видел ее у Тэффи, где она говорила без умолку — между прочим, конечно, и о русских в Нью-Йорке, как о предателях России, но никого в отдельности, — в отличие от своего супруга, бывшего у меня в прошлом году, — бандитами не называла.

Пишу — и первым долгом прошу простить за столь поздний ответ: без вины виноват, очень плох все последнее время, часто задыхаюсь — и часто охватывает страх: как-то я буду читать 26 окт[ября]? Затем, сообщаю Вам нечто для меня весьма горестное: в "Рус[ский] Дом" мы не поедем, ибо из-за милого характера пана Роговского Ник[олай] Иванович (Протасов) подал в отставку, а д-р Беляев и Софья Никитишна уже сняли себе 2 комнаты в "Рус[ском] Доме" в Ментоне; Надежда Александровна [Тэффи] тоже, конечно, не поедет. Так что куда нам деваться на скверные парижские месяцы, "один Аллах ведает".

Когда Вы в Италию? М. б., уже уехали? И когда в Париж? Ничего о Вас не знаю — у Полонских сто лет не был — путешествие трудное, далекое по моей немощи!

Николаевский был у меня, после чего вскоре уехал в Голландию, откуда и отправится, теперь, конечно, уже отправился, — в Америку. Обещал написать об архиве подробно.

Мако я не "ругал" — писал Вам о нем полшутя. А как портретист он, кажется, и впрямь большой мучитель, пишет еще бесконечнее Сорина (который, к моему великому удивлению и негодованию, женился, старый чёрт, на Анне Степановне Цейтлин).

Завидую Вам — Вы все с герцогами! А кто такой Готье Виньяль, и доселе не знаю. Не знаю и того, как этот мир обойдется без войны да еще при "новом" Коминтерне.

Тем, что Вы не завтракаете и не обедаете, в подражание Виндзорскому, огорчен; что встаете в 6 утра, изумлен и восхищен.

Очень жду Вас! А пока "с пламенным приветом" Вам и Татьяне Марковне.

Ваш Ив. Б.

P. S. Прочел в "Новом Мире"<sup>1</sup> статью какого-то Чарного об Алеше Толстом, до небес его превозносящую. И опять ахнул: какой сказочный негодяй был этот Алеша! М. пр., он писал в своей автобиографии: "Время эмиграции было для меня самым страшным, тяжким во всей моей жизни".

---

1. "Он еще как-будто среди нас, живой и общительный, талантливейший писатель и большой государственный деятель, интереснейший собеседник и автор, трудящийся над каждой страницей своей новой вещи, передельывающий и передумывающий, постоянно ищущий новое. И в то же время сегодня уже отчетливо видно, каким значительным и своеобразным явлением вошел Алексей Толстой в историю советской литературы, один из ее любимейших писателей". (М. Чарный, "Алексей Толстой", *Новый Мир*, 6 (1947) )

Понедельник<sup>1</sup>

Милые, дорогие, не понимаю, что с Марьей Самойловной: Зайцев переслал мне копию ее письма ко мне *не* в запечатанном конверте! Зачем нужно было ей, чтобы Зайцев знал все столь странное содержание этого письма?

Целую Вас. Ваш Ив. Бунин

---

1. Почтовый штемпель: 29 Dec. 47.

# ЖЕНСКИЙ КОНЦЛАГЕРЬ

## СУДЬБА ЭМИГРАНТКИ

31 октября 1956 г.

...Проходили дни. Я говорила дежурным, что меня будут судить в Харбине. Они улыбались, отрицательно качали головами, утверждали, что никого еще не судили в Харбине. В этом они оказались лучшими юристами, чем их следователи и судьи, ибо, действительно, тайно судить людей на территории чужого государства, а затем вывозить их для отбытия наказания на свою, выражаясь мягко, — более чем странно. Но это, как я узнала позже в лагерях, происходило на территории *не одного Китая*. Мое дело открыло сессию Военного Трибунала в Харбине.

Утром 4-го января дежурный Гриша, войдя в камеру, сказал мне тихо, не глядя в глаза:

— Оденьтесь потеплее, Вы сейчас пойдете на улицу.

Я сейчас же догадалась. Сердце мое забилося нестерпимо. — "На суд?"

Я шла по такой знакомой мне Почтовой улице по направлению к Новоторговой между двумя конвоирами с винтовками наизготовку, из которых один шел впереди меня, а другой — позади. Только что выпавший пышный снег и яркое солнце слепили. В ослабевшие от электрического света глаза набегали слезы. Голова мучительно кружилась от непривычного свежего воздуха и от волнения больного сердца. С тоской оглядывалась я по сторонам: хоть бы встретить кого-нибудь знакомого!

Мы пересекли Новоторговую улицу и вошли в дом Сименса-

Шуккерта, как его продолжали называть в Харбине по старой памяти, принадлежавший когда-то этой знаменитой немецкой электрической компании. Поднявшись по лестнице на третий этаж, причем я совершенно из-за моего сердца задохнулась, мы с площадки лестницы вошли в большую пустую квартиру.

Пройдя вестибюль, мы оказались в большой пустой комнате; откуда доносился шум веселых мужских голосов. На единственной некрашеной скамье сидело несколько весело шутивших красноармейцев. Мои конвоиры попросили их очистить для меня скамью, что они сейчас же и сделали. Меня усадили между моими двумя конвоирами. Смех и шутки несколько затихли. Солдаты не без сочувствия посматривали на меня, тихонько осведомляясь обо мне у моих конвоиров.

*19 ноября 1956 г.*

Около часа ожидала я в этой комнате, терзаемая невеселыми мыслями. Шум и смех солдат постепенно возобновились. Как странно было, что вот здесь же, в соседнем помещении, должна была сейчас решиться судьба человека, скорей всего — вопрос жизни и смерти. И тут же группа людей, может быть от природы совсем не злых, позабывших свое мгновенное сочувствие, весело смеется и шумит, а между ними сидит женщина со смертельной тоской на душе — и нет, никому нет дела до того, что, может быть, сейчас над нею будет вынесен смертный приговор.

Наконец, меня вызвали на заседание Военного Трибунала.

...Еще в камере в последние дни, и тут, во время ожидания в суде, я дала себе слово спокойно и гордо выслушать какой угодно приговор, хотя бы и смертный, в котором я сейчас совсем уверилась. Поэтому когда Военный Трибунал меня вызвал, я встала с гордо поднятой головой. Председатель Военного Трибунала объявил заседание открытым, и зачитал краткий приговор: мелькали слова с изложением моих деяний, а затем: "...на основании ст. 58 п. 10, ч. 1-я приговаривается к 10 годам исправительно-трудовых лагерей. Приговор кассации не подлежит".

Несмотря на то, что смертный приговор, которого я ожидала, не последовал, у меня было такое ощущение, будто на меня

обрушилась снежная лавина. Мне стало смертельно холодно, но я продолжала стоять так спокойно, что председатель Военного Трибунала, взглянув на меня с удивлением, спросил:

— Вы поняли приговор?

А секретарь суда, лейтенант, смотрел на меня с огромным детским любопытством.

— Поняла.

— Тогда объявляю заседание Военного Трибунала закрытым.

Я повернулась и вышла, не дожидаясь разрешения. На площадке лестницы я повернулась к моему конвоюру:

— Идем.

— Подождите, Вам еще придется подписать приговор.

Он указал мне на стул возле маленького столика, а сам сел на скамью. Опять началось ожидание. Вдруг на первом этаже раздалось что-то вроде взрыва. Мой конвойр вскочил и перегнулся через перила.

— Трубы лопнули! — с радостным возбуждением крикнул он и бросился вниз, оставив меня одну (должно быть, где-то недалеко находился второй конвойр, но я его не видела).

Я слышала, как солдат постучал внизу в квартиру д-ра Серебрякова, сообщая, что лопнули трубы; у нас в городе это часто случалось за последний год из-за недостатка угля — и как его поблагодарил женский голос. Оживленный и заинтересованный происшествием, солдат вернулся ко мне, с увлечением говоря об этом, а я смотрела на него и думала:

— Как он может говорить о каких-то трубах только что приговоренному человеку!

Наконец, вышел секретарь-лейтенант и дал мне подписать бумажку о том, что приговор мне сообщен.

Конвойному он сказал:

— Скажи старшому, чтобы послал ее бумаги в Россию.

Я мысленно отметила его "в Россию" вместо естественного "СССР". Думаю, что это был "галантный" жест в мою сторону.

*3 декабря 1956 г.*

На другой день после осуждения, когда моя душа все еще была, как обнаженная рана, мое одиночество было внезапно нарушено — и самым неприятным для меня образом. Вечером послышались голоса в коридоре, загрохотал замок и в камеру была впушена перепуганная молодая японка. Как мышь шмыгнула она на одно из татами.

Я видела, что она в смертельном страхе. Кроме страха перед советскими властями, арестовавшими ее, самое помещение легендарной жандармерии, по-видимому, внушало ей ужас. Я пыталась заговорить с нею по-русски, по-английски и по-немецки, но она не знала ни одного из иностранных языков. Она, по-видимому, изучала меня, стараясь понять, подвергалась ли я пыткам и в чем секрет моего (увы, только наружного!) спокойствия.

Когда мы легли спать и я, наконец, стала дремать, я почувствовала на себе взгляд японки. Увидев, что я открыла глаза, она закрыла свои. Но всю ночь я чувствовала на себе ее перепуганный, пытливый взгляд. Мне было искренне жаль эту молодую японку, но она невыносимо действовала своим страхом и навязчивой пытливостью на мои обнаженные нервы.

Когда наутро дежурный пришел ее звать к врачу на медицинскую "комиссовку" и сказал ей об этом по-русски, сделав ей жест, чтобы она шла с ним, она посерела от ужаса, думая, очевидно, что ее зовут на пытку. Ноги ее точно приросли к полу, она не могла сделать ни шагу.

— Да скажите вы ей, что я ее зову к врачу, — попросил дежурный.

— Попробую, но я говорю по-японски так же, как и вы.

Вспомнив, что слово "доктор" стало международным, я потыкала пальцем в направлении японки, а потом в дверь, повторяя:

— Доктор, доктор.

И она поняла. Лицо японки внезапно просияло, с него сошло дикое, унижающее человека, выражение ужаса. Она закивала головой и, доверяя мне, охотно пошла с дежурным.

Вскоре она вернулась и улыбнулась мне. Все же ее неизбывный страх, изучение меня по ночам и старание во всем подра-

жать моему поведению, измучили меня за те двое суток, что она провела со мною, и я вздохнула с облегчением, когда ее, — как я думала тогда, — пришли выпускать на волю. Значительно позже я решила, что ее просто увезли куда-то, вероятно, для того, чтобы судить вместе с какой-нибудь группой японцев.

*10 декабря 1956 г.*

Я уже писала, как я удивилась, когда перед тем, как войти в первый раз в тюремную камеру, я услышала веселый женский смех, раздававшийся оттуда. Мне было суждено еще более удивиться, когда через несколько дней после суда и увода японки, в коридоре раздались голоса и опять веселый молодой женский смех. Еще лучше: только что арестованная весело смеялась!

Через несколько минут дверь отворилась и на пороге появилась высокая, довольно полная молодая женщина, в нарядной меховой шубке, пристегнутом брошкой под подбородком и распушенном по спине оренбургском платке и тонких шевровых сапогах. На шее у нее было модное шанхайское позолоченное монисто. Девушка была того же типа в смысле внешности, что и "погибшее, но милое создание" Лена, и тоже хорошенькая, хотя и не так очаровательна, как та. Войдя, она приветливо и весело поздоровалась со мною и сразу стала рассказывать о себе.

Она представилась: "Нина Воевода". Нина оказалась дочерью бывшего стрелочника КВЖД, с которым еще в раннем детстве Нины произошел несчастный случай: поездом отрезало обе ноги. Китайская дорога так щедро вознаградила своего служащего за это несчастье, что этих денег вместе с пенсией всей семье, состоявшей из отца, матери и Нины, хватило на то, чтобы в дальнейшем жить всю жизнь без заработка отца. Родители купили домик в дачной местности возле Харбина за рекой Сунгари в Казенном Затоне, и, как все затонские жители, развели небольшое хозяйство.

Нина училась в гимназии (не помню, окончила ли), а затем — парикмахерскому делу и по окончании учения стала работать в парикмахерских сперва Харбина, а затем ряда пограничных и провинциальных китайских городков. Так как семья была вполне обеспечена, Нина могла тратить все свои заработки на наряды.

Осенью 1945 года, вскоре после прихода советских войск, она сошлась с одним советским офицером, и так как воинская часть ее мужа была переведена в Мукден, она уехала с ним туда. Сейчас она приехала к родителям погостить на Рождество, и должна была на этих днях вернуться к мужу в Мукден, и вот ее арестовали.

Так же, как сидевшую со мною прежде официантку Лену, которую из всего факта ее ареста интересовало только то, успеет ли она освободиться во-время, чтобы встретить Новый Год с "женихом", так и Нину, кажется, в первые часы после ее ареста больше всего беспокоила судьба двух тортов, которые она заказала в кондитерской, где они только что появились после двух-трех лет отсутствия.

— Как жаль, мама даже не сможет их получить без квитанции. Хоть бы родители их съели — все возвращалась она к вопросу о злополучных тортах.

У Нины был хороший слух и приятный, свежий голос. От своего мужа, бывшего в мирное время завклубом, она научилась целому ряду советских песен. Она пела "Катюшу", "На позицию девушка провожала бойца", "Осенний вальс". Я постоянно ее просила: "Пойте, пойте, Нина", и она охотно исполняла мою просьбу.

Известно, что мотив, как и запах, как и случайно сказанное слово, даже интонация, может воскресить целые картины прошлого. Когда моя соседка пела, мне было приятно, ее песни развлекали меня. Но когда я в последующие годы, даже еще в заключении, слышала некоторые из Нининых песен, — острая, шемящая тоска охватывала меня: передо мною вставало харбинское КПЗ, наша камера и невыносимая душевная боль эпохи следствия и суда.

Эти дни оставили в душе неизгладимые шрамы, тяжелую душевную травму. Такие раны ни у кого никогда не заживают.

*15 декабря 1956 г.*

Нина Воевода тоже оказалась своего рода "ящиком Пандоры". В некоторых отношениях образ ее жизни удивлял меня еще больше, чем жизнь прелестной официантки ночного кабаре.

У Нины были и отец и мать и, в скромных пределах мешанской пригородной жизни, — полная обеспеченность. У нее была очень прибыльная профессия — она была дамским парикмахером, и все свои заработки имела возможность тратить исключительно на свои наряды. Жить бы ей да жить у своих родителей, в собственном домике, ходить по вечерам со знакомыми молодыми людьми гулять по Китайской, или в кино и театры. Но у Нины была душа, жаждавшая приключений, да и коготок, видимо, где-то увяз.

К такому заключению я пришла потому, что эта молодая, хорошенькая девушка, вместо того, чтобы жить у родителей в большом, оживленном и культурном Харбине, в последние годы по собственному выбору жила и работала в парикмахерских даже не на станциях КВЖД, где везде поселки с русским населением, а в каких-то глухих китайских пограничных городишках, где зачастую единственной европейкой была она сама. Что могло в них прельщать девушку ее типа?

Однажды ее выписал на работу в какой-то глухой китайский городишко хозяин корейской парикмахерской, и Нина поехала. Она очень весело рассказывала о своих злоключениях, пока она, не зная ни китайского, ни корейского языков, разыскивала эту парикмахерскую.

— Но, Нина, вы же, взрослый человек, все же должны были понимать, что 99% шансов было за то, что это окажется не парикмахерская, а публичный дом! — Нина весело рассмеялась. — Но это все-таки оказалась парикмахерская. И там все ко мне хорошо относились.

Все же эта необычная Нинина парикмахерская деятельность привлекла внимание Я.В.М., для которой, как мне казалось, Нина именно и работала. Но однажды эти ее предполагаемые мною хозяева заподозрили ее в том, что она работала и для ...

Нынешний арест Нины был вызван следующим обвинением: ее обвиняли в том, что за несколько лет до этого она была завербована одним армянином, который, под видом хозяина парикмахерской, был на секретной японской службе. Этот армянин, будучи арестован, сам дал такие показания...

*21 декабря 1956 г.*

После моего осуждения дни в нашем подземелье тянулись все так же однообразно. Так как моя судьба была уже безнадежно решена, я могла не волноваться из-за допросов, но глубокая тоска и безнадежность охватывали меня, когда я думала о будущем этапе и моей будущей жизни в тюрьмах и лагерях. Предстоящее расставание с Харбином тяжелым камнем лежало на душе. Я не смогу даже проститься с друзьями, с любимыми местами, где прошла вся моя молодость, большая часть моей жизни...

С того дня, как я попала в тюрьму, я приколкой от волос каждый день отмечала черточку на одном из крашенных деревянных столбиков оконного заграждения. Мой календарь сослужил мне хорошую службу: благодаря ему я не сбивалась со счета дней и через вновь поступающих проверяла правильность дат. А даты допросов я сохраняла в своей тогда еще очень хорошей памяти.

"Правилами внутреннего распорядка КПЗ" было строго запрещено делать какие-либо надписи на стенах. Но надписи, сделанные до моего поступления, все-таки были, и дежурные ворчали по поводу них. Что касается моего календарика, то дежурные или не видели его, или делали вид, что не видят.

Когда меня, наконец, вызвали на этап, я подсчитала черточки моего календаря, уже сведенные в группы по неделям: их было 83 — значит, два месяца и двадцать три дня просидела я в нашем подземелье, из них полтора месяца (с 4 января по 19 февраля) — после осуждения.

С тоской ожидала я вызова на этап. Я знала, что это неизбежно, да и, в конечном счете, лучше для меня. Сколько же еще мне предстоит сидеть в этом подземелье без света и воздуха? Нужно было, чтобы наступил какой-нибудь конец этому неопределенному положению.

*16 января 1957 г.*

19 февраля утром, кажется, еще до завтрака, дежурный Гриша пришел мне сказать, чтобы я собиралась на этап. Сердце мое бешено забилося. Вот он, момент окончательного расставания.

ния с моей прежней жизнью, с родными, которые хотя и находятся за океаном и отделены от меня тремя с половиной годами японо-американской войны, но с которыми я надеялась вот-вот возобновить переписку и к которым я думала, наконец, уехать.

Прощай, любимый Харбин — как бы продолжение моей родины! В тебе и в Манчжурии, освоенных и созданных русскими людьми, я не чувствовала себя до такой степени на чужбине, как чувствовала себя в Европе западнорусская эмиграция. В Харбине я жила с 17-летнего возраста, здесь я закончила среднее и получила высшее образование, здесь я делала первые неуверенные шаги по трудным, но светозарным путям науки и преподавания на факультете, здесь, наконец, я стала журналисткой. Здесь, в Харбине, я обрела дорогих друзей. Пока я сидела в заключении в Харбине, на расстоянии всего нескольких кварталов от дорогих мне людей и мест, не такой еще безнадежной казалась мне разлука с ними.

Мне, не в пример многим другим, суждено было отсидеть не только весь мой 10-летний срок, но еще и полгода после его окончания. Я об этом не жалею теперь: мое заключение много дало моей душе и, кроме того, дало мне материал для написания этой книги. Есть книги, которые пишутся чернилами; а есть такие, которые пишутся слезами и кровью. И если этих слез и этой крови недостаточно, то и книга не будет написана...

В страшном возбуждении ходила я взад и вперед по камере в ожидании вызова. Родина, родина, любимая, страшная — как-то ты меня встретишь? Тюрьмой, да этапами, пересылками, да лагерями. Так ли я думала вернуться на родную землю из изгнания, обнять первую русскую березку, земно поклониться родине? Без слез я, такая скупая на слезы, не могла думать об этом возвращении, но не таким я его себе представляла, каким оно окажется сейчас.

Взволнованная, потрясенная всеми этими мыслями, услышала я шаги в коридоре, остановившиеся у моей камеры. Дверь с грохотом распахнулась. На пороге стоял молодой офицер с бумагами в руках. За ним виднелся дежурный Гриша. Спросив мою фамилию, имя и отчество, статью, пункт и срок (сколько раз впоследствии мне приходилось отвечать на эти вопросы!), —

офицер сказал мне:

— Выходите.

Обведя в последний раз глазами мою камеру, в которой так много было пережито, и с трудом подняв тяжелый для меня неуклюжий узел, я вышла из камеры, показавшейся мне в тот момент тихим приютом по сравнению с тем бурным, неизвестным будущим, что было впереди. Проходя мимо Гриши, который с сочувствием смотрел на меня, я протянула ему руку со словами:

— Спасибо сердечное Вам и передайте мою искреннюю благодарность всем Вашим товарищам за доброту всех вас ко мне.

Гриша на мгновение смутился за такое нарушение дисциплины в присутствии офицера, но все же пожал мне руку. Лишь впоследствии, начиная с иркутской пересылки, я поняла, какую неприятность я могла причинить Грише, поблагодарив его за доброту в присутствии его начальства, когда я услышала, как дежурные просили заключенных никогда их не благодарить в присутствии начальства, так как им за это бывают большие неприятности. Еще много лет спустя, вспоминая эту сцену, я упрекала себя, почему я не поблагодарила Гришу наедине в тот момент, когда он меня предупредил об этапе. Правда, я так взволновалась, а он сразу ушел, что я как-то не подумала об этом.

Итак, неся мой узел, я пошла по коридору, и когда открыли наружную дверь, через вестибюль я по ступенькам вышла на заднее крыльцо здания, с которого четыре раза в сутки выходила во двор.

Там меня встретило неожиданное зрелище.

Около высокого крыльца стоял грузовик, задняя стенка которого была снята и положена в качестве мостика между крыльцом и грузовиком. Лишь впоследствии, много раз взбираясь на этажах в грузовики прямо с земли, я поняла, что это была любезность, редкая забота о нашем удобстве.

На дне грузовика сидело пять понурых мужских фигур в японских военных шинелях и меховых шапках, надвинутых на глаза. Головы у них, очевидно, по приказу, были так низко опущены, что лица разглядеть было невозможно. В первый момент

кровь у меня закипела. Почему меня посылают куда-то с военными японцами? Что за странное объединение? Но в следующую же минуту я решила, что это, может быть, и русские.

Вокруг трех боков грузовика, внутри, плечом к плечу, образуя живую стену, совершенно скрывавшую сидящих в грузовике, стояло человек двадцать пять — тридцать солдат с наведенными на заключенных автоматами.

— Идите по сходням на грузовик, — раздался чей-то повелительный голос, вероятно, сопровождавшего меня из камеры офицера. Я молча повиновалась. В грузовике, положив на пол мой узел, я села на него возле моих понурых спутников.

— Не так. Садитесь на пол.

Новое унижение. Пришлось сесть на грязный, холодный пол грузовика. Очевидно, боялись, чтобы наши головы не были выше загородки грузовика, хотя солдаты образовывали сплошную стену, совершенно скрывавшую нас от публики, а от нас — местность, по которой мы проезжали.

После меня в грузовик вошли еще три офицера, севшие на свои чемоданы, в том числе тот, который привел меня. За ними вскочило еще несколько солдат, втянувших за собой мостик. Автоматчиков стало человек тридцать плюс три вооруженных офицера — против пяти понурых фигур и одной слабой женщины.

— Один шаг в сторону конвой будет рассматривать как попытку к побегу, и применять оружие. Поняли? — раздался опять тот же металлический голос.

Ответа не последовало. Сколько раз в последующие десять лет мне суждено было выслушивать эту формулу, произносимую таким же голосом начальника конвоя, даже при хождении группы женщин, преимущественно старух, в баню за "зону" лагеря. Но в первый раз она произвела на меня неприятное впечатление.

Раздалась команда, грузовик тронулся. И тут один из солдат совсем другим, человеческим голосом воскликнул:

— А вон наши шенята играют!

Это были два щенка, жившие во дворе КПЗ, которым я часто бросала кусочки хлеба, когда меня вел по двору один из наших добрых дежурных, делавший вид, что он этого не заме-

чает.

Я повернула голову — мне захотелось в последний раз взглянуть на щенят. От толчка на каком-то маленьком ухабе стена солдат на мгновение покачнулась и раздвинулась, и я увидала вдаль на снегу два темных пятнышка — играющих щенят. В тот же миг я почувствовала на виске что-то холодное и круглое. Это было дуло револьвера!

— Не поворачивайте головы, — опять прозвучал металлический голос сидевшего на чемодане офицера.

Я не почувствовала никакого страха. Только лютый гнев вскипел во мне горячей волной. Офицер так и не убрал револьвера от моего виска до конца нашего пути.

С горькой тоской ехала я в последний раз по улицам любимого Харбина. Хоть бы увидеть одного знакомого, хоть бы один знакомый увидел меня! Но кто мог увидеть меня через эту сплошную человеческую стену?

Снаружи наш грузовик имел, вероятно, вид обыкновенного грузовика с солдатами. Должно быть, и мимо меня проезжали такие грузовики, пока я еще была на воле. Это была остроумная замена для заграницы "Черного Ворона" — тюремной кареты, в которой обычно возят заключенных. На ухабах, — а их в городе, мощеном асфальтом и каменными кубиками, немного, — головы солдат все же на какие-то мгновения разъединялись, и я в просветы видела то знакомый угол какой-то крыши, то знакомый карниз; наконец, увидала часы на фронте вокзала и поняла, что конец нашего пути близок. Мысленно прощалась я с милым Харбином. Но мы проехали вокзал и поехали дальше. "На товарную станцию" — догадалась я. Но мы, видно, проехали и товарную станцию, по крайней мере, когда мы остановились, зданий и складов поблизости никаких не было. Стояли составы, все пути были заняты ими.

Часть солдат выскочила из грузовика и ушла, как и двое из офицеров. Остался один лейтенант — довольно полный, упитанный молодой человек, брнет, — тот самый, который вел меня из камеры к грузовику и держал револьвер у моего виска.

*2-3 февраля 1957 г.*

Когда грузовик остановился, мне приказано было сойти первой, затем — отойти в сторону. После этого было приказано сойти пяти согнутым неизвестным фигурам. Когда они разогнулись и встали, все пять оказались русскими молодыми людьми. Я обратила внимание на одного из них, у которого было красивое, интеллигентное лицо.

Когда и они сошли с грузовика, мне было приказано идти, и тут же приказание было отменено. Затем были уведены молодые люди. Я осталась одна с офицером, все еще державшим револьвер в руке. Прошло минут десять. Офицер приказал мне перелезть через площадку товарного вагона на ту сторону стоявшего состава. Я молча повиновалась. С трудом подняв свой узел на площадку, я взобралась вслед за ним и, подняв его, собиралась уже спуститься на ту сторону, когда офицер, поднявшийся на буфера ближайшего вагона, решив, очевидно, что мне еще рано идти, приказал подождать на площадке вагона. Я опять молча повиновалась. Оказалось, как я потом убедилась (в такие минуты узнаешь черты своего собственного характера, которые тебе до тех пор самой были неизвестны) — что я, такая вспыльчивая, такая всегда готовая на протест против несправедливости, направленной против меня или другого человека, — в иные минуты, когда чаша переполнена, — мертвою, теряю дар речи, и лишь горячий гнев наполняет мою душу...

Наконец, офицер соскочил с буфера на ту сторону состава и велел мне сойти с площадки и идти впереди него. Мы пошли вдоль товарного поезда, стоявшего на следующем пути, и подошли к открытым дверям большой "американской" теплушки. В ее широких боковых дверях показался сержант-татарин, оказавшийся начальником конвоя.

Мне было приказано влезть в теплушку, но никакой ступеньки не было. Дверь находилась на уровне моей груди. Подняв с трудом узел, я втокнула его в дверь, а сама остановилась в затруднении. Мне помог сержант, протянувший мне сверху руку и буквально втащивший меня наверх.

Попав в теплушку, я оглянулась. Неожиданное зрелище опять предстало перед моими глазами. Оба конца большой теплушки были отгорожены и разделены на клетки, в которых

шевелились люди. В середине были устроены нары для конвоя и четырех ехавших в Россию офицеров, и стояли две железные печки "буржуйки".

Сержант, втащив меня, сказал мне что-то хорошим, человеческим голосом и повел меня мимо двух закрытых клеток с людьми в дальний угол вагона, который образовывал небольшую клетку, отделенную от соседней большой, где уже находились мои пять молодых спутников, глухой дощатой стеной. Молча стала я втискивать узел в собачье отверстие, а затем кое-как влезла сама. Благодаря моей тонкой фигуре и гибкости, мне не пришлось ложиться на живот и ползти, как неизбежно пришлось бы человеку более грузного сложения.

Оказавшись внутри, я влезла на нары, и сразу же офицер и сержант принялись забивать дощечками отверстие, причем забивали так крепко, длинными гвоздями, совещаясь и пробуя, достаточно ли прочно прибито, что я с недоумением подумала: "Забивают, как будто всю жизнь, до самой смерти, собираются продержать меня в этой клетке. А между тем, ведь это, наверно, только до отхода поезда".

Напротив меня, на другой стороне теплушки, были клетки с японцами. Я слышала их негромкий говор. Рядом помещались пятеро молодых русских людей, приехавших вместе со мною. Было часов одиннадцать утра. В полном оцепенении, не снимая шубы и фетровой шляпы, не постилая одеяла, просидела я, опустив голову, до самых сумерек, прощаясь с моей прежней жизнью.

Если бы мне тогда сказали, что хоть через 9 лет, в последний год моей лагерной жизни, я найду моих родных и буду переписываться с ними через открытки Красного Креста, а затем на воле, в инвалидном доме, буду получать от них письма и посылки — насколько легче было бы мне в те минуты. Но я этого не знала, как не знала и того, что в будущем протянутся ко мне ныне порванные нити, которые опять свяжут меня и с другими дорогими мне людьми, что я найду старых друзей, хоть и только путем переписки, и обрету среди страданий новых, которые будут мне не менее дороги, чем старые.

Ничего этого я не знала, и моя душа кровоточила.

Поезд маневрировал много часов подряд. Никто не думал о

том, чтобы нас накормить, но я не чувствовала голода. Совершенно измученная, постелила я на голые нары свое одеяло, полученное из дому, сняла шубу и шляпу и, укрывшись шубой, легла.

Наконец, поезд, прекратив свое бесконечное маневрирование, пошел своим настоящим ходом.

Прощай Харбин!

Часа через три, после нескольких небольших остановок, поезд надолго остановился на большой станции. По моим расчетам это был Ажихэ — первая большая станция и курорт на Восточной линии КВЖД.

— Какая это станция? — услышала я вопрошающий голос, вероятно, одного из конвойных.

Аньда, — последовал ответ с перрона.

— Аньда! — Значит мы едем на запад, — не в Приморье, откуда еще есть надежда бежать, а вглубь России, откуда я уже никуда не убегу.

Еще один удар, — сколько их еще впереди!

*4 февраля 1957 г.*

Семь с лишним суток нашего пути не ознаменовались особенными событиями, хотя было несколько любопытных инцидентов. И тем не менее, все подробности этого моего первого этапа крепко врезались мне в память.

Держали нас на этом пути в голоде. Кажется, на следующее утро после отъезда, сержант-татарин — начальник конвоя, сказал извиняющимся тоном, обращаясь к моим соседям и ко мне, что, к сожалению, они не имеют возможности давать нам горячую пищу, но что они будут давать нам больше хлеба. Действительно, хлеба, запасенного в Харбине, нам давали огромное количество: "пайку" в 800 гр. утром и "пайку" в 600 гр. вечером. Одну из них, обычно, большую, я, не принимая, просила сержанта передавать моим соседям, что он и делал, хотя иногда и ворчал на меня за то, что я мало ем.

Отдельные эпизоды этого пути врезались мне в память. Кажется, нары для солдат были даже не в два, а в три этажа; прямо против моей клетки, высоко под потолком вагона и перпендикулярно ко мне, лежал солдат, у которого были огромные ступни.

Эти огромные ступни в белых носках во все время пути маячили перед моими глазами.

Три молодых следователя постоянно болтали между собой, но к полковнику обращались почтительно. А он целый день лежал, затылком в моем направлении, подложив руки под голову. Однажды татарин-сержант, мой доброжелатель, долго кого-то пробирал у соседней клетки. Я не все слышала, но поняла, что дело шло о чьей-то попытке к побегу. В соседней клетке, как мне к тому времени стало ясно, помещался, кроме пяти русских молодых людей, и один японец, посаженный почему-то с ними, а не со своими соотечественниками. Вот об этом японце, как оказалось, и шла речь.

Сержант что-то вполголоса доложил полковнику, после чего полковник, не меняя позы, произнес металлическим голосом:

— Слушай, Ямазаки! Переведите ему.

Я насторожилась. Ямазаки! Обыкновенная японская фамилия. Но герой одного моего юмористического компилятивного рассказа тоже назывался Ямазаки.

— Ты уже два раза пытался бежать. Теперь через люк в полу. Помни: если ты попытаешься бежать в третий раз, мы тебя расстреляем. Понял? Столяров, переведите ему.

Четкий, интеллигентный голос одного из моих молодых товарищей по несчастью перевел слова полковника на японский. Японский приниженный голос после некоторой паузы что-то пробормотал.

— Что он говорит? — спросил полковник.

— Он говорит, что он пытался бежать, пока находился на китайской территории. Теперь, когда мы подъезжаем к русской территории, он больше не будет пытаться бежать, так как понимает, что это невозможно.

Чимган, Чимган, далекие хребты!  
*Вл. Луговской.*

Большую часть дороги я провела, стоя на коленях на моих довольно высоких нарах и глядя сквозь одну из широких щелей моей клетки в маленькое, высоко расположенное окошко в боковой стенке вагона, тоже закрытое железной решеткой. Через двое

решеток да еще и вбок, и на расстоянии, я могла при сильной близорукости, увидеть что-либо только в пенснэ. Так и стояла я целыми днями на коленях, глядя на отлетающие назад пространства ставшей милой сердцу Манчжурии и неуклонно приближаясь к любимой и страшной родине. На меня косо поглядывали, но смотреть в окно не запрещали.

После степной местности на запад от Харбина, на другой день мы подъезжали к Хингану. Здесь я когда-то провела месяц у подножья гор в Чжалантуне и месяц на самом перевале, на маленьком хуторе Хинган, незабываемое лето 1928 года. Лето больших душевных переживаний, лето надежд на будущее в любимой работе.

За Хинганом начались опять степи — бескрайние степи западной Манчжурии. На Хингане и сразу за ним, Монголия клином врезается в Манчжурию. Где-то здесь недалеко начинается знаменитая пустыня Гоби — ее жаркое дыхание, ее песчаные тайфуны докатываются даже до Харбина.

Мы ехали долго, так как часами стояли на некоторых станциях, а затем мчались с дикой скоростью, от которой наша теплушка моталась с боку на бок, и подаваемый мне в это время сержантом подкрашенный молоком кипяток выплескивался из кружки. Эта необычная езда сбивала меня с толку, путала все мои расчеты. Я считала, что из Харбина по западной линии КВЖД до границы мы должны доехать на третьи сутки, но мы ехали уже четверо суток, а границы еще не было.

На больших станциях, когда все начальство выходило из теплушек, а иногда и в пути, когда офицеры спали, к моей клетке подходил розовощекий молоденький солдатик, почти мальчик, ординарец, а по-старому — денщик полковника, Фонарев. На полудетском лице мальчика (на вид ему казалось лет 15-16, хотя он был упитанный и крепкий, небольшого роста) выражалось самое искреннее сочувствие ко мне. Оглянувшись, он начинал со мною тихий разговор, и у него я могла иногда узнавать названия станций, мимо которых мы проезжали.

О Русь! В предвиденьи високом  
Ты мыслью гордой занята.  
Каким же хочешь быть Востоком  
Востоком Ксеркса иль Христа?

*Тютчев.*

Кажется на пятые сутки посредине степи показалась расположенная уступами, бесконечно длинная и ровная канава, огороженная несколькими рядами колючей проволоки. Я с любопытством посмотрела на нее, не понимая ее назначения. Перед этим мы больше половины дня простояли на какой-то большой станции. Наш вагон, как вообще арестантские вагоны, почти никогда не останавливался у перрона, и потому я не успевала прочесть названий станций. По каким-то моим соображениям я считала, что последняя станция, на которой мы стояли так долго, была Якеши, один из поселков забайкальских казаков, во время гражданской войны выселившихся в Манчжурию. Если это так, то до города Манчжурия, т. е. до границы, должно было оставаться еще часов двенадцать. Фонарев как раз на последней остановке ко мне не подходил, был чем-то занят или послан куда-то с поручением.

Вскоре после переезда через канаву поезд опять остановился. Остановка, очевидно, предполагалась опять длительная. Какая-то суета поднялась в вагоне. Все наши офицеры моментально куда-то исчезли. Я издали, как всегда, посмотрела в окошко. Передо мной был перрон, за ним тенистый станционный сад. В это время к моей клетке, ласково улыбаясь подошел Фонарев.

- Фонарев, какая это станция? — спросила я.
- Это Отпор.
- Отпор?! Так мы уже на русской территории?
- Да.

Потрясенная, смотрела я на русскую землю. Так значит, та станция, где мы так долго стояли утром, была пограничная, со стороны Китая, станция Манчжурия. Канава, огороженная колючей проволокой — это была самая граница. А я проехала ее, не понимая.

Родина, Россия, так вот ты, наконец. Не из арестантского вагона когда-то надеялась я впервые увидеть тебя спустя 27 лет

изгнания. Россия, Россия, любимая, оплакиваемая, страшная, безумная мать моя, как примешь ты меня, одну из своих дочерей?

Вдруг я увидела ответ на свой вопрос. Да, именно *увидела* — страшный, символический ответ. К моему изумлению и ужасу, вдруг на весь залитый весенним солнцем перрон легла огромная тень пограничника в остром шлеме с собакой-ищейкой на поводке. Тень оставалась неподвижной. Видно, где-то около нашего вагона стоял на страже пограничник с собакой.

Да, вот ответ на мой вопрос. Вот так встретила меня родина: вооруженным чекистом с собакой, у которой вытравлены все ее природные инстинкты дружбы к человеку, которая превращена в злое, хищное и умное чудовище, в злейшего врага человека. Вот что у меня впереди.

Долго-долго стояла я на коленях, глядя на "горькую русскую землю". Я не заметила, как отошел Фонарев. Скупые, жгучие слезы покатались из глаз...

Какая-то необыкновенная возня и суета привели меня в себя. Солдаты метались по вагону, что-то пытались спрятать, вытаскивали обратно, опять прятали. Молодые следователи вернулись в теплушку взволнованные, злые. "Понимаешь, отняла! Нашла в чемодане и не дала провезти! А в нашем же поезде полковник едет, везет вагон картошки. Так весь вагон приказала высыпать, чертова баба! Ах, если бы это в центре России было, я б им показал! А тут их территория, они хозяева — пограничники!"

Белокурый кудрявый следователь с жестким лицом весь побледнел от гнева, рассказывая товаришу о действиях какой-то пограничницы. Я была поражена. До тех пор я считала, что НКВД (или МВД) и пограничная стража — одно учреждение. Теперь я увидела, что это два учреждения и что между этими двумя учреждениями существуют острые ведомственные трения, а между их членами — если не вражда, то ярко выраженная неприязнь.

Белокурый следователь продолжал ругаться, потом куда-то убежал. Солдаты между тем продолжали метаться по вагону, все выискивая места, куда они старались что-то спрятать. Я прищмотрелась: что это они прячут? Оказалось — бутылки водки. Вот оно что!

Бедные солдаты! Меня очень подмывало предложить им спрятать свой запас водки у меня в клетке. Уж в клетке заключенной, думаю, и соперничающее учреждение не стало бы искать контрабанды. А если бы и нашли — я, во всяком случае, ничего бы не потеряла, потому что мне нечего было терять. Но я все-таки промолчала. Я как-то постеснялась внести такое необычное предложение.

Дело с провозом водки в конце концов обошлось благополучно. Кажется, какие-то военные заглядывали к нам в вагон, но не заходили и нигде не шарили. Как под тяжелую руку пограничницы попал чемодан нашего офицера — я так и не поняла. Может быть, он носил его на какой-то обязательный осмотр, может быть разговор шел о его багаже.

Как бы то ни было, эта веселая для меня и неожиданная история вернула меня к окружающей действительности из области больших и тяжелых переживаний.

Наконец, поезд тронулся. Мы ехали по России.

*25 февраля 1957 г.*

На пути от границы до Читы никаких особых событий не произошло. Мелькали названия станций, такие знакомые со времени гражданской войны: Даурия, Бор... С жадностью смотрела я на родную землю, на родную Сибирь, на Забайкалье, через которое в детстве столько раз проезжала, где жила летом на курортах. Как жаль, что ехала я зимой, а не летом и не видела роскошного ковра сибирских цветов, о которых мечтала столько лет: этой вакханалии разнообразных цветов с царственной желтой или красной *Lilia Daurica* во главе. По ночам меня часто резко будил свет карманного фонаря, направленный мне прямо в лицо через решетку. В первый раз я испуганно села:

— Что такое, что случилось?

— Ничего, спите, спите, — отвечал мне спокойный голос дежурного.

Луч света затем каждый раз тщательно обшаривал потолок, ощупывал стены. Я приходила в молчаливое бешенство: что же они думают, что я, слабая женщина, в состоянии голыми руками разобрать потолок вагона, чтобы проложить себе путь к бег-

ству?! Лишь через несколько лет я сообразила, что они осматривали потолок и стены совсем не с этой целью: они всё боялись самоубийства, всё боялись упустить одну из своих жертв! Как бы то ни было, при моем и без того плохом и скудном сне после следствия и суда, эти внезапные пробуждения по нескольку раз в ночь являлись своего рода пыткой.

После того, как мы проехали Отпор, как-то к моей клетке с ласковой своей улыбкой подошел Фонарев:

— Вы и дальше в Россию с нами поедете, да?

Ему как-будто хотелось того.

— Я не знаю, — ответила я, — разве это зависит от меня?

Сразу после остановки на станции Чита 2-я наши офицеры во главе с полковником уехали в город. Большую часть японцев сержант-татарин с конвоем в тот же вечер увел в лагерь военнопленных под самым городом. В сразу похолодевшей и опустевшей теплушке, кроме нескольких человек конвоя, осталось лишь несколько японцев в одной из клеток на той стороне, мои соседи рядом, да я.

Ночь прошла без происшествий, а рано утром 28 февраля увели и молодых людей, и последних японцев. В тот день нас утром уже не кормили. У меня еще оставался вчерашний хлеб, но в сухом виде, без кипятка, он не лез мне в горло, тем более в моем взволнованном состоянии. Угнетало одиночество, моя какая-то особенная судьба среди всех заключенных, привезенных с этим этапом.

Почему меня одну не забирают куда-нибудь? Ах, как страшно из человека превратиться вдруг в вещь, в почтовую посылку, посылаемую по предназначенному адресу, без воли, без возможности выбора или хотя бы протеста!

Часов в десять утра за мной, наконец, пришли. К моей клетке подошли и стали внизу отдирать прибитые в Харбине планки. Нужно сказать, что отдирали их при помощи инструментов минут двадцать. Хорошо было забито в Харбине, крепкая, добротная была работа!

Не без сожаления простилась я со славным сержантом и, с трудом таща свой тяжелый и неудобный узел, выскочила на перрон из теплушки. Я покачулась от ослепительного солнца и свежего воздуха, и сразу почувствовала, что стоит крепкий сибир-

ский мороз. Тут не было манчжурской оттепели, стояла настоящая зима.

К моему удивлению, конвоя не было. Я должна была идти только в сопровождении трех офицеров. Еще на перроне я сейчас же отстала от офицеров: они шли молодым военным шагом, а я, обремененная моим узлом, начала задыхаться на сильном морозе, как это всегда случается со мной и без поклажи. Я ужасно боялась потерять их из виду, но отставала все больше и больше. Руки в тонких шерстяных перчатках начали стынуть.

Меня, даже в этом моем состоянии, поразила красота расположения Читы и ее окрестностей. Близко к городу подходят сопки, но не со всех сторон — он не задавлен горами. Сопки поросли хвойным лесом, который спускается с гор и сливается с пригородами. С одной стороны раскинулась долина, по которой протекает, петляя и образуя рукава, голубая речка Читинка, приток Ингоды. Виды там поистине швейцарские.

Но самый город имел очень запущенный вид. Бульжная мостовая даже на главных улицах выбита, дома обшарпаны, видно, многие из них не ремонтировались со времени гражданской войны.

В МВД меня сдали дежурному. Офицеры-следователи ушли искать себе комнату.

Долго тянулось ожидание в приемной. С любопытством наблюдала я за публикой. Народ все сплошь военный, занятой, но ожидали они часами прихода какого-нибудь начальства, от которого зависело получение нужного документа, с каким-то тупым и покорным терпением. Видимо, их годами, а скорее десятками лет, приучали к такому порядку, или, вернее, беспорядку.

В вестибюле толпилось много народу. При входе с левой стороны на полу или на своих узелках сидело несколько японских офицеров. Сразу было видно, что они больны. Я догадалась, что это были те, которые были уведены из нашего вагона рано утром.

Наконец, в 3 часа (я посмотрела на часы) в вестибюле послышался какой-то переполох, беготня, как бывает, когда подъезжает какое-то большое начальство.

— Майор Файнгерт, майор Файнгерт, — донеслось из вести-

бюля.

И почти в ту же минуту раздался начальственный крик:

— Что это за безобразия? Кто эти люди?

— Больные заключенные-японцы, товарищ майор, — ответил какой-то подобострастный голос.

— Зачем они здесь? Уберите их на улицу, — гремел майор Файнгерт.

— В дежурной есть еще женщина, товарищ майор.

Я стала усиленно прислушиваться. Это уже относилось ко мне.

— Что за женщина?

Ответа я не расслышала.

— И ее на улицу!

После этих слов в комнату вошел высокий плотный военный в длинной шинели и "кубанке". У него было полное, самодовольное, лоснящееся лицо очень выраженного еврейского типа и холодные жестокие маленькие глаза. За ним стояли другие военные. Это и был, очевидно, майор Файнгерт. Мы встретились с ним глазами, и его лицо запечатлелось у меня в памяти, хотя вообще у меня плохая память на лица.

Сейчас же ко мне подошел кто-то из его подчиненных и приказал идти за ним. Взяв мой узел, я вышла за ним через вестибюль в палисадник. Там уже сидели на своих мешках больные японские офицеры. Поодаль шагала часовая. Я, конечно, думала, что нас вывели на улицу на несколько минут перед тем, как завести в какое-нибудь другое помещение. Тем не менее, грубость и жестокость майора Файнгерта, выгнавшего больных на 35-градусный мороз, возмутила меня.

Спустя 11 лет, уже на воле, в инвалидном доме, мне рассказал один товарищ по несчастью, с которым мы дважды встречались на Карабасе — Григорий Яковлевич Т., тоже имевший дело с майором Файнгертом как с начальником следственной части Отд. Контрразведки штаба Забайкальско-Амурского фронта, что его отправили к майору Файнгерту, когда все другие следователи не могли добиться от него желаемых сведений. Этот симпатичный майор угрожал ему арестовать его жену, если он не назовет тех лиц, которых от него требовали. Но и эта угроза не помогла.

Больные японцы сели на свои вещи, положенные прямо на снег, и прислонились к стене дома. Я же стала ходить взад и вперед по палисаднику. Воздух курился и туманился от мороза.

Когда прошло с полчаса и нас никуда не завели, я поняла, что мы просто выброшены на улицу. Очевидно, из-за какого-то беспорядка в документах нас сюда не принимают. Больные японцы стонали. Спустя приблизительно час из здания вышел какой-то начальник, и я увидела невиданную картину: *японские офицеры* плакали, прося его о чем-то, очевидно, умоляли завести их в какое-нибудь помещение.

Вскоре, действительно, подъехал грузовик и увез их куда-то. На другой день мне сказал один из наших харбинских конвойных, ехавший с нами в теплушке, что двое из японских офицеров, не вынеся такого обращения, умерли в тот же день в больнице, куда их всех привезли.

Часы шли за часами. Позже оказалось, что я, не считая утренних хождений по 35-градусному морозу, провела на улице четыре часа, с трех до семи. Каждый час сменялись часовые. Наконец, я почувствовала, что не в состоянии больше ходить. В полном изнеможении я прислонилась к стене дома и стала ждать смерти. Как я не обморозила ноги, руки, уши, лоб — уму непостижимо. Я даже не чувствовала той боли от холода, которую всегда нормально ощущала в пальцах рук и ног, когда они начинали мерзнуть. Это было просто какое-то чудо: ведь на мне были тонкие шерстяные перчатки, нитяные чулки, брезентовые ботинки и маленькая фетровая шляпа, оставлявшая открытыми лоб и уши. Под шубкой ничего теплого. И я не обморозилась.

Но мне казалось, что сердце у меня останавливается. Я медленно коченела, вся, и, вероятно, не много бы еще понадобилось времени, чтобы я свалилась в снег, и тогда бы уже скоро наступили паралич сердца и смерть...

28 марта 1957 г.

Областная тюрьма в Чите помещается на ул. Баррикад, № 1. Это огромное четырехэтажное здание, построенное рядом со старым, значительно меньшим корпусом. После долгих предварительных формальностей нас, наконец, завели во второй, рабо-

чий, корпус и в какой-то большой зал, в котором со своими вещами находились вместе мужчины и женщины.

В этом тюремном зале я впервые увидела женщин. Но это были какие-то странные женщины. Они все были молодые, страшно развязные, и у них были наглые и беспощадно-жесткие глаза. Держались они весело и весьма бойко, говорили громко, и видно было, что привод в тюрьму в их жизни случается далеко не впервые.

Одна из них подошла ко мне, сначала долго и бесцеремонно рассматривала меня, а затем задала в упор вопрос:

— За что вы сидите?

Я со всей моей тогдашней зеленой неопытностью в тюремных делах и отношениях, стала рассказывать ей, что я сижу за работу в зарубежной русской прессе.

Не знаю, поняла ли она меня, но, во всяком случае, увидела, что я "фраерша", и притом еще очень зеленая.

Урка вскоре отошла от меня, но со мною заговорил какой-то молодой человек, сидевший, как и я, на своих вещах. У него были такие же наглые глаза, как и у нее, к тому же еще и бегающие.

Какая у вас статья? — спросил он.

58, пункт 10, — ответила я. — А у вас?

162-я.

Это что, я не помню? — спросила я наивно.

Вор, — ответил он кратко. И тут же, взяв из моих рук сумку, которую мне в Харбине вернули перед этапом после изъятия из нее двух блокнотов, писем, вечного золотого пера и карандаша, — стал, к моему изумлению и возмущению, спокойно рыться в ней.

— Какое вы имеете право, нельзя! — воскликнула я, выхватывая ее у него из рук. Но он, по-видимому, с профессиональной ловкостью уже успел убедиться в том, что ни денег, ни каких-либо ценностей в ней не было, и уже не делал попыток завладеть моей большой сумкой, которая хотя и была не нова, но из хорошей, мягкой, черной кожи и имела еще очень приличный вид.

После этого инцидента я решила быть как можно осторожнее и присматриваться к этой новой породе людей, профессиональных преступников, с которой мне впредь придется жить в

непосредственном общении и которую я до сих пор только теоретически знала по курсам уголовного права и судебной медицины.

Вскоре началось новое развлечение. В зал, в сопровождении санитаров в белых халатах, вошел фельдшер и приказал всем женщинам повернуться лицом к стене, а мужчинам раздеться до пояса и встать в две шеренги. Очевидно, это был какой-то беглый осмотр. Потом приказано было мужчинам стать лицом к стене, а женщинам раздеться до пояса. Пришлось подвергнуться и этой унижительной процедуре. Это был осмотр, чтобы отделить чесоточных, для которых было по отдельной камере в мужском и женском отделениях.

Наконец, я с группой женщин, среди которых были несколько урок, была выведена во двор, где мы долго ждали на морозе на наружной лестнице, ведущей в полуподвальный этаж, в баню.

Пока мы стояли на лестнице, начался скандал. Несколько девиц весьма тюремного вида кричали на другую девушку, сконфуженно прижавшуюся к перилам. Они орали, что у нее венерическая болезнь, и что они не позволят ей идти в баню вместе с ними. Та отмалчивалась, из чего можно было заключить, что это — правда. В первый раз в жизни мне пришлось столкнуться с таким откровенным высказыванием о таком предмете. С изумлением и отвращением слушала я все это.

Баня оказалась большим полуподвальным помещением, окрашенным в мрачный темнозеленый цвет. Поразило и возмутило то, что дежурный, приведший нас в баню, сидел с банщицей в проходном коридорчике, так что всем приходилось в обнаженном виде дефилировать мимо него из раздевалки в баню. Я завернулась, насколько могла, в небольшое полотенце. Это сидение в коридоре потом повторялось каждый раз.

Постепенно, пока мы одевались и когда шли через тюремный двор в самый тюремный корпус, я начала разбираться, из каких разных элементов состоит наша маленькая группа. И тут же ко мне стали жаться три женщины, прося разрешения держаться возле меня, и прося не оставлять их.

Я тогда удивилась, и не раз приходилось мне впоследствии удивляться, почему совершенно незнакомые женщины прибегали к моему покровительству. Я была такой явной интелли-

генткой и таким явным тюремным новичком, притом немолодой и физически слабой. И тем не менее, другие новички, особенно из простых советских женщин, чувствовали себя спокойнее около меня. Может быть, они инстинктивно чувствовали ту внутреннюю свободу духа, которую никакое заключение и никакие тюремные и лагерные мытарства во мне не убили и убить не смогли. И в лагерях, когда каждый и каждая, наконец, обрели свое постоянное место под скудным лагерным небом, ко мне многие приходили за утешением и надеждой и я, бывшая безнадежная пессимистка, старалась дать им надежду и бодрость, которых иногда сама в душе не ощущала, потому что видела, что друзья мои и знакомые — на грани отчаяния, и нужно помочь им во что бы то ни стало. Постепенно эта бодрость и вера в лучшее будущее, в массовое освобождение, в Божье милосердие овладела и моей собственной душой, и мне не приходилось уже более делать усилия над собой, "лгать", чтобы внушать другим ту надежду, которая порою угасала в моей собственной душе.

В самые мрачные дни спецлагеря я жила почти четыре года в Спаске. Невыносимый режим, своеобразная мрачная местность, тяжелый климат и полная безнадежность в смысле облегчения участи в последние годы сталинского режима, доводили людей до глубокой неврастении, до черной меланхолии и даже до сумасшествия. У нас в женской зоне постепенно оказалось до 60 сумасшедших, которых, однако, не отпускали домой. А сколько женщин было "на грани"!

У меня же, по великому Божьему милосердию, душа именно в это время прояснялась и крепла, и какое-то ясное спокойствие, прерываемое разве только периодами острых личных неприятностей, постепенно воцарялось в ней.

Какой же великой наградой за все перенесенное были письма некоторых из моих постепенно освобождавшихся приятельниц, когда я была переведена в другой лагерь, в центр России, где и находилась последний год, и затем письма, получаемые мною у нас, на воле, в инвалидном доме, в которых мне писали, как много я помогла моим друзьям своей верой и надеждой на лучшее будущее, т. е. именно тем, что я старалась им внушить.

Пока нас из бани привели в тюремный корпус, уже стемнело. Света почему-то в ту весну не давали до середины ночи. В кори-

доре перед камерами дежурные надзирательницы устроили нам обыск. Как раз перед обыском одна из урок, увидев при пере-кладывании вещей, что у меня есть три или четыре коробочки японского зубного порошка, подаренного мне еще харбинскими дежурными, попросила меня дать ей порошок. Я ей дала две коробочки.

Любопытно, что именно отбиралось при обыске. У меня дежурная совершенно незаконно, как я позднее узнала, отобрала красивый маленький лиловый гребешок из пластмассы японского производства с серебристым изображением горы Фудзиямы и зубную щетку, но не тронула двух оставшихся коробочек зубного порошка. У той урки, которой я только что подарила две коробки, она их тут же отобрала. Таким образом, дежурная сразу приобрела для себя гребешок, зубную пасту, зубную щетку и зубной порошок.

Эта дежурная, по весьма меткому прозвищу "Конь-баба", ибо она была высокая, костлявая женщина с лошадиным лицом — славилась, как я позже узнала, по всей тюрьме своей мелочной жадностью. Из конфискованных вещей она подавляющую часть оставляла себе, отбирая при этом вещи вовсе не запрещенные даже самыми строгими тюремными правилами.

Когда мы были достаточно, с точки зрения "Конь-бабы", обчищены, нам велели собрать вещи и в присутствии "ответ. дежурного" перед нами открыли дверь одной из камер, помнится, № 28, и мы были впущены в карантин. Перед нами открылась дверь совершенно темной камеры и сейчас же захлопнулась. Оказалось, что немногочисленные нары в карантине были все заняты, и мы расположились на полу.

Часов в двенадцать ночи в камере вспыхивало электричество и яркий свет мучительно мешал спать. Рано утром, на другой день после нашего прибытия, в половине пятого, по коридору нашего женского III-го этажа забегала дежурная, стуча во все двери и крича:

— Подъем, подъем!

Почему-то общего сигнала там не было.

К концу нашего спешного одевания открывалась дверь, и мы все вместе шли в сопровождении дежурной в умывалку, она же и уборная. Там царил крошечная тьма. Некоторые дежурные,

подобнее, оставляли дверь в освещенный коридор полуоткрытой, но большинство запирало нас в этой кромешной тьме. В умывалке был устроен длинный жёлоб, на котором находились краны. Позднее, когда меня перевели в одну из камер, нас пускали мыться всех вместе, тридцать человек, и нужно было успеть за несколько минут в темноте занять место у умывальников, а их было приблизительно только человек на десять, нужно было успеть умыться до пояса, и даже иногда постирать свою единственную рубашку (пока она сохла в камере на батарее парового отопления, платье надевалось на голое тело).

За время моего двухмесячного сидения в читинской тюрьме нам ни разу не стирали белья. Когда мы пробовали его стирать в бане, банщица ругалась, вызывала вольную сестру, и та швыряла только что выстиранное белье на пол.

В читинской тюрьме выводили на "оправку" в половине пятого утра. Следующий вывод на оправку (выводили всего два раза в сутки) был только через одиннадцать часов, т. е. в начале четвертого часа. Когда мы утром возвращались в камеры, мы, уже одетые и умытые, ложились опять спать и спали до половины седьмого, когда приносили завтрак. В это время, при нормальном утреннем вставании, почти всем перед завтраком хотелось на оправку, но тут уже никакими силами нельзя было добиться, чтобы нас выпустили. И, вероятно, на чисто психологической почве у многих делался понос. Организм человека не создан по тюремным правилам. Желудки и кишечника продолжали действовать, и с ужасом, окрашенным невольным смехом, видела я, как женщины оправлялись в тряпки, завязывали их и выбрасывали на тюремный двор через высокое окно нашей камеры на третьем этаже. Эти воздушные пакеты назывались "парашютами", и когда нас выводили около 12 часов на прогулку, надо было зорко беречься, чтобы не наступить на такой "парашют" т.к. весь двор вокруг тюрьмы был усеян ими до ежедневной уборки двора и, кроме того, они продолжали лететь из окон, причем блатные мужчины старались попасть ими в колонну проходящих женщин-заключенных. Однажды у нас в камере был большой скандал из-за украденного синего берета, который, за недостатком тряпок, был у кого-то стащен для этой цели. Несмотря на явную нелепость такой системы, в читинской

тюрьме в камеры не ставили параш и заключенных не выводили на opravку чаще или хотя бы в более удобные часы.

*11-24 апреля 1957 г.*

Кажется, в первую же мою ночь в карантине, когда я, совершенно измученная происшествиями двух предыдущих суток, постелив в темноте свое одеяло на пол около нар (за неимением места на нарах) и укрывшись шубой, наконец уснула, я проснулась ночью от внезапно вспыхнувшего яркого электрического света. Почти сразу же ко мне подошла какая-то старушка, ворочавшаяся без сна на нарах, и, сев возле меня на корточки, спросила взволнованным шепотом:

— Скажи мне, ты, видно, ученая — что со мной сделают?

Я страшно хотела спать и, по правде сказать, мне было не до ночных разговоров, но у старухи был такой жалкий, растерянный вид, что я не решилась оттолкнуть ее и стала шепотом расспрашивать о ее деле.

Выяснилась трагикомическая история. Бабушка была родом из Манзы — так называется глухой, затерявшийся на самой границе Монголии и Читинской (прежде Забайкальской) области степной поселок. В этом селе из-за чего-то поссорились дочь бабушки и жена "мельника" — очевидно, заведующего мельницей, которого бабушка называла по-старому. Жена мельника грозила отомстить. А в это время местный милиционер рассказал сенсационную "утку": будто бы Америка "потребовала", чтобы в СССР выпустили всех заключенных.

Почему это явно вздорное известие так взбудоражило бабушку, трудно сказать. Она этого не поясняла. Может быть кто-нибудь из ее близких сидел в тюрьме. Но факт тот, что бабушка разнесла эту сенсацию по всему селу, ссылаясь на высший служебный авторитет — на милиционера. О судьбе последнего история умалчивает, но можно быть уверенным, что он свой десяток лет тюрьмы за эту сенсацию получил, и что он может благодарить за это бабушку.

Мельничиха же, грозившая за бабью ссору страшной мезтью, не могла, конечно, упустить такого случая: она донесла куда следует (или куда не следует) о бабушкиной сенсации. Бабушку арестовали и повезли на грозный суд в Читку.

— Две недели вез меня милиционер верхом на лошади. Чуть не померла.

— Как верхом?

— Да обнакновенно. Он на коне впереди, а я — позади. За него держалась.

— Ну а потом?

— Потом на машине везли, а уже потом до Читы поездом.

В Чите эту преступницу судили и присудили ее по ст. 58 п. 10 к 4 годам. Еще дешево отделалась! И теперь бабушка в панике: "Что со мной сделают?"

Я пыталась объяснить ей, что такое лагерь, куда она попадет. Сказала ей также, что не советую обжаловать приговор, т.к. по 58-й статье редко дают такой малый срок, и ей, вместо оправдания, могут прибавить срок.

Но бабка этого не понимала:

— Да как же так меня наказывать? Ведь мне сам наш милиционер сказал, что Америка потребовала, чтобы наших заключенных выпустить.

— Бабушка, это глупости. Ничего Америка не требовала и требовать не может. Не имеет права одно государство вмешиваться в дела другого. Может быть, в газетах там что-нибудь написали, но это не требование со стороны государства. И вообще, лучше этого не повторяйте, а то еще новый срок получите.

— Да ведь мне же милиционер сказал, что...

— Бабушка, оставьте вы этого милиционера в покое, итак уж, наверно, погубили человека.

— Так ведь он же говорил...

Бабушка из Манзы не могла успокоиться. В течение тех двух дней, что я была с ней в карантине, она все время приставала то к одной, то к другой женщине, убеждая и доказывая, что она только повторяла слова милиционера.

В карантине я успела познакомиться с двумя девочками: Соней, фамилии которой я не помню, и Аней Марковой. Обе они были "бытовички", как на советском тюремно-лагерном жаргоне называют всех заключенных, кроме политических, от слова "бытовые", т. е. уголовные преступления.

Соня была доброй, веселой девочкой, но разлагающее

влияние нескольких месяцев тюрьмы уже наложило на нее свои следы в виде некоторой излишней шумливости и развязности манер и поведения.

Аня Маркова была 15-летней девочкой, которой можно было дать лет тринадцать. У нее было совершенно детское, полное, розовошеекое личико, стриженная круглая голова и совершенно пухлые ручонки, точно ниточками перевязанные в кистях. Обе девочки, у которых в это время были тяжелые переживания, научились в тюрьме курить. Они обе были еще следственными, но в читинской областной тюрьме следственные не отделялись от осужденных.

После двух дней пребывания в карантине, нас вечером вызвали в коридор с вещами и зачитали кто в какую камеру направляется. Около меня держались, как бы ища моей защиты, три женщины. Кто была третья, не помню, но зато хорошо запомнила двух других. Одна из них, деревенская женщина-колхозница, по имени Лукерья, сидела за государственную кражу. Ее "кража" состояла, даже по обвинительному акту, в том, что во время перевозки зерна в их местности, она нашла на большой дороге четыре мешка из-под зерна и будто бы забрала их себе. По юридической терминологии всего мира такое деяние называется не кражей, а присвоением находки, и наказывается гораздо легче кражи, тем более квалифицированной.

Факт, что именно Лукерья подобрала мешки на дороге, остался совершенно недоказанным. Кажется, что судьи действовали на основании принципа, что "больше некому": Лукерья с детьми очень нуждалась, ее в тот день видели на дороге, по которой были каким-то зевакой-шофером обронены мешки. Мешки у Лукерьи при обыске обнаружены не были и не было также установлено, чтобы она их куда-нибудь сбывала.

Лукерья получила несколько лет исправительно-трудовых лагерей; семья разрушена, дети выброшены на улицу и находятся под угрозой стать нищими или ворами, бедное крестьянское барахлишко расташено. Мне было искренне жаль бедную, запуганную, благодарную за каждое ласковое слово и участие маленькую деревенскую женщину. Лукерья клялась мне и божилась, что она этих несчастных мешков и в глаза не видела, и я уверена, что она говорила правду.

За что погубили несколько жизней — ее и ее детей?

Вторая, державшаяся за меня (они обе просили меня, чтобы я их "не оставляла") была военная молодая женщина. В своей военной части в Верхнеудинске (теперь Улан-Уде) она была поварихой. По окончании войны с Японией она демобилизовалась, получила все отпускные документы, кроме какого-то одного, второстепенного, но этот документ соответствующий начальник задерживал по небрежности или бюрократической волоките в течение недели или двух. В конце концов терпение у молодой женщины, стремившейся по окончании войны к мужу и семье, — лопнуло, и она, не дождавшись документа, села на пассажирский самолет и улетела домой.

Результатом ее вполне простительного нетерпения, вместо небольшого дисциплинарного взыскания в виде двух недель гауптвахты было... 10 лет исправительно-трудовых лагерей за дезертирство.

И опять — разрушенный брак, может быть и семья (не помню, были ли дети) и горькое чувство от несправедливого судебного приговора.

Она пришла в тюрьму еще в своей военной шинели.

Меня удивил страх военной женщины, но, как я потом убедилась, фронтовые страхи и страхи тюремные настолько рознятся между собой, что иной раз мужественные фронтовички совершенно теряются в тюремной обстановке.

Из камеры в нос ударил удушливый запах немых тел, пота и особенно — махорочного дыма.

— Женщины, где есть места для четырех? А всего нас тринадцать человек, — спросила я, входя в темноту с держащими за меня спутницами.

— Мест нет. Камера переполнена. Лезьте под нары — там чисто, — ответили с разных сторон голоса.

Посредине пола или даже возле нар располагаться было невозможно: нам в темноте могли наступить на головы или лица. Пришлось лезть под довольно высокие, как наутро оказалось, одноэтажные сплошные нары, занимавшие три стены средней величины комнаты. Всего в этой камере до нашего прихода помещалось тридцать пять человек. С нами стало сорок восемь.

Делать было нечего: пришлось лезть под нары — место,

которое в тюрьме считается особенно унижительным, и куда обычно заключенные загоняют своих чем-нибудь перед ними провинившихся или особенно опустившихся товарищей.

Под нарами я прожила восемь дней, пока 8 марта 1946 г. в первый раз не была вызвана на этап.

*Мария Шапиро*

*(Продолжение следует)*

## «РУССКАЯ МЫСЛЬ»

Крупнейшая русская еженедельная газета на Западе

Главный редактор Ирина Иловайская-Альберти

Редакция и контора: 217 rue Fb. St. Honoré,  
75008 Paris

Стоимость подписки во французских франках:

	3 мес.	6 мес.	12 мес.
Франция	45	85	150
Заграница	54	95	170
<b>Авиапочтой:</b>			
США, Канада, Южн. Америка, Южн. и Центр. Африка	76	140	250

## ”СПАСИТЕЛЬ” АНДРОПОВ

Андропов явно оправдывает надежды своих коллег, уставших, дезориентированных, опасющихся потерять управление машиной социализма, все еще очень мощной, но разъедаемой неизлечимой, смертельной внутренней болезнью. ”Доктор спаситель” Андропов имеет рецепты и целую программу лечения, а также волю для их осуществления. Все остальные этим в должной мере не обладают. Лет 25 тому назад такого ”дефицита” не было. Как видно, времена меняются.

В речи на пленуме ЦК 18 июня с. г. Андропов дает не только полный и вполне разумный комплект директив по ремонту социализма, но и намечает новую программу КПСС, которую он намерен выпустить в ближайшее время в свет для руководства партийным массам и, конечно, всему населению страны.

Чем же оказалась плоха прежняя программа? Как выразился Андропов, ”она забегает вперед и отрывается от реальности”. Иначе говоря, реальность оказывается гораздо хуже, чем ожидалось по предыдущей программе. Кроме того, она ”содержит элементы неоправданной детализации”, говорит Андропов. Это значит, что она обещает конкретные вещи, которые социализм не может обеспечить.

Новая программа будет содержать меньше обещаний. Будет составлена в менее конкретных заявлениях. Она будет больше соответствовать суровой реальности социализма и будет ”скроена по фигуре” Андропова. Несмотря на ту энергию, которую он проявляет, Андропов стар и болен. Весьма знаменательно, что на верхушке управления страной не нашлось подходящего человека, если не молодого, то хотя бы здорового. Раньше кандидатов было достаточно. Да и должной борьбы за власть, как бывало раньше, тоже не видно. Как видно, ”энтузиазм” и вера в социализм в среде

верховных правителей СССР тоже уже не "бьют ключом", как много лет тому назад.

Спрашивается, однако, что движет Андроповым? Ведь просто желать власти мало. Даже быть главным чекистом тоже мало. И на этом далеко не уедешь. Нужно знать, как и где эту власть употребить, иначе ее потеряешь. Может быть даже вместе с головой. Андропов имеет, что сказать и что сделать именно для укрепления социализма. Значит, он заядлый социалист? Неужели он верит в социализм и в его окончательную победу? Ведь именно на таком посту, как КГБ, предельно ясно видно, что социализм — дерьмо, да еще гниущее. В то же время, в речи Андропова видна здравая, почти инженерная логика. Следовательно, у него есть данные, чтобы правильно судить о ситуации с социализмом. Он не похож на наивного или глупого человека. Да и в Политбюро не дураки, как думают многие эмигранты и даже жители СССР. Дело в том, что идея социализма глупа и социализм противоречит самой природе людей. Они же все еще держат в своих руках огромную страну, да еще неплохо подминают под себя чуть не половину мира и держат в священном страхе величайшие державы мира. Или вы думаете весь мир еще глупее? Как видно, есть такому их поведению причина! У меня есть догадка.

Социализм и глупые социалистические идеи продолжают довольно быстро распространяться по всему миру. Социализм в глазах Запада еще совсем не опорочен и Запад продолжает двигаться и сам в сторону социализма и довольно быстро и легко уступает напору социализма со стороны. Даже в опытной (казалось бы) эмигрантской среде на Западе много антикоммунистов, но меньше антисоциалистов. Таким образом ярый антикоммунист сплошь и рядом является ярым социалистом.

У Политбюро и, конечно, в первую очередь у Андропова есть, мне кажется, надежда превратить Запад или в набор "Финляндий" или в набор социалистических республик и притом в не столь отдаленном будущем. В свете такой перспективы, будет нелепо не сохранить к этому времени социализм в СССР. Если же его сохранить, то эта долгожданная победа социализма в мировом масштабе ликвидирует всякую опасность для социализма в СССР. Появится Новый Мировой Порядок Социализма. СССР станет ведущим в нем государством. Андропов (если не умрет) имеет

шанс стать Единственным, Величайшим вождем всего мирового человечества. Политбюро, несомненно, попадет в святцы социализма.

Отсюда вытекает вполне разумная и весьма амбициозная стратегия Андропова: 1. Употребить все наличные резервы разума и силы, чтобы задержать развал социализма в СССР; 2. Напрячь все силы и возможности для социалистического завоевания Запада с помощью многомиллионных масс *западных интеллектуалов* и ведомого ими населения, используя немало-важную силу эмигрантов — явных социалистов и эмигрантов антикоммунистов — ярых социалистов. Для Андропова социалисты под маркой антикоммунистов еще более эффективны в распространении социализма на Западе, чем простые социалисты, у которых репутация несколько подмочена. То, что они против коммунизма, т. е. против "несоциалистического" СССР, Андропова не смущает. "Давай, громи коммунизм, только создавай "настоящий" социализм на Западе, да поскорее". Андропову важно успеть решить вторую задачу, до истощения сил в первой.

В речи Андропова сказано очень мало по поводу чрезвычайно важной второй части его стратегии. В основном, повторение стандартных советских заявлений: мир, сотрудничество между народами, повышение боеспособности СССР, укрепление Варшавского договора и т. п. Из чуть более свежих: "Мы стремимся к *качественно* новому уровню экономической интеграции" (сателитов). Смысл этой интеграции в распространении централизованного планирования на весь социалистический блок с целью более полного разделения труда, в котором СССР будет основным поставщиком оружия и директив. "Следует помогать не только новым и старым социалистическим странам, но и любым несоциалистическим, чтобы последние становились противниками "империализма" США". Таким образом, "укрепляй лагерь социализма, сплывай коммунистов и социалистов мира в их борьбе против США, изолируй США от всего мира, разрушай в США уверенность в себе и престиж США".

Все это довольно стандартно и для западного уха привычно. Однако, можно не сомневаться, что Андропов имеет очень большую и детализованную программу. Притом далеко не тривиальную. Конечно, эта полная программа не может не быть абсо-

лютно секретной. Она будет осуществляться под дымовой завесой шумного миролюбия, всяких "балансов сил", конференций по разоружению и вооружению, страшных усилий по предотвращению ядерной войны и раздуванию истерии страха перед любой войной. В противоположность внешней программе внутренняя изложена Андроповым довольно подробно и ее суть достаточно ясна.

Ясность и четкость внутренней программы тоже не проста и не есть лишь выражение стиля нового Величайшего. Вожди никогда не баловали население раскрытием сути и мотивов своих декретов и программ. В этом не было у них нужды. Поэтому люди и узнавали о том, что и почему "родное правительство" делает, из слухов и западных радиопередач. Все осуществлялось через аппарат управления и всевозможные партийные и социалистические "механизмы". Видимо, приходится рассекретиваться в этом деле, так как "механизмы" стали плохо работать и приходится "мобилизовать массы", а этого по секрету не сделаешь.

Примерно, к середине шестидесятых годов население СССР, сверху до низу, ощутило, что от социализма ничего хорошего ожидать нельзя, а социалистический энтузиазм исчез и еще раньше. Выяснилось, что можно надеяться только на себя, а не на социализм. Каждый начал устраивать свою жизнь, как мог, используя социалистическую среду обитания в своих сугубо личных интересах. Это радикальное изменение "производственных отношений" выявило со страшной силой принципиальные дефекты социализма.

Неизбежное при социализме централизованное планирование оказалось, без компенсации социалистическим энтузиазмом, мощнейшим средством не повышения, а понижения производительности труда, т. е. понижения уровня жизни. Раз зарплаты запланированы и ресурсы планом распределены, значит за большую работу больше не заплатят и перевыполнить план не на бумаге без дополнительных материалов, планом не предусмотренных, невозможно. Все участники огромной плановой сети СССР связаны друг с другом: продукция одного есть материал для другого. Поэтому планирование огромной сети миллионов поставщиков и производителей связывает всех по рукам и ногам и не может не ориентироваться на самые слабые элементы. Это то,

что Сталин назвал "равнением на узкие места", но ни ему, ни следующим Величайшим преодолеть этот дефект не оказалось возможным. Легко понять, что пока огромная плановая сеть не будет раздроблена на миллионы самостоятельных планов, *не* увязанных в общую сеть мозгами управителей, дефект неустраним. А раздробить, значит потерять воздействие на страну и единовластие, т. е. ликвидировать социализм.

Второй принципиальный, выявившийся со страшной силой дефект социализма: "классовое" противоречие. Государство социализма, как монополюный хозяин, монополюный торговец, монополюный банкир, монополюно сконцентрировало на себе антагонизм интересов всего населения. Государство хотело минимальных зарплат, большой и высококачественной работы, хотело не продешевить на продаже, в том числе, и негодного брака, хотело брать проценты побольше, а давать проценты поменьше. Население хотело прямо противоположного. Когда граждане поняли, что их спасение не в социализме, а в их собственных способностях и возможностях, они начали неорганизованно, но единодушно, 140 миллионами мозгов и рук, осуществлять свои личные интересы, не заботясь об интересах государства. Всё население противопоставило себя государству социализма. Распространились, как лесной пожар, бездельничество, бракодельство, частная работа на государственном рабочем месте в государственное рабочее время, отлучки без спросу по личным надобностям, черный рынок, подпольная экономика и т. д. и т. п.

Любопытно, что этот факт четко заявлен самим Андроповым: "Жизнь подсказывает, что становление *бесклассовой* структуры общества в главном и основном, судя по всему, произойдет уже на этапе зрелого социализма", т. е. классы, мол, и классовая борьба еще не исчезли.

Под воздействием "классовой" борьбы и "классового" антагонизма производительность труда и уровень жизни стали стремительно падать. Недаром вся речь Андропова имеет своим стержнем вопрос производительности труда. Недаром Андропов заявил: "В сфере экономической ключевая задача — повышение производительности труда". Во всем тексте речи это почти единственная, специально подчеркнутая фраза. Он только не сказал, что социализм по идее должен был автоматически дать высочай-

шую производительность труда и не дал по принципиальным причинам.

Не сказал Андропов и того, что социализм потерпел полную неудачу и в преобразовании человеческой души в социалистическую. Одно оказалось связанным с другим: не повышается производительность труда — не повышается уровень жизни — приходится гнаться не за духовным, а за насущным хлебом — душу воротит от социализма, а не к нему. Приходится Андропову бороться за души и цепляться за чудесные средства Научно-Технической Революции. Впрочем и НТР не работает тоже из-за души. Души ученых и инженеров не менее важны, чем души токарей и слесарей.

Оказалось, что при построении единовластия социализма о душе можно было не заботиться, но вот социалистического процветания без души не создать. Заметьте, что при частной (не государственной, не корпоративной, не монопольной) собственности и при конкурентной (не государственной, не корпоративной, не монопольной) свободной торговле осуществление настоящего процветания (притом, не только материального, но и духовного) не требовало никакой (за исключением религиозной) борьбы за души. Люди работали и создавали материальные и духовные ценности без какого бы то ни было принуждения на основе эффективного, автоматического экономического механизма. Экономический же механизм социализма оказался настолько плох, что без превращения душ людей в социалистические не работает. Андропов так и заявил: “Товарищи! Совершенствование развитого социализма *немыслимо* (подчеркнуто мной) без большой работы по духовному развитию людей”. Без души социализм не получается, а душа при социализме не получается. Черненко по этому поводу сделал целый специальный доклад.

В борьбе за души вожди социализма начинают говорить, как настоящие духовные наставники. Андропов в своей речи подчеркнул, например: “Понятие уровня жизни гораздо шире и богаче (чем только в связи с зарплатой и материальными вещами). Тут и постоянный рост сознательности и культуры людей, включая культуру быта, поведения, и то, что *я бы назвал культурой разумного потребления*. Тут и образцовый общественный порядок... Тут и полноценное с *нравственно-эстетической* точки зрения исполь-

зование свободного времени”. До Андропова в 1980 г. кандидат в члены Политбюро Э. Шерваднадзе выразился еще красивее: ”Жизненные ценности человека являются критерием его поведения в обществе, критерием его представлений о счастье и достоинстве. И чем больше в этих ценностях духовно возвышенных, тем больше гарантии, что человек никогда не позволит себе впасть в унижительную зависимость от сиюминутных материальных потребностей, *не позволит материальному подавить в себе духовное*”. Так что высокие духовные ценности отнюдь не являются монополией только эмигрантов-антикоммунистов-социалистов. Они освоены или осваиваются и большевиками. Суть в том, что не во всякой общественной структуре, не во всякой экономической системе, определяющих ход жизни, такого сорта духовные ценности могут восприниматься массами и развиваться и совершенствоваться. Эти духовные ценности растут сами по себе, по своим законам, на особой экономической и государственной почве. Они не подчиняются государственному распределению. Их не добавишь в хлеб, как добавляют к нему витамины, чтобы духовные ценности эти вошли в плоть и кровь людей. Социализм (обобществленная собственность и монополия государственная торговля) совершенно неподходящая почва для высоких духовных ценностей и этого факта не изменить никакими стараниями управителей, пытающихся эти духовные ценности выращивать. Я склонен думать, что плодородной для высоких духовных ценностей почвой может быть только *сбалансированная демократия*, о которой я уже много раз писал (см. также книгу ”О Новой России. Альтернатива”).

Андропов был бы очень наивен, если бы рассчитывал только на пропагандируемые духовные ценности, которые, вообще говоря, успешно пропагандировать (он, я уверен, это знает) невозможно. Он может больше верить в возможность ”научного” способа заставить людей работать добросовестно. Представьте себе, что труд любого человека, физический и умственный, мог бы точно измеряться в количестве и качестве, как, скажем, сталь в количестве тонн и в качестве по прочности, в килограммах на квадратный сантиметр. Тогда задача Андропова была бы решена. Не выдал столько-то труда такого-то качества, получай наказание. Выдал больше и лучше, получай поощрение. Наивысшая

производительность даже принудительного труда была бы теоретически и, вероятно, практически возможна. К сожалению для Андропова таких измерений не только для умственного труда, но и для физического не существует и не предвидится даже в далеком будущем. В СССР испробованы многие десятки самых различных систем оплаты труда и его "измерения", но все дают, по словам Андропова, "разрыв между товарной массой и доходами населения". Население умудряется получать зарплаты больше, а производить товаров меньше.

Андропов и Черненко в один голос взывают к науке: "Мы еще до сих пор не изучили в должной мере общество, в котором живем и трудимся, не полностью раскрыли присущие ему закономерности, особенно *экономические*. Наука, к сожалению, еще не подсказала практике нужные, отвечающие принципам и условиям развитого социализма решения... надежных путей повышения эффективности производства, качества продукции, принципов научно обоснованного (!!!) ценообразования", т. е. именно тех вопросов, которые превосходно решаются частной собственностью и конкурентной торговлей без всякой особой науки.

Черненко вторит Андропову: "Партия и государство ждут от экономистов, философов, историков, социологов, психологов, правоведов разработок надежных путей повышения эффективности производства, исследования закономерностей становления бесклассовой структуры общества, интернационализации социальной жизни, развития социалистического народовластия (!!!), общественного сознания, проблем коммунистического воспитания".

Однако, после 65 лет научно обоснованного социализма надежды на науку тоже весьма слабые. Лично я уверен, что Андропов, а до него Брежнев, превосходно понимают, что никакая наука и не может найти заменителя личному интересу и свободному, непланируемому, непредписываемому творчеству. Не надеясь на социальную науку, Андропов требует вводить мощную новую технику, компьютеры, роботы и с их помощью поднять производительность труда, вопреки непокоренным душам. Однако и здесь беда. Никто не хочет это делать. Опять душа мешает. Поэтому Андропов говорит, что нужно: "Разработать

такую (какую, неизвестно) систему организационных, экономических и моральных (опять душа) мер, которая заинтересовывала бы в обновлении техники и руководителей и рабочих и, конечно, ученых и конструкторов, сделала бы невыгодной (и душе нет доверия) работу по старинке. Над этим сейчас работают Госплан, Академия наук, Госкомитет по науке и технике". А разве они раньше над этим не работали? Они этим занимались всю их советскую жизнь. Того же требовал много лет тому назад сам Владимир Ильич.

В свете этой неудачи кажется весьма неуверенным и следующее заявление Андропова: "Будущее нашей энергетики это прежде всего использование новейших атомных реакторов, а в перспективе и практическое решение проблемы управляемого термоядерного синтеза". Это что же? Гидростанции, уголь, нефть, газ уже не спасают? О них в речи нет ни одного слова. Или слишком с ними дело трудоемкое, громоздкое, слишком зависящее от души? Любопытно! Раньше ни один Величайший не упускал случая поговорить о гидростанциях, нефти, газе, угле.

А вот и еще одна социалистическая "соломинка": "Мы подходим к совершенствованию производственных отношений (душа). Их основа общественная собственность на средства производства. У нас она имеет, как известно, двоякую форму: собственность государственная и колхозно-кооперативная. Перспективу мы видим в слиянии этих двух форм в единую общенародную. Разумеется (!?), не путем механического преобразования колхозов в совхозы. Практика показывает, что есть иные пути — например, агропромышленная интеграция, развитие межколхозных и колхозно-совхозных объединений".

Цель Андропова — поднять производительность труда путем развития единства управления (как будто все еще недостаточно едино) и путем дальнейшего укрупнения. Единство и гигантомания — типичные проявления существа социализма. Несчастные же председатели колхозов и директора совхозов уже и сейчас не в состоянии справиться с уже огромными хозяйствами. Андропову же, конечно, удобнее иметь дело с десятком, а не с сотнями тысяч подручных.

Любопытно, что Андропов не хочет превращать все колхозы в совхозы. Он мог бы это сделать одним росчерком пера. Дело в

том, что совхозы работают плохо, а мер воздействия на персонал, находящийся на зарплате, как и в промышленности, не хватает. В колхозах же и доходы и жизнь колхозников все же связаны теснее с продуктивностью, т. е. понуждения к работе больше, чем в совхозах и в промышленности. Вот и "присобачивают" колхозы к совхозам, не меняя сути колхоза. Андропов чувствует, что в этом деле требуется осторожность. С сельским хозяйством, т. е. с пищей и сырьем для промышленности дело уже обстоит крайне плохо. Дальнейшее ухудшение грозит голодом в массовом масштабе, а это большая опасность для управителей.

"Коронный номер" Андропова — новый закон, о котором он говорит так: "Первый в истории нашего государства Закон о трудовых коллективах". Несомненно, Андропов правильно рассчитывает, что среди социалистических "глухонемых слепцов" (смотрите, например, Д. Штурман "Мертвые хватают живых", стр. 202) на Западе этот закон будет раздут до небес, как введение рабочего самоуправления, как признак приобретения социализмом человеческого лица. В действительности, это лишь дальнейшее закабаление трудящихся. "Трудовой коллектив" становится ответственным за составление правильных планов, за их выполнение, за дисциплину и поведение трудящихся, за их наказание и поощрение, за перемещения и "закрепление" трудящихся на работе. При этом не меняется ни партийное руководство, ни административная структура, ни даже роль профсоюзов.

В гитлеровских и советских концлагерях такое "самоуправление" существовало и существует. В советских — еще в ленинских времен. Это испытанный способ переложить ответственность за грехи социализма и за скверную жизнь на плечи самих трудящихся и нанебовать надсмотрщиков над трудящимися из среды самих трудящихся. Это есть, по существу, попытка перенести колхозный опыт принуждения к работе на промышленность, так как сама зарплата к достаточному принуждению в условиях социализма неспособна. Фактически, этот закон совсем не первый и, конечно, не последний. Уже около десятка лет существуют в промышленности, так называемые, Постоянно Действующие Производственные Совещания, которые были введены для той же цели заставить людей работать, но

оказались неуспешными. Несколько лет тому назад пытались ввести в промышленность систему трудодней, как в колхозах. Предприятиям устанавливалась зависимость всего фонда заработной платы от количества продукции. Нарботал, как положено по плану, продукции, скажем, на миллион рублей, получаешь для распределения между работниками, скажем, 300.000 рублей. Из этой суммы каждый работник должен был получать свою зарплату в соответствии с его трудоднями. Дело это быстро провалилось. Поднялись скандалы на весь СССР, а само производство совсем расстроилось.

Нетрудно заметить, что из всех систем понуждения к труду колхозная остается самой надежной при всей ее известной ненадежности и неэффективности. Социализм в своем арсенале лучшего не имеет. Приходится колхозы не забывать. Да и что такое СССР, если не большой колхоз. Этот процесс спихивания ответственности за обеспечение жизни граждан на самих граждан очень характерен для данного этапа "развитого социализма". Около двух лет тому назад Брежнев тоже выпустил декрет, перекладывающий ответственность за гражданское хозяйство и частично за планы государственных предприятий на безгласые Советы, оставляя власть за партией и за Советом Министров.

В связи с этим процессом следует обратить внимание и на следующий абзац в речи Андропова: "Особенно необходимо наладить бесперебойное снабжение населения высококачественными (!!!) продуктами питания, причем так, чтобы достигнуть максимально возможной *самообеспеченности*"!! Непосвященным эта фраза будет непонятна, а мы ее смысл знаем. Уже давным давно существуют ОРСы (Отделы Рабочего Снабжения). Их задача и есть это самое самообеспечение. Для этого их обеспечивают достаточно большими участками земли, которые должны обрабатываться силами предприятия. Для этого им выделяется "подшефный" колхоз, который они должны тоже обеспечивать рабочей силой и разными другими вещами, необходимыми в сельском хозяйстве. Они могут также делать самозаготовки в разных районах страны. Постепенно это самообеспечение расширяется и включает в себя устройство на предприятии парикмахерских, прачечных, бань, медицинских кабинетов, магазинов, распределителей. Давно тоже на пред-

приятнях существовали отделы, ведающие жилплощадью, принадлежащей предприятию, а также Отделы Капитального Строительства (ОКС), которые занимались и строительством жилплощади для предприятия. Можно себе представить экономическую эффективность этих доморощенных организаций. Общественная производительность труда, подъем которой есть главнейшая задача Андропова (как он сам говорит), с помощью всех этих непрофессиональных организаций резко понижается. Это Андропову, несомненно, известно. Однако, есть задача и еще более важная: спихнуть ответственность за скверную жизнь с правительства и социализма на самих трудящихся и освободить государство от заботы обеспечивать гражданские потребности. Трудящийся, страдающий от голода, недостатка жилища, недостатка элементарного обслуживания, теперь должен жаловаться администрации предприятия, Трудовому Коллективу, т. е. самому себе. Круг замкнулся. ”Сам дурак!”.

Спрашивается, а для чего государству социализма освобождаться? Ведь его задача, казалось бы, и состоит в том, от чего оно освобождается. Вспомним стратегию Андропова. Он имеет в качестве наиглавнейшей задачи распространение социализма на весь Запад и для этого ему нужно мобилизовать абсолютно все силы и средства. Без завоевания Запада социализм в СССР погибнет. Поэтому Андропов пускается во все тяжкие для того, чтобы задержать развал, но и только. Например, он заявляет: ”Возникает необходимость серьезно подумать о реформе нашей школы, включая и систему профессионально-технического обучения... Хорошее средство воспитания — соединение обучения с *производительным трудом*. Надо твердо проводить курс на то, чтобы прививать школьникам привычку и любовь к труду. Это может быть труд физический или умственный, но обязательно *настоящий труд* — *производительный, нужный* обществу.

Недавно один из американских верховных судей вполне разумно потребовал перестройки тюрем на предприятия принудительного труда. В советских концентрационных лагерях это делается с самого начала их существования на самой заре революции. Суть в том, что то же самое делается и в Большой тюремной зоне — в ”свободном” СССР, но очень unsuccessfully. Взрослое население и под принуждением работает из рук вон

плохо. Приходится Андропову братья за детский труд. Детей легче уговорить, легче обмануть, легче привлечь к пусть не очень умелой, но добросовестной работе. Оказывается, школы и школьники СССР дают, подобно приусадебным участкам, весьма ощутительный вклад в продукцию социалистического хозяйства. Д. Штурман, бывшая много лет учительницей в СССР, как мне известно, впервые отметила и исследовала этот факт.

Обратимся наконец к заключительному аккорду речи Андропова: "Товарищи! Решение огромных задач, стоящих перед страной, потребует *дальнейшего повышения руководящей роли партии*". Вот вам и "Трудовые Коллективы!" "Очень важно, например, обеспечивать на деле правильное распределение функций органов партии и государства. Не раз говорилось, что партийные органы не должны дублировать государственные, но не всегда это удается изжить. В результате это нередко приводит к снижению ответственности руководителей государственных органов, к стремлению переложить ее на органы партийные". Таким образом, руководит и должна руководить партия, а нести ответственность должны другие, в частности самообеспечиваемые трудящиеся. *Социалистическое государство, несмотря на всю его колоссальную власть управителей над жизнью и смертью граждан, совершенно не справляется со своей главной функцией — обеспечения хотя бы насущных нужд населения. Ему с большим трудом удастся управляться только со значительно более простой функцией — военно-завоевательной.*

Смею вас заверить, это не потому, что вожди и их команды — некомпетентные идиоты. Это было бы весьма опасным предположением для нас, еще не превращенных в рабов. Дело в том, что разумное и полное управление многими миллионами граждан — социализм — невозможно из-за ограничений человеческого разума, из-за его полного противоречия самой человеческой природе, из-за необходимости применения крайнего насилия и принуждения в результате абсолютной потери внутреннего, собственного равновесия миллионов разнонаправленных интересов, которые невозможно повернуть все в нужную сторону.

Легко установить, что речь Андропова в точности следует рецептам классиков социализма и, в частности, Ленина и Сталина. Даже его слова о невозможности экспорта революции совершенно точно повторяют слова Сталина (смотрите, например, Д. Штурман “Мертвые хватают живых”, стр. 490). Для совершенно постороннего человека речь Андропова вполне разумна и полна делового смысла. Даже его духовные мотивы не встретят возражений. Западные интеллектуалы и социалисты найдут речь блестящей, знаменующей силу социализма, знаменующей “демократизацию и либерализацию” в СССР (“Самоуправление” в виде “Трудовых Коллективов”). Андропов будет ими поднят на шит!

“Благодетели” (см. “Новый Журнал” № 147) будут Андропову тоже очень рады. Он приближает их мечту — осуществление Нового Мирового Порядка, которым они надеются руководить, как неоспоримые профессионалы-специалисты. Конечно, Андропов может их жестоко разочаровать, пустив им пулю в затылок в соответствии с правилами единовластия социализма. Что касается реакции в толще населения СССР, среди тех, кто еще следит за действиями управителей, речь Андропова может вызвать только отчаяние. Люди ждали чего-то вроде НЭПа, а получили лошадиную дозу социализма, да еще из рук чекиста.

В Политбюро речь о каком-то НЭПе безусловно шла. Об этом свидетельствует хотя бы следующий абзац из речи Черненко: “Надо шире изучать все лучшее в опыте братских стран социализма”. Как будто, явный намек на Венгрию или, может быть, на Югославию. Беда, конечно, в том, что осведомленные люди знают: опыт этих стран далеко не такой положительный, как может показаться неискушенному в этих делах человеку. Спрашивается, однако, кто в конечном итоге восторжествует, Андропов или 140 миллионов мозгов и рук трудящихся, которым социализм, как корове седло. Я думаю, 140 миллионов. Андропову придется торопиться с победой на перспективном западном фронте. Авось, кривая вывезет.

Несомненно и российским народам и народам мира суждено еще много пострадать от социализма, но он и в СССР и везде в мире обречен на гибель. Наша задача эту гибель ускорить и спасти миллионы жертв.

*А. Федосеев*

# УБИЛ ЛИ СТАЛИН ЛЕНИНА?

## Помогал ли Сталин Ленину умирать

Когда один мой студент в Русском Институте Американской армии попросил меня назвать главные рычаги, опираясь на которые Сталин достиг своей единоличной власти, мой, звучащий парадоксально ответ послужил темой нашего будущего семинара:

Технический аппарат ЦК.

— Набальзамированный труп Ленина.

— Практический синтез уголовщины и политики.

Соратники Сталина постоянно твердили: "Сталин — это Ленин сегодня". И это было совершенно правильно. Советская партийно-государственная машина до последнего своего винтика была создана Лениным, но как водитель и эксплуататор этой беспрецедентной террористической машины, Сталин вполне превзошел своего учителя. Еще в начале века Ленин говорил: "Дайте нам организацию революционеров, и мы перевернем Россию" ("Что делать?", 1902 г.). Эту идею Ленина Сталин положил в основу своей программы установления единоличной диктатуры, правда, не сформулировав ее открыто: "Дайте мне организацию парт-аппаратчиков, и я переверну советскую Россию". Исполнительно-технический аппарат ЦК Сталин создал еще за год до того, как сам стал его главой. Будучи председателем Оргбюро ЦК, занимавшегося назначением и снятием высших кадров партии и государства, Сталин изгнал из Секретариата сторонников Троцкого. Ответственным секретарем ЦК Сталин назначил своего ставленника, соратника по дореволюционной "Правде" Молотова, а его старшим помощником начальника своей канцелярии в Наркомате Национальностей — Товстуха. То, что успели сделать ставленники Сталина с аппаратом ЦК еще в период активной работы Ленина и за год до назначения Сталина генсеком, показал

XI съезд партии (март-апрель 1922 г.). Ногин, делавший доклад от имени Центральной Ревизионной Комиссии, заявил, что между партией и ее ЦК образовалось некое "средостение": "Это — партийная бюрократия, партийные чиновники. Они, эти неизвестные в партии люди, фактически руководят важнейшими делами партии, вплоть до назначения и снятия высших кадров" ("Одиннадцатый Съезд РКП(б). Стеногр. отчет", Москва, 1961, стр. 61). Выступивший по докладу Ногина Стуков заявил, что Оргбюро и есть главное бюрократическое средостение между ЦК и партией (*там же*, стр. 99). Явление это стало настолько очевидным, а критическое отношение партии к нему настолько кричащим, что русский марксовед Рязанов (к которому Ленин часто обращался за фактическими справками о тех или иных высказываниях Маркса и Энгельса) на XI съезде сказал прямо в лицо Ленину слова, которые я уже приводил в "Происхождении партократии": "Наш ЦК — совершенно особое учреждение. Говорят, что английский парламент все может, он не может только превратить мужчину в женщину. Наш ЦК куда сильнее: он уже не одного очень революционного мужчину превратил в бабу, и число таких баб невероятно размножается" (*там же*, стр. 79).

Поскольку на том же съезде Сталин был избран генсеком (согласно Троцкому — против воли Ленина), процесс бюрократизации партии и абсолютизации власти аппарата ЦК продолжал идти с возрастающей интенсивностью. Конечная цель этого процесса — очистка партии от партийных "еретиков" в лице разных оппозиций внутри партии и даже ее ЦК, создание такой партии, которая политически и идеологически состояла бы как бы из одного куска. Был найден и метод для достижения этой цели — *периодические чистки партии от инакомыслящих*. Нашел этот метод не Сталин, а Ленин.

В первом решении о чистке партии 1921 года, опять-таки за год до "генсекства" Сталина, а именно в "Письме ЦК ко всем парт-организациям о проведении чистки партии" от 27 июля 1921 года говорилось: "Мы производим не просто очередную перерегистрацию, а именно генеральную чистку. Строго систематически и обдуманно мы приложим все меры к тому, чтобы в наших рядах не осталось ни одного сомнительного коммуниста... Необходимо внимательно, звено за звеном, пересмотреть каждую ячейку, каж-

дого товарища, нисколько не останавливаясь перед тем, что данный товарищ занимает самый высокий пост... Необходимо, чтобы наша партия, более чем когда бы то ни было, *была вылита из одного куска*" ("КПСС в Постановлениях и Резолюциях", т. II, 1970 г., стр. 274-277).

В результате этой первой, ленинской "генеральной чистки" из партии было исключено 24,8% от общего числа членов. Сталин в дальнейшем этим методом будет пользоваться более щедро, с той только разницей, что исключенных из партии он будет выключать из жизни. Однако, универсальной отмычкой в руках Сталина, помогшей ему преодолеть все препятствия на путях сначала ко всевластию аппарата ЦК над партией, а потом — единовластию самого Сталина над аппаратом ЦК, послужило решение X съезда партии "О единстве партии", принятое по инициативе Ленина.

Это решение поручало ЦК: 1) уничтожить всякую фракционность и образование групп внутри партии, думающих иначе, нежели думает сам ЦК, 2) ЦК были даны полномочия "применять меры в случае нарушения дисциплины, вплоть до исключения из партии" — даже членов и кандидатов в члены ЦК ("X съезд РКП(б). Стеногр. отчет", 1963 г., стр. 571-576). Тем самым Ленин вводил в партии перманентное "осадное положение", поставив партаппарат над партией.

Эту резолюцию Ленина Шляпников (руководитель ЦК в России накануне и во время Февральской революции) на съезде оценил так: "Владимир Ильич всем прочел лекцию о том, каким образом не может быть достигнуто единство. *Ничего более демагогического и клеветнического*, чем эта резолюция, я не видел и не слышал в своей жизни за 20 лет пребывания в партии" (*там же*, стр. 530-533). Максимовский (член партии с 1903 г.), выступая содокладчиком на X съезде, отметил, что вся власть "строится на принципе бюрократической централизации... Бюрократической системе нужен не сознательный коммунист, а послушный исполнитель, нужен чиновник, который слушает приказы сверху" (*там же*, стр. 243-253).

Еще накануне этого съезда Коллонтай выпустила брошюрку "Рабочая оппозиция", в которой говорилось: "Былой тип идеального работника у нас исчез, появились управляющие и управляемые, стоящие одни — наверху, другие — внизу". Очевидцы рас-

сказывали, что когда на съезде Коллонтай подошла к Ленину, тот отказался подать ей руку. "Такой даме я руки не подаю", — будто бы сказал Ленин и демонстративно отвернулся. Между тем на пути Ленина к власти она была его верной подручной. Сталину недаром приписывали слова, что если Крупская не откажется от участия в "Новой оппозиции", вдовой Ленина он сделает Коллонтай.

99% делегатов X съезда партии, голосовавших за резолюцию Ленина, были впоследствии, при Сталине, исключены из партии, руководствуясь этой резолюцией, а потом и расстреляны. Интересно, что Сталин не присутствовал на этом поименном историческом голосовании, как он не присутствовал и на историческом заседании ЦК 24 октября 1917 г., на котором решили начать восстание. Один из делегатов X съезда, голосуя за резолюцию, продемонстрировал прямо-таки пророческий дар. Им был Карл Радек, который сказал: "Когда я слышал, как товарищи говорили о новом праве, которое дается ЦК и ЦКК в известный момент решать вопрос об исключении из ЦК и т. д. — у меня было чувство, что будто здесь устанавливается правило, которое неизвестно еще против кого может обернуться... Голосуя за эту резолюцию, я чувствовал, что она может обернуться и против нас, и, несмотря на это, я стою за резолюцию" (*там же*, стр. 553-554).

Да, Сталин еще не был генсеком, но запомним, что он был больше, чем генсеком: он остался, как единственный из членов Политбюро, также и членом Оргбюро со дня создания этих органов (1919), где председательствовал. Так как Оргбюро распределяло высшие кадры партии и государства, Сталин был выше всех секретарей ЦК. Ленин знал, что делал, рекомендуя Сталина на должность председателя Оргбюро: этот уж не даст спуску никому — ни идейным фанатикам "внутрипартийной демократии", ни "закомиссарившимся" рабочим лидерам, как любил выражаться Ленин. Однако, встав одновременно и во главе аппарата ЦК в качестве генсека (1922 г.), Сталин начал, как это было в его стиле, невыполнять план Ленина по чистке партии: началась неизвестная доселе практика назначения секретарей губкомов и обкомов; за ними потянулась подбираемая ими государственная бюрократия. Местные организации подняли вой: "Долой незнакомцев!", "Долой партийную олигархию!".

Лидер группы "Демократического централизма" Сапронов на IX съезде партии (1920 г.) как раз ЦК и назвал "маленькой кучкой партолигархии", на что член Политбюро Украины Яковлев (будущий Наркомзем) ответил, что Сапронов хочет заменить существующую олигархию другой олигархией — "только головой ниже... Мы предпочитаем гениальную олигархию — посредственной олигархии" (IX съезд РКП(б). "Протоколы", 1960, стр. 57). На том же съезде Ленин объявил свой собственный пресловутый "демократический централизм" — "допотопным и устарелым", а тех, кто его все еще проповедовал ("децистов") — "идиотами" (*там же*, стр. 124).

Ленин хотел любой ценой и при всех условиях — "единоначалия" вместо "коллегий". Лидер "децистов" сказал, что видит в постановке вопроса Лениным весьма опасную тенденцию: "Диктатуру пролетариата мы превратим в единоличную власть диктатора" (*там же*, стр. 176). Он даже назвал трех лиц в качестве кандидатов в потенциальные диктаторы — Ленина, Троцкого и Сталина. *Это было в 1920 г.* В "Правде" даже появилась статья, в которой имелись выдержки из работы Гольцмана — одного из сторонников Ленина: "Коллегия плоха потому, что не дает размаха гениальной личности". На это один из группы "децистов" ответил: мы защищаем не всякую коллегию: например, мы предлагаем распустить такую коллегию, как Оргбюро!

На все эти обвинения Ленин ответил: "Советский социалистический централизм единоначалию и диктатуре несколько не противоречит, *волю класса иногда осуществляет диктатор, который иногда один более сделает и часто более необходим*" (Ленин, т. XXV, стр. 119, изд. 3-е — курсив мой — А. А.).

И вот — через несколько месяцев после своего назначения генсеком — Сталин начал проводить в жизнь через Оргбюро программу Ленина о "единоначалии", но с острием, направленным против самого Ленина (только тогда Ленин забеспокоился о том, не лезет ли сам Сталин в этого диктатора, о котором пророчил Осинский), тем более, что активизация Сталина совпала с обострением болезни Ленина.

Болезнь Ленин начал с конца 1921 г., а 25 мая 1922 г. у него случился первый удар, в результате которого произошел частичный паралич правой руки и правой ноги, а также расстройство речи. С

этой даты, 25 мая 1922 г., начинаются интриги и скрытая борьба за наследство еще не умершего, но явно умирающего Ленина. В Политбюро (члены: Ленин, Троцкий, Зиновьев, Каменев, Сталин, Рыков, Томский; кандидаты: Бухарин, Молотов, Калинин) образовалась негласная "тройка" (Сталин, Зиновьев, Каменев), чтобы предупредить приход к власти Троцкого — на словах, а на самом деле, — чтобы самим захватить власть. Формальным главой "тройки" был Зиновьев; на деле "тройка" была сталинским изобретением, а Зиновьев и Каменев стали просто пешками на сталинской шахматной доске, хотя сами и мнили себя ведущими фигурами.

"Тройка" добилась назначения Сталина связным между больным Лениным и ЦК. Только он один имел доступ к больному Ленину. Пока Ленин в Горках под Москвой боролся со смертью, Сталин, пользуясь поддержкой Зиновьева и Каменева, удивительно ловко боролся за укрепление своих личных позиций. По его инициативе и вопреки предупреждению Ленина, в сентябре 1922 г. Сталин проводит через Оргбюро свой проект "автономизации" национальных республик, т. е. вступления УССР, БССР и ЗСФСР в состав РСФСР на началах "автономии". В октябре 1922 г. Сталин проводит, опять-таки вопреки Ленину, решение пленума ЦК о частичной отмене монополии внешней торговли. В этих условиях Ленин обращается к Троцкому с предложением заключить блок против Сталина. Вначале предложение Ленина носит общий характер: он предлагает Троцкому стать его заместителем, чтобы провести "радикальную личную перегруппировку", но когда Троцкий ответил, что дело не столько в госаппарате, сколько в партаппарате, Ленин ответил: "Вы, значит, предлагаете открыть борьбу не только против государственного бюрократизма, но и против Оргбюро ЦК". — Оргбюро ЦК означало самое средоточие сталинского аппарата. — "Пожалуй, выходит так". "Ну что ж, — продолжал Ленин, явно довольный тем, что мы называли существо вопроса, — я предлагаю вам блок: против бюрократизма вообще, против Оргбюро в частности" (*Троцкий, Моя жизнь, ч. 1, Берлин, 1930, стр. 216-217*).

Если два признанных вождя Октябрьского переворота, один — глава партии и государства, другой — вождь Красной Армии, были вынуждены заключить блок против *одного* Сталина, значит

— Сталин превратился в силу, равную им обоим вместе взятым. Троцкий замечает, что они с Лениным решили создать комиссию, куда бы вошли они оба с тем, чтобы комиссия стала "рычагом разрушения сталинской фракции" (*там же*).

Ленин попросил Троцкого выступить на Пленуме от его собственного имени против обоих названных выше решений (об "автономизации" и о частичной отмене внешней торговли). 15 декабря 1922 г. Ленин сообщил Сталину об этом своем решении. Но Троцкий, выступающий по мандату Ленина, был для Сталина страшнее, чем сам Ленин, ибо такой Троцкий выглядел бы в глазах партии законным преемником Ленина. Поэтому Сталин поспешил взять обратно решение о монополии, а насчет "автономизации" решил дать бой.

Ленин в своем письме в ЦК о плане Сталина насчет автономизации писал, что это "вопрос архиважный. Сталин немного имеет стремление торопиться". В ответ Сталин обвинил Ленина... в "национал-либерализме". Весь "национал-либерализм" Ленина сводился к тому, что он предлагал, вместо включения национальных республик в состав РСФСР, "создать одно общее союзное государство — СССР". Ленин был "великодержавным централистом" не меньше Сталина, но, как политический стратег, он умел быть эластичным — создать внешнюю форму "независимости" республик и их квази-федерацию с тем, чтобы вернее осуществлять централизацию (Ленин: "Централизация руководства — децентрализация ответственности"). Однако, Сталин долго не сдавался. В партийную литературу попали примечательные записки, которыми обменялись на заседании Политбюро ЦК Каменев и Сталин по этому вопросу.

Каменев пишет Сталину: "Ильич объявляет войну в защиту независимости" [республик]. Сталин отвечает: "Я думаю, что мы должны быть твердыми с Лениным" (*П. Поспелов, В. И. Ленин, Биография, 2-е издание, 1963, стр. 611*).

К предыдущим прибавился еще один подвох Сталина. Пользуясь болезнью Ленина, Сталин произвел в Грузии переворот, направленный против соратников и единомышленников Ленина по национальному вопросу, а ставленник Сталина в Закавказье Орджоникидзе на грузинской партконференции даже ударил по лицу одного из критиков Сталина. Грузинская партийная

организация обратилась с жалобой к Ленину на переворот, произведенный Сталиным. Сталин был вынужден послать в Грузию комиссию для проверки жалобы. Комиссия состояла из двух сталинских сторонников — Каменева и Дзержинского. Не будучи уверен в добросовестности комиссии, Ленин решил сам проверить "грузинское дело". Через свою секретаршу он затребовал от Сталина материалы "грузинского дела". Секретарша Ленина получила от Сталина ответ: "Материалы без Политбюро он дать не может" (*Ленин*, Полн. собр. соч., т. 45, стр. 476-477).

В дальнейшем драма жизни Ленина — быть или не быть ему в живых — как бы превратилась в драму самой его партии — быть или не быть этой партии суверенным и живым политическим организмом, или оказаться лишь орудием в руках Сталина в его стремлении к единовластию. Но она угрожала быть и драмой политической жизни самого Сталина, ибо Ленин открыто заявил своему окружению, что "готовит бомбу" против Сталина на открывающемся в начале года XII съезде партии. Единственное условие, чтобы донести эту "бомбу" до зала заседаний съезда — это его, Ленина, выздоровление к этому времени.

Опытный конспиратор в политике и гениальный мастер лавирования, Ленин вдруг допускает гигантскую психологическую ошибку, изменяя собственному тактическому принципу: нельзя сообщать противнику наперед, что ты собираешься сделать с ним завтра. Он делится своими планами против Сталина не только со своими секретарями, но и с другими членами Политбюро — Каменевым и Зиновьевым (о которых он точно знал, что они — в заговоре со Сталиным, в "тройке"), с Троцким, которого Ленин усердно вербовал в союзники против Сталина, но который, за дымовой завесой собственной риторики, никогда не мог постичь истинной природы Сталина.

Но это все ничто по сравнению с той роковой ошибкой, которую человек может совершить лишь один раз в жизни, ибо цена этой ошибки — собственная жизнь. После XX съезда партии об этой роковой ошибке Ленина узнал весь мир: свои планы политической ликвидации Сталина Ленин сообщил письменно *самому* Сталину 24 декабря 1922 г.

1) "Письмо XII съезду", известное как "Завешание" Ленина. В нем сказано: "Тов. Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в

своих руках необъятную власть, и я не уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью” (*Ленин*, Полн. собр. соч., т. 45, стр. 345-346).

2) Записки “К вопросу о национальностях, или об “автономизации”, 30-31 декабря 1922 г. В этих записках Ленин подводит политические итоги интриг Сталина по национальному вопросу, защищая позицию грузинских большевиков, которых Сталин объявил “уклонистами” и “социал-националами”. Ленин добавляет, что Сталин сам “является настоящим и истинным не только “социал-националом”, но и грубым великорусским держимордой”; “политически ответственным за всю эту поистине великорусско-националистическую кампанию следует сделать, конечно, Сталина и Дзержинского” (*там же*, стр. 361). В начале записок Ленин замечает: “Известно, обрусевшие инородцы всегда пересаливают по части истинно русского настроения” (стр. 358).

3) Добавление 4 января 1923 года к “Письму XII съезду”: “Сталин слишком груб... Поэтому я предлагаю товарищам обдумать способ перемещения Сталина с этого места и назначить на это место другого человека...”, который, по Ленину, должен отличаться от Сталина тем, что он “более терпим, более лоялен, более вежлив... Это не мелочь, или это такая мелочь, которая может получить решающее значение” (*там же*, стр. 346).

4) 5 марта 1923 г. “Т. Сталину. Строго секретно. Лично. Копию гг. Каменеву и Зиновьеву. — Вы имели грубость позвать мою жену к телефону и обругать ее... Я не намерен забывать так легко то, что против меня сделано, а нечего и говорить, что сделанное против жены я считаю сделанным против меня. Поэтому прошу вас взвесить, согласны ли вы взять сказанное назад и извиниться или предпочитаете порвать между нами отношения. С уважением, Ленин” (*Ленин*, Полн. собр. соч., т. 54, стр. 329-330).

Словом, Ленин сказал Сталину, как Тарас Бульба своему сыну Андрею: “Я тебя политически породил, я тебя политически и убью”. И — ошибся, ибо имел дело с “сыном”, способным на организацию “отцеубийства”, с учеником, стократ превосходящим учителя в искусстве и технике организации политических и физических убийств. Ответа от Сталина на письмо с угрозой порвать отношения Ленин не получил, ибо сие зависело не от Ленина, а от Сталина, так как в феврале 1923 г. Политбюро, когда Сталин

дипломатически, в уверенности на отказ, просил освободить его от ответственности за режим больного Ленина, еще раз подтвердило свое старое решение. Таким образом, и дальше только один Сталин имел доступ к Ленину и был ответствен за соблюдение больным режима лечения. Что же касается "Письма XII съезду" и записок об "автономизации", предназначавшихся Лениным для публикации в "Правде", то Сталин и "тройка" в целом решили утаить "Письмо" от XII съезда и отказать в публикации статьи.

Когда в октябре 1927 г. Зиновьев и Каменев на Пленуме ЦК и ЦКК признались, что, вопреки воле Ленина, они скрыли от XII съезда (апрель 1923 г.) "Письмо XII съезду", то находчивый Сталин, мало заботившийся насчет логических объяснений, если его интересы расходились с законами логики, просто заявил: "Было доказано и передоказано, что никто ничего не скрывает, что "Завещание" Ленина было адресовано на имя XIII (Тринадцатого) съезда" (*Сталин*, Сочинения, т. 10, стр. 173).

Ленин прямо пишет в "Письме": "Я очень просил бы предпринять на *этом съезде* ряд перемен в нашем политическом строе" (*Ленин*, Полн. собр. соч., т. 45, стр. 343). *Этот съезд* и есть предстоящий через два с половиной месяца XII съезд, а, если верить Сталину, Ленин якобы пишет не "этому съезду", а еще через съезд — XIII съезду. Почему была предпринята такая грубая фальсификация?

В своих книгах я неоднократно указывал, что Сталин в интересах захвата власти над партией и государством был способен не только убивать соратников Ленина, но и *убить самого Ленина*. В "Происхождении партократии" я вскользь упомянул о "психологическом яде", который Сталин ввел в мозг тяжело больного Ленина, чтобы ускорить его смерть. Сейчас я хочу остановиться на этом более подробно.

Итак, помогал ли Сталин Ленину умирать? Напомним, что если европеец Ленин в известном письме Сталину лишь для красного словца угрожает "местию" за оскорбление жены ("Я не намерен так легко забывать"), то азиат Сталин — самое воплощение мести, всеми фибрами души, до мозга костей. Ведь Ленин трижды оскорбил Сталина — и каждый раз оскорбление могло обернуться для Сталина судьбоносным.

Сталин — профессиональный подпольщик-террорист, став во

главе ЦК и "Правды" с марта по апрель 1917 г., направлял политику большевиков в России, провел Всероссийское совещание большевиков, на котором, по его предложению, было решено: 1) оказывать "условную поддержку Временному Правительству", 2) вновь объединиться с меньшевистской партией. Во главе объединенной РСДРП встали бы Сталин и Каменев от большевиков, Мартов и Церетели — от меньшевиков. С докладом об этом решении 3 апреля должен был выступить Сталин на объединенном собрании обеих партий. Однако, в тот же день, 3 апреля 1917 г., Ленин прибыл из эмиграции и огласил свои знаменитые "Апрельские тезисы" — "никакой поддержки Временному Правительству, никакого объединения с меньшевиками". И тут же Ленин забрал у Сталина и ЦК и "Правду". Сталин должен был униженно каяться в своих ошибках.

После июльских событий 1917 г., когда большевики провалились при своей первой попытке захвата власти, Ленин бежал в Финляндию, и во главе партии вновь оказался Сталин. Он руководил VI съездом партии (июль-август 1917 г.). С сентября 1917 г. Ленин неоднократно обращается с письмами к ЦК, требуя, чтобы восстание было назначено, не дожидаясь открытия II съезда Советов, на котором Сталин и даже Троцкий хотели взять власть "легальным" путем. Вернувшись в Петроград, Ленин грубо оттолкнул Сталина от руля управления партией и сам назначил вооруженное восстание. Сталин проглотил пилюлю и, как всегда, покорно подчинился воле Ильича. Ленин, опираясь на председателя Петроградского Совета Троцкого, успешно совершил переворот и в первом советском правительстве дал Сталину фиктивный пост в совершенно фиктивном наркомате малых национальностей.

И вот теперь, когда Сталин с таким трудом и преданной службой не столько партии, сколько лично самому Ленину, добрался вновь до вершины власти, Ленин — уже в третий раз — захотел сбросить его с партийного трона. Если Сталин теперь решил, что этому больше не бывать, то надо понять и его. Сталин любил изрекать: "Принципы не примиряются, а побеждают". Поскольку священным принципом всех принципов в политике является власть, Сталин решил сохранить легально завоеванную им власть генсека любой ценой, даже ценою жизни — не своей, конечно, а Ленина.

В высших партийных кругах Грузии, особенно среди друзей Ленина, объявленных Сталиным "национал-уклонистами", упорно распространялся слух, что Ленин не умер, а покончил жизнь самоубийством, приняв яд, данный ему Сталиным. Слух этот передавался в разных вариантах — то Сталин дал Ленину яд по его настойчивому требованию, чтобы избавиться от адских мук, то этот яд Сталин дал Ленину через своего агента-врача, которого он ввел в лечашую комиссию врачей, а потом уничтожил как опасного свидетеля (называли даже имя). Был и такой вариант — Сталин разыскал для Ленина в Грузии народного целителя, лечащего от самых тяжелых болезней какими-то чудотворными травами, а на самом деле этот целитель не лечил, но залечивал Ленина ядовитыми травами. Интересно, что во всех вариантах слухов неизменно присутствует яд, будто Сталин так и ездил к Ленину с флакончиком яда, подобно тому, как к нему самому позже ездил Берия — по рассказам Хрущева. Все это, конечно, только слухи, которые не могут быть ни подтверждены, ни опровергнуты. Но, как говорится, "дыма без огня не бывает".

В конце сентября 1939 г. Троцкий написал статью под сенсационным заголовком: "Отравил ли Сталин Ленина?". Эта статья была опубликована в американской печати 10 августа 1940 г. Вполне вероятно, что Сталин, чтобы предупредить дальнейшие разоблачения Троцкого, предложил своему агенту при Троцком убить его, что и произошло через десять дней. Содержание этой статьи повторено и в неоконченной книге Троцкого "Сталин". Там Троцкий рассказывает, что в конце февраля 1923 г., вернувшись с очередного свидания с Лениным, Сталин доложил Политбюро, что Ленин просил дать ему яд, чтобы избавиться от невыносимых мук в случае нового удара. Троцкий не настаивает на том, что Сталин мог дать Ленину яд, хотя замечает, что Ленин знал, у кого просить яд.

Почему Сталин сообщил об этом Политбюро? Может быть, Сталин действительно дал просимый яд, чтобы избавить Ленина — от мучений, а себя — от него?

Трудно найти в истории политиков, которые, планируя преступление, умели бы создавать себе наперед столь абсолютное алиби, как это умел делать Сталин. Можно быть уверенным, что Сталин никакого яда Ленину не дал, но Сталин откровенно

предупредил Политбюро: смотрите в оба, я, конечно, Ленину яда не дал бы, а вот сам Ленин ищет яда, а кто ищет, тот и находит! В семье ли, среди ли друзей-посетителей (несмотря на "медицинский карантин", Ленина посещали почти все, кроме Троцкого) может найтись человек, который даст ему яд из сострадания. Если же при вскрытии тела Ленина установят отравление, Сталин скажет: Вот видите, что я вам говорил! Сталин был не мелкотравчатый ловкачом и жуликом, а тем, кем его называли при жизни — корифеем. Но корифеем — науки преступления и искусства его маскировки. К тому же Сталин жил не в эпоху Римской империи, когда его духовный предтеча, Нерон, почти не скрывал, что убил собственную мать. И не в средневековье, когда тираны прибегали к ядам довольно по-дилетантски. Сталин жил в эпоху, когда яды были усовершенствованы, а их применение так скрупулезно дозировано, что человек может умирать неделями, а если нужно — то и годами.

Болезнь Ленина не считалась неизлечимой. Первый раз Ленин пожаловался на свое недомогание на XI съезде партии в апреле 1922 г. Официально приглашенные для осмотра Ленина из Германии профессор Ф. Клемперер и О. Ферстер не нашли у Ленина ничего серьезного. В интервью в "Таймсе" от 5 апреля 1922 г. было сказано: "Ленин — человек крепкого физического сложения, большой рабочей энергии. За последнее время его работоспособность уменьшилась, и он и его друзья решили расследовать, не является ли это следствием какой-либо болезни... Мы осмотрели Ленина и нашли лишь небольшую неврастению, следствие переутомления... Никаких медицинских советов не потребовалось. Мы рекомендовали, чтобы Ленин некоторое время берегся и отдохнул" (*Луис Фишер, Жизнь Ленина, Лондон, 1970, стр. 867*).

Ленин начал думать об отдыхе на Кавказе и даже переписывался на этот счет с кавказским партийным руководителем — Орджоникидзе. Ленин ему писал: "Нервы у меня все еще болят, и головные боли не проходят. Чтобы испробовать лечение всерьез, надо сделать отдых отдыхом" ("Ленинский сборник", т. 35, стр. 344-345). Все, что Ленину требовалось — это максимальное спокойствие. Заключением всех медицинских светил было — надо максимально шадить нервы Ленина. Сталин, избранный на этом съезде генсеком (по Троцкому — вопреки Ленину) сделал все от

него зависящее, чтобы максимально вредить нервам Ленина и создать вокруг Ленина условия максимального беспокойства. У Ленина было три удара — 25 мая, 23 декабря 1922 г. и 8 марта 1923 г. Четвертый удар, 19 января 1924 г., оказался смертельным. Каждому удару предшествовало невероятное волнение Ленина в связи с очередным подвохом именно Сталина.

Масштаб, характер и политическая цель этих подвохов поддаются точной реконструкции на основании документов. Никто не может обвинить Сталина в том, что ему физическая смерть Ленина милее, чем собственная политическая смерть; а что Ленин готовит ему такую смерть, — об этом не просто говорят, а кричат названные документы.

Сталин хочет предупредить такой ход событий в полном согласии со своей философией уголовного, которая впоследствии сделалась девизом уркачей его империи: "Умри ты сегодня, а я умру завтра!". Для этого ему вовсе не нужно прибегать к такому грубому методу, как вспрыснуть яд или подать его в пищу. Сталин хорошо знает, что существуют легальные методы для устранения нежелательных друзей, методы, которые потом станут его "второй профессией" — 1) "медицинское убийство" (впоследствии этот метод даже получит у Сталина специальное название: "вредительское лечение", 2) "психологическое убийство", когда людей доводят психическими атаками до смертельного удара или до самоубийства. Насколько первый метод был действенным и безопасным, гарантирующим неразоблачение, рассказывал на своем процессе в 1938 г. шеф НКВД Ягода, который заявил, что он этим методом умертвил Максима Горького, его сына, своего предшественника Менжинского, члена Политбюро Куйбышева (он, конечно, умолчал о том, что действовал по поручению Сталина и что он, старый фармацевт по профессии, по поручению того же Сталина создал при НКВД даже специальную аптеку для "лечения" ядами). Эффективность второго метода, метода психических атак Сталин как раз и доказал на Ленине, на человеке, который был исключительно благодарным объектом для таких атак ввиду его прямо-таки патологической чувствительности и раздражительности в делах текущей политики.

Сталин довел Ленина до того, что тот хотел покончить жизнь самоубийством, но Сталину было выгоднее, чтобы Ленин кончил

жизнь без эксцессов. Другим он охотно разрешал эти "эксцессы". Именно из-за непрекращающихся психических атак Сталина покончили жизнь самоубийством члены Политбюро Томский, Орджоникидзе, члены ЦК — Гамарник, Иоффе, Лашевич, Ломинадзе, Любченко, Скрыпник. Поскольку все специалисты, да и все медицинские учебники единодушны в утверждении, что между болезнью такого рода, как у Ленина, и влиянием внешнего мира на эту болезнь существует функциональная связь, Ленину было запрещено общаться с внешним миром. Это запрещение касалось всего — чтения, переписки, телефонных разговоров, приема посетителей. Полный информационный карантин должен был освободить Ленина не только от волнения, но и от необходимости думать о политике (когда в 1923 г. в Берлине умер его злейший враг Мартов, то даже этот факт семья скрыла от него).

Вот этот детальный и всесторонний порядок психотерапии, предложенный врачами для лечения Ленина, по всей вероятности, подал Сталину идею разработать свою собственную психокриминальную науку — "психоразрушение". В эту науку, как и в "специальную аптеку" НКВД, должно было войти все, что было запрещено медициной и все, что могло повредить психологическому комплексу больного. Поэтому "психоразрушение" Сталина было системой психологических воздействий, направленных на подрыв здоровья, а затем и гибель человека. Позже система "психоразрушения" была положена в основу подготовки больших политических процессов 30-х годов. Она никогда не применялась сама по себе, но — в сочетании с двумя другими системами — "лекарствами" из аптеки Ягоды ("волеослабляющие" или "воле-разрушающие" вещества, как их тогда называли) и "методами Курского" (методы физических пыток, впервые примененные во время "Шахтинского дела" будущим заместителем Ежова — Курским и его помощником Федотовым из Северокавказского Краевого управления ГПУ). Только такая комбинация психологических и физических пыток на непрерывных допросах ("конвейер") приводила к желательному для следствия результату.

Ленин был, в сущности, под домашним арестом (недаром у него в беседе со своей секретаршей вырвалось выражение: "Если бы я был на свободе (сначала оговорился, а потом повторил, смеясь:

Если бы я был на свободе...” — Ленин, Полн. собр. соч., т. 45, стр. 477), все три секретарши Ленина в Горках — Володинова, Глезер, Фотиева оказались агентами Сталина, потому он их и оставил в живых, а верховным надзирателем был его враг Сталин. Но Сталин свою жертву не подвергал, конечно, никаким физическим пыткам; не знаем мы также — давали ли помощники Сталина из его агентуры среди лечащих врачей какие-нибудь противопоказанные лекарства, но зато мы в состоянии доказать, что Сталин впервые применил именно к Ленину свою систему “психоразрушения”.

При первом ударе Ленина в мае 1922 г. — это значит через неполных два месяца после назначения Сталина генсеком, — каких-либо внешних проявлений борьбы за власть между Сталиным и Лениным не замечено. Зато Сталин пользуется периодом болезни Ленина (май-октябрь), чтобы подготовить переход власти к “тройке” (Сталин-Зиновьев-Каменев). Троцкий сообщает, что когда 10 октября Ленин вернулся к работе, то “Ленин чувал, что в связи с его болезнью за его и за моей спиной плетутся пока что почти неуловимые нити заговора. Он готовился дать “тройке” отпор” (*Троцкий*, Моя жизнь, ч. II, стр. 212).

Таким образом, выздоровевший Ленин сразу вступил на поле, сплошь заминированное “тройкой”, собственно — Сталиным. При каждой новой попытке Ленина разминировать это поле, происходит новый очередной взрыв — вот с этого Сталин и начинает подвергать Ленина уничтожающим действиям своего “психоразрушения”. Действия Сталина можно восстановить по документам Ленина и по событиям тех дней.

1. В начале октября 1922 г. Сталин и Орджоникидзе производят в Грузии антиленинский переворот. Ленин протестует — но безуспешно.

2. В начале октября 1922 г. Сталин против воли Ленина проводит решение Пленума ЦК о частичной отмене монополии внешней торговли. Ленин с успехом протестует.

3. В конце ноября 1922 г. Сталин оформляет свой разгром ленинцев в Грузии через посланную туда “нейтральную” комиссию ЦК во главе с Дзержинским. Ленин резко протестует — но безуспешно.

4. В начале декабря 1922 г. Ленин требует осудить Дзержин-

ского за "пристрастие", а Орджоникидзе за рукоприкладство (нанес пощечину Б. Мдивани в присутствии Рыкова). Сталин отказывается. Ленин резко протестует, но — безуспешно. В результате волнения у Ленина 13 декабря 1922 г. случаются два приступа болезни, а 15-16 декабря происходит резкое общее ухудшение здоровья. В ночь с 22 на 23 декабря у Ленина — второй удар. И несмотря на это или именно поэтому Ленин хочет писать "Письмо" предстоящему XII съезду партии. Сталин возражает против нарушения врачебного режима. Тогда Ленин предъявляет ультиматум: или ему позволят диктовать письмо, или он отказывается от лечения. Сталин вынужден уступить.

5. 24 декабря 1922 г. — 4 января 1923 г. Ленин пишет свое "Письмо съезду", в котором требует снятия Сталина. Сталин прячет это письмо под сукно.

6. 30-31 декабря 1922 г. Ленин пишет резкую статью против Сталина, Дзержинского и Орджоникидзе в защиту грузинских "национал-уклонистов" и требует напечатать ее в "Правде". Сталин не разрешает. Ленин протестует — но безуспешно.

7. В начале марта 1923 г. Сталин вызывает Крупскую, жену Ленина к телефону и обкладывает ее последними словами из своего богатого лексикона ругани за "интриги" против него. В ответ Ленин пишет 5 марта письмо Сталину о разрыве личных отношений (Крупская: Ленин "никогда бы не пошел на разрыв личных отношений, если бы не считал необходимым разгромить Сталина политически" — *Троцкий*, там же, стр. 223). Письмо Ленина не производит на Сталина никакого впечатления и он не извиняется.

8. 6 марта 1923 г. Ленин пишет письмо Мдивани, Махарадзе и другим "национал-уклонистам" о том, что готовит в их поддержку записки и речи. Сталин это письмо конфискует.

9. 8 марта 1923 г. у Ленина — третий удар, случившийся ночью. Но врачей вызывают лишь утром 9 марта. В этот самый критический момент, когда для Ленина действительно решается вопрос жизни или смерти, его подводит человек, на которого Ленин так много надеялся как в отношении создания "блока", так и в совместном разгроме Сталина — подводит Троцкий. В беседе с Каменевым, Троцкий заявляет: "Имейте в виду и передайте другим, что я меньше всего намерен поднять на съезде борьбу ради каких-либо организационных перестроек. Я против ликвидации Сталина, против исключения Орджоникидзе (Ленин требовал исклю-

чения Орджоникидзе из партии), против снятия Дзержинского... Не нужно интриг. Нужно честное сотрудничество" (*Троцкий*, там же, стр. 224).

"Честное сотрудничество" со Сталиным! Вот где уместно повторить слова Яна Гуса, сказанные им при его сожжении, когда темная старушка подкинула в огонь лишнюю соломинку: "О, святая простота!"

10. Величайший психологический удар огромной взрывчатой силы Сталин наносит Ленину 17 и 18 января 1924 г. в своих по форме антитроцкистских, а по существу антиленинских речах и в резолюции XIII партконференции от 19 января 1924 г., согласно которой, опять-таки по форме, осуждается Троцкий за якобы антиленинский "мелкобуржуазный уклон". Вот официальный комментарий Института марксизма-ленинизма при ЦК: "Январь, 19-20 (1924 г.) — Н. К. Крупская читает Ленину резолюции XIII Конференции РКП(б), опубликованные в "Правде". Сама Крупская пишет: "Суббота и воскресенье ушли у нас на чтение резолюций. Слушал Владимир Ильич очень внимательно, задавал иногда вопросы", но "когда в субботу Владимир Ильич стал, видимо, *волноваться*, я сказала ему, что резолюции приняты единогласно", то есть — обманула Ленина, если его политически вообще можно было обманывать.

Твердо знающий свою цель и свое дело, Сталин давно отменил медицинский режим для Ленина, снял информационный карантин (кроме секретных материалов самого ЦК), разрешил визиты друзей Ленина, но строго следил за тем, чтобы Ленин не приезжал в Москву (за одну такую поездку Ленина в Кремль и на Сельхозвыставку в октябре 1923 г. Сталин пригрозил ему дисциплинарным взысканием Политбюро), а также не встречался с Троцким. Впрочем, Троцкий был единственным из членов Политбюро, который ни разу не посетил Ленина во время его болезни.

Ленин — опытный читатель своей и чужой прессы — увидел из "Правды", что то, чего он боялся, уже совершилось: Сталин фактически захватил власть над ЦК и начал ею злоупотреблять. Если 20 января Ленин только "волновался", то 21 января в 18 часов 50 минут с ним случился последний — смертельный удар.

Выдающийся американский ученый, автор фундаментальной биографии Ленина Стефан Т. Поссопи подверг специальному

исследованию два аспекта возможного преступления Сталина против Ленина. Первый аспект — “медицинское убийство”, и второй — “психическое убийство”. Вот его выводы.

1) “Медицинское убийство. Что, прежде всего, надо под этим понимать? Неоказание больному нужной помощи или прописывание больному лекарств, которые могут привести к смертельному исходу, или, наконец, выдача больному таких лекарств, которые могут ускорить смерть от собственно болезни. Поссо́ни говорит: “Ленин умер от апоплексического удара. Следовательно, медицинский убийца должен был вызвать у него этот удар”. Поссо́ни сообщает, что существуют подозрения, что Сталин мог быть этим медицинским убийцей, потому что (1) Сталин имел мотивы и причины ненавидеть Ленина; (2) Сталин имел возможность организовать “медицинское убийство” Ленина; (3) Сталин не разрешил произвести полного вскрытия тела Ленина и, манипулируя врачами, старался создать себе алиби; (4) здоровье Ленина особенно ухудшалось как раз тогда, когда такое ухудшение было нужно Сталину в политических целях. “Велика вероятность, что конец Ленина был ускорен шприцем морфия”, — говорит автор.

2) “Психическое убийство”. Автор, однако, склонен думать, что Сталин, скорее всего, убил Ленина наиболее безопасным методом — психическими атаками. Поссо́ни пишет: “Три раза у Ленина был медицинский кризис, каждый раз в результате сильнейшего психического давления, предпринимаемого умело и с определенным намерением Сталина на Ленина... Сталин старался — это надо считать доказанным — уничтожить Ленина психически. Конец Ленина был ускорен психическим воздействием на него — это тоже можно ясно доказать. Волнения, которые Сталин регулярно провоцирует у Ленина, повышают его кровяное давление и служат тем самым заменителем противопоказанных лекарств. Следовательно, Сталина можно обвинить в психическом убийстве Ленина” (*St. T. Possony. Lenin, 1965, Köln, SS. 484-487*).

В создавшихся условиях самым лучшим Лениным для Сталина был не живой Ленин, правящий в Кремле, а мертвый Ленин в мавзолее. Мертвый мастер может стать вернейшим подручным. Так оно и получилось. Из набальзамированного трупа ненавистного учителя Сталин сделает знамя своего триумфального восшествия к единоличной диктатуре.

Ленин умирал медленной смертью — целых два года. Под

постоянными психическими бомбежками Сталина повторялись припадки, мучительные конвульсии, тяжелые удары, сопровождавшиеся истерическим плачем (да, он плакал, ибо был человеком, а не богом). Но вспоминал ли Ленин на смертном своем одре о тех сотнях тысяч, которых перемолола его безжалостная чекистская машина, и о тех миллионах, которых он загубил голодом во имя и от имени "военного коммунизма"? Каялся ли в своей каннибальской философии "диктатуры пролетариата", во имя которой можно убивать даже малолетних детей (убийство детей последнего царя вместе с царем и царицей)? Вспомнил ли он о полном негодовании и страшной правды письме, которое направил ему 7 ноября 1918 г. Патриарх Московский и всея Руси Тихон: "Кровь наших братьев, безжалостно убиенных по Твоему приказу, образует реки и вопиет к небу... Безразлично, каким бы именем Ты свои злодеяния не прикрашивал, — убийство, насилие, грабеж всегда остаются грехами, они — преступления, которые кричат о мщении. Ты обещал свободу — свобода есть великое благо, если ее правильно понимать как свободу от зла и свободу от угнетения. Ты, однако, не дал нам этой свободы. Ты использовал свою власть для преследования Твоих ближних и уничтожения невинных. Вот истина: Ты дал народу камни вместо хлеба (Матф. 7, 9-10) и змею вместо рыбы. Слова пророков сбылись: "Ваши ноги шагают ко злу, и они спешат, чтобы пролить неповинную кровь; ваши идеи несправедливы, ваша дорога ведет к гибели и вреду". Ибо "кто поднимет меч, тот от меча и погибнет" (Матф. 26, 52) (*Поссоны*, там же, стр. 489 — обратный перевод).

Никто не знает и не может знать, пока существует нынешний режим, точные данные о людских жертвах России при Ленине. Исследователи называют от 200 тысяч до полутора миллиона человек, ставших жертвами террора и до пяти миллионов человек, погибших от голода. Для того, чтобы, на фоне этой ужасной статистики, Ленина можно было объявить — единогласно! — от имени ООН в 1970 г. "великим гуманистом XX века", надо было иметь на ленинском троне сравнимого злодея — Сталина, в одной войне загубившего 26 миллионов человек, а в "классовой борьбе" — 50 миллионов.

*А. Авторханов*

# ПОБЕДА ПРОВОКАЦИИ

Мы печатаем еще одну главу из интересной и ценной книги известного польского писателя Иосифа Мацкевича "Победа провокации". Книга только что вышла по-русски в переводе Галины и Сергея Крыжицких в изд-ве "Заря" (Zaria, 73 Biscay Rd., London. Ont. Canada), Кончается "Победа провокации" так: "Смерть половины человечества от атомной бомбы это не катастрофа. Катастрофа — это жизнь всего человечества под властью коммунистического строя". Трудно согласиться с этой фразой И. Мацкевича. Но согласиться приходится. Мы с Мацкевичем согласны. РЕДАКЦИЯ.

## МЕЖДУ БОЛЬШЕВИЗМОМ И НАЦИОНАЛИЗМОМ

В жизни нет ничего постоянного и нет ничего непостоянного. История может повторяться или не повторяться. Создается впечатление, что те, кто упорно настаивают на том, что "история никогда не повторяется", делают это из-за лени с ней ознакомиться. В истории коммунизма и по сегодняшний день главные элементы повторяются, как на хорошо слаженной фотопленке. Был ли это просто случай или Ленин гениально предвидел роль, которая выпадет на долю национализма в деле укоренения большевизма?

Большевистский переворот Ленин основал на двух декретах: на "Декрете о мире" и на "Декрете о земле", объявленных на следующий день после начала революции, т. е. 8 ноября 1917 года. Через восемь дней, 16 ноября, он добавил знаменитую "Декларацию прав народов России", которая оповещала:

"...право всех народов бывшей империи на самоопределение и независимость, включая право отделения и создания независимого государства".

На вид этот акт мог привести к полному рассеянию революционных сил, а тем самым к уничтожению большевистской революции, которая, ввиду ничтожной горсточки ее сторонников, могла иметь шансы на успех исключительно при мощной централизации власти. Так, знание ли националистического устроения или просто человеческой психологии подсказало Ленину, что этим образом прежде всего и в первую очередь он сумеет рассеять... солидарность всех антибольшевистских сил. В действительности "Декларация" представляла собой пустые слова, так как решение, что есть "истинное выражение народной воли", было отдано не в руки народа, а в руки большевистских ячеек. Тем не менее правильность тактики Ленина вполне подтвердилась. Конечно, фальсификация обнаружилась очень скоро; кроме того, абсолютное большинство националистически настроенных вождей считало, что при известной доле компромисса и сотрудничества с большевиками скорее можно надеяться на получение независимости, чем в сотрудничестве с контрреволюцией.

*С другими народами против большевиков? Или с большевиками против других народов?* — Поставленные перед этим выбором отдельные национально настроенные народы выбирали, как правило, вторую альтернативу. Ни один из заинтересованных народов, включая русский, не принял во внимание внешненациональной, чисто человеческой стороны вопроса и не распознал в большевизме-коммунизме настоящей его сущности, нового смысла, представляющего громадную, общую опасность. Ведущие представители народов, стремящихся к независимости и к освобождению из-под господства Русской империи, усмотрели в большевизме ослабление этой империи, т. е. "меньшее зло", "большее" видя в победе контрреволюции. Ведущие же деятели русской контрреволюции считали, во многих случаях, стремление к независимости или "сепаратизм" отдельных народов за большую для России опасность, чем угроза большевизма.

Таким образом, все это привело к историческому развитию событий, вспомнить о которых весьма уместно. Эти исторические события очень поучительны своим сходством с современными взглядами. Взглядами, которые, как будто, с того времени

не подверглись изменению. Иногда, прислушиваясь к сегодняшним концепциям, хотелось бы воскликнуть: "Но ведь это уже когда-то было!" Поэтому, думаю, что люди, желающие объективно оценить то, что есть сегодня, должны прежде всего ознакомиться именно с тем, что было.

*Финляндия* вышла из антибольшевистского фронта в минуту, когда судьба большевистской революции висела на волоске. 10-го октября 1919 года части так называемой "Северной армии" под командованием ген. Юденича прорывают линию 7-й большевистской армии около Ямбурга. 21.X занимают позиции на Пулковских высотах, т. е. на последнем южном подступе к Петрограду. В Петрограде вспыхивают антибольшевистские беспорядки. Ленин восклицает: "Никогда еще Советская республика не стояла перед лицом такой смертельной опасности!" Официальная советская "Краткая история гражданской войны" (Москва, 1962) пишет об этом периоде:

"В самый острый момент борьбы малые буржуазные государства сочли за благо отказать Юденичу в помощи. Первая о своем отказе заявила Финляндия... Попытка использовать в борьбе против Советской России малые буржуазные государства оказалась также несостоятельной... Финляндия в открытую войну так и не вступила..." (стр. 346)

В действительности же Финляндия заняла позицию "вооруженного нейтралитета". Только раз, по личной инициативе Маннергейма, в мае 1919 года, финский партизанский отряд под командованием Эльвенгрейна ударил в направлении Карелии. Этот эпизод не сыграл никакой роли.

*Эстония* поначалу вообще не имела армии для защиты против большевиков и потому, при помощи Англии, выплачивала жалованье частям "Северной армии" Юденича, которые прикрывали ее от большевиков. Но уже 28 июля 1919 года английский ген. Марч вручает ген. Юденичу ультиматум, требуя признания независимости Эстонии (решение должно было быть принято в течение... 40 минут), угрожая, в противном случае, приостановить всякую помощь в дальнейшей борьбе с большевиками, которая (борьба) начала как раз успешно разви-

ваться. (Ах, насколько нам знакомы эти жесты!). Такое признание независимости было сделано, правда, только 18 августа, но уже непосредственно эстонцам, которые, между тем, старались начать переговоры с большевиками. Наступление контрреволюции было им не на руку и они не только отказали в поддержке, но сразу же после поражения Юденича приступили к разоружению русских белых частей. Мир Эстонии с большевиками был подписан 2 февраля 1920 года, в то время, когда еще на остальных фронтах шла борьба с большевистской революцией. Это был первый мир и первое "сосуществование" между Советским Союзом и капиталистическим государством. В будущем советский посол в Лондоне Майский назовет это "...окном, вторично в истории прорубленным в Европу".

*Литва* заняла с самого начала позицию более доброжелательную по отношению к большевикам, чем к Польше, принимая во внимание спор из-за Вильно. В декабре 1918 года польское правительство предложило литовскому правительству заключить соглашение, чтобы совместно дать отпор большевистскому нашествию. Литовское правительство обусловило такое соглашение признанием Вильно столицей Литвы. Польское правительство отказало. Тем временем советские войска уже подходили к Вильно. В городе польский комитет импровизировал на скорую руку "самооборону" Вильно и обратился к литовскому правительству с предложением общими усилиями дать отпор нападению. Литовское правительство не только отбросило это предложение, но заявило торжественный протест против организации антибольшевистской польской самообороны и оставило город 1 января 1919 года, направляясь в Ковно под защиту еще там стоявших немецких войск. Слабая польская "самооборона" была разбита и красная армия заняла территорию по линии Шавли-Можейки-Ковно-Олита-Гродно-Пружаны-Кобрынь. Когда в феврале 1919 года Польша начала освобождать эту территорию от большевиков, литовское правительство, в соучастии с Белорусской Народной Республикой, несмотря на то, что сами они не располагали достаточными силами для вытеснения большевиков с оккупированных территорий, заявили официальный протест против польского наступления, которое 19 апреля дошло до Вильно, а 8 августа — до Минска.

Спор из-за территориальных границ и национальных претензий совершенно заслонил сознание общей угрозы со стороны большевизма. Во время великого отступления польской армии летом 1920 года Литва подписывает 12 июля мирный договор с Советским Союзом, содержащий тайную клаузулу относительно права на проход большевистских войск к границам Польши через территорию Литвы. Все это происходит несмотря на то, что одновременно существует официальное коммунистическое правительство большевистской Литовско-Белорусской Республики притязающее на те же самые территории! Но Литва придерживается политики, которую считает "реальной", и видит в лице Польши большую угрозу, чем коммунизм. Хотя минимальное понимание сущности большевизма должно было бы явно показать полную иллюзорность этого рода политики. Только польская победа под Варшавой спасла Литву от включения ее в Советский Союз уже в 1920 году.

После нарушения Пилсудским польско-литовского договора от 7 октября 1920 года, заключенного в Сувалках, и после занятия Вильно польским генералом Желиговским Литва становится по отношению к Польше верным партнером Советского Союза. Отрывается она также и от поддерживаемого некоторое время Западом антибольшевистского "Cordon-Sanitaire", ибо главное звено этой цепи представляет собой Польша. Это положение продлилось до самой Второй мировой войны, когда, вместе с падением Польши, Литва и другие балтийские государства были захвачены Советским Союзом.

*Белоруссия* заняла еще более недвусмысленную позицию, отдавая предпочтение большевистской стороне против русского и, главное, польского национального устремления. Решающим фактором был общественный радикализм, которым отличалось белорусское национальное движение. В начале революции лозунги, выброшенные белорусской "Громадой", почти не отличались от большевистских социальных лозунгов. Своими главными врагами "Громада" считала польскую реакцию и русскую контрреволюцию. Уже 28 декабря 1917 года в Минске был создан "Общеполорусский Конгресс", который ссылаясь на ленинскую "Декларацию", требовал независимости. И действительно, 9 марта 1918 года была провозглашена независимость

”Белорусской Народной Республики” (БНР). Факт этот, однако, прошел в стране незамеченным как из-за отсутствия распорядительной силы, так и из-за безразличного отношения белорусских народных масс. После отступления немцев большевики без всякого сопротивления заняли Минск 7 декабря 1918 года. ”Рада” БНР бежала в Ковно.

Когда же 30 декабря 1918 года так называемый ”VI Конгресс Коммунистической партии Северо-Западного Края” был переименован в ”I Конгресс Коммунистической партии Белоруссии” и провозгласил ”Белорусскую Социалистическую Республику”, в границах, охватывающих территорию от Смоленщины до Августова (торжественная прокламация была обнародована 1 января 1919 года), значительное число деятелей белорусского национального движения перешло уже открыто на сторону большевиков и даже вступило в партию. Белорусский историк Менский объясняет это следующим образом:

”В течение долгого времени они принадлежали к национальным организациям, стремящимся к преобразованию Белоруссии в национальное государство. В данном случае решающим фактором была для них национальная сторона... Белорусские коммунисты тоже отдавали первенство национальному вопросу. Таким, однако, образом, чтобы национальное освобождение совпадало с коммунистической идеологией”. (Die Gründung der weissruthenischen SSR, Sowietstudien, No 1, Munchen, 1956)

Так что здесь мы имеем дело не только с первым зародышем классического ”национал-коммунизма”, но и с аргументацией, которая по сегодняшний день может служить примером обоснования ”координации коммунизма с национальными интересами” или ”трактовки национального вопроса выше вопроса идеологического”.

Ленин применил аналогичную тактику и в отношении к белорусской эмиграции. В июне 1920 года, при посредничестве латышского правительства, он наладил тайные контакты с белорусской ”Радой” в Ковно и доверительно пригласил ее представителей в Москву. Приглашение было принято. Делегаты ”Рады” поехали на тайные совещания, на которых разговоры

вращались вокруг создания "независимой" Белоруссии под протекторатом коммунистической Москвы. С этой минуты в белорусских кругах взял перевес так называемый "реальный подход к национальным делам", увенчанный вскоре величайшим достижением ленинской тактики под видом первого национального НЭПа.

*Украина.* — Оставим в стороне время гетмана Скоропадского, всецело еще связанное с немецкой оккупацией. Сразу после краха Германии в ноябре 1918 года Скоропадский подписывает 14 ноября 1918 года "Грамоту" о Федерации Украины с Россией, пытаясь таким образом найти поддержку среди русских антибольшевистских сил в борьбе с большевиками. Через два дня, 16 ноября, украинские оппозиционные левые партии свергли власть Скоропадского. 19 ноября 1918 года создается так называемая Директория, во главе которой становится Винниченко вместе с Петлюрой. Но в это же время на Украину входят большевистские войска, якобы по призыву "Советской Социалистической Украинской Республики". Директория бежит на Волынь в Ровно. Создается хаотическое положение. Украину представляют одновременно три правительства: Директория, марионеточное советское правительство и временное правительство ЗУНР (Западно-Украинской Народной Республики). Последнее больше всего занято борьбой за Львов и Галицию против Польши.

В таком положении Директория ставит вопрос ребром. С кем идти? На кого опереться? На Западные державы, которые в спешном порядке помогают антибольшевистской России и отчасти Польше, или же на большевиков, против России и Польши? Председатель Директории Винниченко высказывается скорее за большевиков. Его рассуждения не лишены опять же этих б"национально-коммунистических", или, если угодно, "национально-реальных" аргументов, которые были выдвинуты белорусскими деятелями. Винниченко объясняет: государства Антанты поддерживают контрреволюционную Россию и реакционную Польшу. В итоге Россия и Польша поделят между собой Украину, как это бывало уже в прошлом. Пусть уж лучше будет Украина даже большевистская, чем под властью Польши или России. Национальные интересы важнее идеологических.

Большинство в Директории высказывается против "всякой интервенции", что практически означает компромисс с большевиками. Только Петлюра высказывается за союз с Польшей против большевиков. Наступает раскол, в результате которого Петлюра провозглашает себя "верховным атаманом Украины".

Хотя тем временем ЗУНР заключает 6 ноября 1919 года временное соглашение с Деникиным в Зютковичах, отдавая в его подчинение свою "Украинскую Галицийскую Армию" (УГА), но уже 12 января 1920 года она переходит полностью на сторону большевиков, переименовав себя из УГА в КУГА (Красная Украинская Галицийская Армия).

В это время председатель Директории Винниченко присоединяется к большевикам. Он провозглашает Польшу главным врагом и становится заместителем председателя украинского Совнаркома (председателем тогда был известный К. Раковский, старый большевик, впоследствии советский посол в Париже до 1928 года).

На антибольшевистской стороне остается один Петлюра. 22 апреля 1920 года он подписывает с Пилсудским так называемый "Варшавский пакт", обуславливающий общие действия против большевиков и определение будущих границ между Польшей и Украиной. Но ожидаемой спонтанной поддержки украинского населения не произошло. Петлюра начал, правда, формирование двух дивизий, которые должны были сражаться в составе 3 и 6 польских армий, но они не сыграли большой роли. Пилсудский не сдержал обещаний "Варшавского пакта", в котором обе стороны торжественно обязывались не заключать отдельного мира, и после неудачного Киевского похода заключил мир с большевиками в Риге. После этого началось разоружение и интернирование украинских частей в Польше, как в свое время армии Юденича в Эстонии. Протест Петлюры от имени "Украинской Народной Республики" остался гласом вопиющего в пустыне.

*Пилсудский.* — Конечно, ни одна из заинтересованных сторон не представляет хода событий в таком свете, как это было сделано в вышеизложенном сокращении. Каждая из сторон проявляет склонность сваливать вину на другую сторону. Моло-

дые нации, входившие когда-то в состав польско-литовского государства, направляют главные упреки по адресу Польши, а в особенности по адресу ее тогдашнего вождя Пилсудского. В этом много несправедливого, но есть и доля правды. Пилсудский вошел в историю как политический "романтик". Легенда эта укоренилась не только в Польше, но и на Западе. В действительности же все было иначе.

Пилсудский был не слишком большим, а скорее слишком мелким "романтиком". Его сторонники и апологеты признают, что никто точно не знал его планов, так как характеру Пилсудского не свойственно было делиться даже с ближайшим окружением. Признанный гением, он не находил нужным считаться с окружением, может быть, потому, что всю жизнь привык действовать в атмосфере заговора, конспирации. Воздвигнутый на пьедестал посланца судьбы, он несомненно сам глубоко верил в свою миссию. Поэтому в отношениях с людьми позволял себе колкости, резкости и пренебрежение, раздражая и отталкивая от себя тех, кого следовало бы объединять. Это касается прежде всего молодых националистов, охваченных еще манией сословно-общественного комплекса, и тем самым непомерно чувствительных к любому проявлению презрения. Пилсудский слишком верил в то, что всего можно добиться при помощи "faits accomplis" — "с револьвером в руках", как он об этом писал 4 апреля 1919 года в письме к Василевскому. Этот его преувеличенный "реализм" показывал в то же время глубокое незнание человеческой психологии. В этом кроется его совершенное непонимание большевистского феномена, основанного именно на психологии масс.

Литовский вопрос Пилсудский хотел разрешить при помощи тайных действий "POW" (польская военная организация), чем способствовал отравлению польско-литовских отношений. В течение одного только 1920 года он нарушил два договора: с литовцами "Сувалкский" и с украинцами "Варшавский". Совсем излишним было нарушение Сувалкского договора. Объясняется это исключительным пристрастием к закостенелым конспиративным формам. Кончилось тем, что Пилсудского, который, в противовес "эндекам" (национал-демократам), протягивал якобы братскую руку литовцам, белоруссам и украинцам и

стремился к сосуществованию на основах федерации, возненавидели, и стал он для всех символом "плохой Польши" больше, чем самые заядлые польские националисты.

Не эти, однако, эпизоды в политике Пилсудского перетянули чашу весов судеб Восточной Европы. Объективно оценивая события, можно предположить, что если бы даже политика Пилсудского по "внутренней" линии, в отношении литовцев, белорусов и украинцев, была иной, она в малой степени повлияла бы на "внешнюю" политику этих народов и на их отношение к большевизму. Ибо фанатизм в области национальных интересов, соединение национального радикализма с общественным, навязывали, в общем, подход к большевизму как к "меньшему злу", которое можно даже использовать в борьбе с соседними национально-сознательными народами. И вот именно на этом участке Пилсудский не только не отличался особой концепцией, но, напротив, был ведущим выразителем этих популярных взглядов.

Из его ошибочного диагноза возникло наивное убеждение, что довольно только выступить с национальными лозунгами, как Украина и бывшее Великое Литовское Княжество объединятся "против России". Между тем не только лидеры литовских националистов предпочитали русским полякам ("отпольщить" Литву!), но и белорусские и украинские лидеры, играя на радикальных настроениях общества, соперничали с большевиками в разжигании ненависти к "польским панам". Большевики тоже играли на чувствах национальной независимости и при этом гораздо эффективнее, чем Пилсудский

Крестьянские антибольшевистские восстания и беспорядки в то время носили определенно антиреволюционный характер. Они вытекали из простой, чисто человеческой ненависти к навязываемой системе. Однако не создался идеологический синтез, так как национальные вожди втискивали эти крестьянские волнения в искусственно созданные рамки национального движения, каковыми они в действительности не были. С другой стороны, большевики, используя те же лозунги, отнимали у них козыри из рук. Закостенелые формы борьбы с прежней Российской империей не находили и не могли найти применения в борьбе с большевиками. Они были анахронизмом.

*"Единая и неделимая"*. — Русская национальная политика не была исключением в неверном диагнозе, касающемся сути большевизма. Русская контрреволюция не сумела противопоставить большевизму что-либо другое, выходящее за пределы интересов чисто государственных. Лозунг "единой и неделимой" России до такой степени заслонил распознание действительности, что вожди "белого движения" скорее готовы были отказаться от помощи антибольшевистских "сепаратистов", чем в какой-то мере принять во внимание их притязания. "За помощь в борьбе с большевиками, — писал Деникин, — ни пяди земли русской!"

Министр Сазонов, в конце 1918 года, вручил представителям западных государств в Екатеринодаре меморандум, в котором среди прочего говорил:

"Эфемерные государственные образования... приобретшие мнимую независимость... не могут принимать участия в процессе освобождения и объединения России, пока они не откажутся от своих притязаний на отдельное существование... Необходимо осторожно относиться к притязаниям отложившихся областей, вроде Украины, Дона, Литвы, Прибалтийских губ., Кавказских республик..." (Генерал А. Деникин, "Очерки русской смуты", т. 4, Берлин 1925, стр. 236)

Русские признали только безоговорочную независимость Польши "в ее этнографических границах". Но уже в отношении Финляндии ставили принципиальные условия. В мае 1919 года, после того, как Великобритания и Соединенные Штаты признали независимость Финляндии, Деникин писал:

"Россия относится к этому благосклонно... Но решение, предпринятое без ее согласия, для русских неприемлемо".

Генерал Юденич стремился к безоговорочному признанию Финляндии с целью получения помощи в борьбе с большевиками. Вот реакция посла Маклакова: "Мы не можем тормозить ген. Юденича в этих намерениях, но не можем и поддерживать". Заявление "верховного правителя России", адми-

рала Колчака, направленное правительствам Антанты 4 июня 1919 года, заключало в себе такие пункты:

3. ...Русское правительство считает себя вправе подтвердить независимость Польши... Но окончательная санкция определения границ между Польшей и Россией... должна быть отложена до Учредительного Собрания.

Мы готовы также ныне же признать настоящее правительство Финляндии, но окончательное решение Финляндского вопроса должно принадлежать Учредительному Собранию.

4. ...Мы готовы теперь же подготовить решение вопросов по отношению к национальностям Эстонии, Латвии, Литвы, Кавказских и Закавказских стран. Мы имеем полное основание предполагать, что дело скоро уладится, как только правительство обеспечит разным народностям автономии" (С. П. Мельгунов, "Трагедия Адмирала Колчака". Белград 1930. Часть III, стр. 325).

Когда Братиану предложил Деникину в августе 1919 года помощь Румынии в борьбе против большевиков в обмен на Бессарабию, то, в связи с этим, Деникин с гордостью вспоминает: "Этого векселя я не подписал". Точно так же он сразу отбросил предложение полковника Стрижевского, которое тот выдвинул через генерала Геруа в Бухаресте от имени, впрочем, очень сомнительных украинских сил, совместно вести борьбу с большевиками без политических предрешений. Деникин ответил, что борется "за единую и неделимую Россию; в ее границах Украина может рассчитывать единственно на автономию. Если же она хочет оторваться от России, то тем самым становится таким же ее врагом, как и большевики". Таким образом, в отличие от других национальностей бывшей империи, все русские партии, за исключением крайне левых, считали большевиков за "банду убийц и бандитов", отказывались идти с ними на какой-либо компромисс и категорически отбросили проект переговоров с большевиками, выдвинутый Вилсоном и Ллойд Джорджем 12 января 1919 года. Не помогли убеждения лорда Керзона, что: "Разговаривать с разбойниками еще не значит признавать

разбой". Помимо угрозы потери западной помощи, подобно другим народам, русские поставили вопросы национального характера выше вопроса общей борьбы против "большевистской заразы". Судорожно придерживались программы: возврат к абсолютному "status quo... за исключением земель, которые должны отойти к Польше".

Уже в эмиграции Деникин пишет в своих воспоминаниях:

Если бы мы даже признали притязания на независимость всех этих народов, то побудило ли бы их такое признание на жертвы в борьбе за освобождение России? (Назовем это конкретнее: уничтожение центра всеобщей угрозы). Дальнейшая история говорит нам другое".

И действительно, скептицизм Деникина более, чем обоснован, и он мог бы сослаться на него тем более, если бы дожил до нынешнего дня.

*Теория об "эволюции коммунизма" 43 года тому назад!* — В настоящей короткой справке мы обходим стороной тогдашнюю позицию государств Антанты, которые ныне именуются "западными державами". Аналогия эта была бы слишком стереотипной. Политика Ллойд Джорджа и политика послевоенной Великобритании, политика позднейшего Рузвельта и Кеннеди, политика тогдашнего и позднейшего Бевина ("Руки прочь от России!"), вынюхивание тогда в антикоммунизме "реакции", как теперь "фашизма" — банальные повторения.

В конце 1919 года, т. е. еще в период борьбы с большевизмом, Ллойд Джордж неожиданно снимает блокаду Советской России, решает завязать торговые отношения с коммунистами и предоставить им экономическую помощь под предлогом установления контакта с "русским народом" и "помощи русскому народу". Это было несомненно ударом для антибольшевистских сил в их тяжелой борьбе за свободу. Об этих решениях сообщает из Лондона посол Маклаков в письме Деникину:

"Самое же важное, что многие русские считают 'преступлением' не поддержать решение Ллойд Джорджа. Они утверждают, что покуда освобождение России казалось близким, блокаду можно было продолжать. Поскольку

ку, однако, освобождение не было достигнуто, дальнейшее продолжение блокады было бы 'преступлением против русского народа' ... Что же касается западных политических кругов, то они считают, что завязывание отношений с большевиками, хотя бы вследствие их контакта с границей, может повлиять на перемену сущности большевизма и на его преобразование...".

Из этого видим, что даже современная теория об "эволюции коммунизма" и о влиянии, которое может иметь на эту эволюцию экономическая помощь Запада, завязывание контактов и "культурный обмен" — считающийся ныне последним криком политической моды — по существу стара, как сам большевизм, и напоминает концепции полувековой давности.

*Иосиф Мацкевич*

# ОТВЕТНОЕ СЛОВО А. И. СОЛЖЕНИЦЫНА

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ПРЕМИИ "ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ  
РЕЛИГИОЗНОГО СОЗНАНИЯ"

ТЕМПЛТОНОВСКАЯ РЕЧЬ НА ЦЕРЕМОНИИ  
ЧЕСТВОВАНИЯ

*Букингемский дворец, 10 мая 1983*

Ваше Королевское Высочество!

Разрешите поблагодарить Вас за то, что Вы своим участием возвысили церемонию вручения этой премии.

Впервые она присуждена православному. В благодарности, что и наша доля замечена в мировом объеме, я ясно сознаю свою личную недостойность принять эту награду, оглядываясь на светлый ряд выдающихся иерархов нашей Церкви и православных мыслителей от Алексея Хомякова до Сергея Булгакова. И хорошо сознаю, что в восточно-славянском православии, перенесшем за коммунистические 65 лет гонения, по своей лютости и по своей массовости превосходящие гонения первых веков христианства, — было много рук, более достойных, чем мои, и сегодня есть. От киевского митрополита Владимира Богоявленского, расстрелянного коммунистами у стен Киево-Печерской Лавры в первые ленинские дни — до отважного священника о. Глеба Якунина, домучиваемого сегодня, в дни андроповские, насильственно лишённого всех внешних знаков священства и даже права иметь Евангелие, по много месяцев содержимого без

*World Copyright (c) by Alexander Solzhenitsyn.*

одежды, без постели и без еды в замороженной каменной коробке. В этот век гонений выпало так, что и самое первое воспоминание моей жизни: как в храм Св. Пантелеймона в Кисловодске вошли чекисты в остроконечных шапках, остановили службу, и с грохотом прошли в алтарь — грабить. А когда в Ростове-на-Дону я стал ходить в школу — мимо километровой каре ГПУ и сверкающей вывески Союза Воинствующих Безбожников, то школьники, науськанные комсомольцами, травили меня за то, что посещал с матерью последнюю в городе церковь, и срывали с моей шеи нательный крест.

Еще в 1922 году по замыслу Ленина и Троцкого были ограблены православные храмы, а затем, включая и сталинское и хрущевское время, десятки тысяч их снесены или отданы на поругание, так что Россия превратилась в обезображенную пустыню, не похожую сама на себя, какой стояла перед тем столетия. В целых областях и в полумиллионных городах не осталось и по одному храму. И в этой темной безгласной пустыне десятилетиями осужден жить наш народ, как бы ощупью находя и сохраняя путь к Богу. В таких тисках мы жили и живем, что исповедание проступало не в свободном щедром развитии, но в отстаивании веры на рубеже гибели или на ломких рубежах соблазнительного марксистского красноговения — и много там сломано душ.

Сегодня в формулировке Темплтоновского комитета мы слышим понимание того, как на нашей земле сквозь втолоченное безбожие сохранила жизненную силу православная духовная традиция. Какие-то обрывки звуков из этого просочатся через мясорубку глушения на мою родину — они поддержат наших верующих, что их не забыли, и что в их стоянии черпают мужество и тут.

Централизованное безбожие, устрашающее весь мир своим оружием, так же ненавидит эту безоружную веру и так же боится ее, как и 60 лет назад. Да! Все яростные преследования, какие обрушил на наш народ государственный палаческий атеизм, и точенье его лжи, и лавина оглуляющей пропаганды, — все они вместе оказались слабее тысячелетней народной веры — она не уничтожена, она есть высшее, что мы храним в вершинах нашего дыхания и сознания.

*Гилдхолл, Лондон, 10 мая 1983*

Больше полувека назад, еще ребенком, я слышал от разных пожилых людей в объяснение великих сотрясений, постигших Россию: "Люди забыли Бога, оттого и всё".

С тех пор, потрудясь над историей нашей революции немногим менее полувека, прочтя сотни книг, собрав сотни личных свидетельств, и сам уже написав в расчистку того обвала 8 томов, — я сегодня на просьбу как можно короче назвать главную причину той истребительной революции, сглодавшей у нас до 60 миллионов людей, не смогу выразить точнее, чем повторить: "Люди забыли Бога, оттого и всё".

Но и более, события русской революции только и могут быть поняты лишь сейчас, в конце века, — на фоне того, что произошло с тех пор в остальном мире. Тут проясняется процесс всеобщий. Если бы от меня потребовали назвать кратко главную черту всего XX века, то и тут я не найду ничего точнее и содержательнее, чем: "Люди — забыли — Бога". Пороками человеческого сознания, лишенного божественной вершины, определились и все главные преступления этого века. И первое из них — Первая Мировая война, многое наше сегодняшнее — из нее. Ту, уже как будто забываемую войну, когда избыточная полнокровная цветущая Европа, как безумная, кинулась грызть сама себя, и подорвала себя может быть больше, чем на одно столетие, а может быть навсегда, — ту войну нельзя объяснить иначе как всеобщим помрачением разума правящих, от потери сознания Высшей Силы над собой. И только в этой безбожественной озлобленности христианские по видимости государства могли тогда решиться применять химические газы — то, что так уже явно за пределами человечества.

Таким же пороком сознания, лишенного божественной вершины, уже после Второй Мировой войны, было — поддаться сатанинскому соблазну "ядерного зонтика". То есть: снимем заботы с себя, снимем долг и обязанности с молодежи, не будем делать усилий защищать себя или тем более кого других, — за-

ткнем наши уши от стонов с Востока, и будем жить в погоне за счастьем, а если грянет и над нами опасность — то нас защитит ядерная бомба, а нет — ну тогда пусть сожжется к черту весь мир! Плачевное беспомощное состояние, в которое сегодня скатился Запад, во многом истекло от этой роковой ошибки: что защита мира — не крепость сердец, не стойкость людей, — а сама только ядерная бомба.

Лишь при потере нашего божественного надсознания мог Запад после Первой войны спокойно отнестись к многолетней гибели России, раздираемой людоедской бандой, а после Второй — к такой же гибели Восточной Европы. А ведь то начинался вековой процесс гибели всего мира — а Запад не разглядел, и даже много помогал ему. За все столетие единственный раз собрал Запад силы на бой против Гитлера. Но плоды того давно растеряны. Против людоедов в этом безбожном веке найдено анестезирующее средство: с людоедами — надо торговать. Таков сегодняшний бугорок нашей мудрости.

Сегодня мир дошел до грани, которую, если бы нарисовать перед предыдущими веками — все бы выдохнули в один голос: "Апокалипсис!".

Но мы к нему привыкли, даже обжились в нем.

Достоевский предупреждал: "Могут наступить великие факты и застать наши интеллигентные силы врасплох". Так и произошло. И предсказывал: "Мир спасется уже после посещения его злым духом". Спасется ли? — это еще нам предстоит увидеть, это будет зависеть от нашей совести, от нашего просветления, от наших личных и соединенных усилий в катастрофической обстановке. Но уже свершилось, что злой дух победно кружит смерчем над всеми пятью континентами.

Мы — свидетели где подневольного разрушения, а где добровольного саморазрушения мира. Весь XX век втягивается в крутящую воронку атеизма и самоуничтожения. И в этом падении мира в бездну есть черты несомненно глобальные, не зависящие ни от государственных политических систем, ни от уровня экономики и культуры, ни от национальных особенностей. И сегодняшняя Европа, казалось бы, так мало похожая на Россию 1913 года, — стоит перед тем же падением, хотя и притекшим иными путями. Разные части света шли разными

путями — а сегодня все подходят к порогу единой гибели.

Знала же когда-то и Россия такие века в своей истории, когда общественным идеалом была не знатность, не богатство, не материальное преуспевание, а — святость образа жизни. Россия тогда была напоена православием, сберегшим верность первоначальной Церкви первых веков. То древнее православие умело сохранять свой народ под двумя-тремя веками чужеземного ига, еще одновременно отражая и несправедливые удары крестоносных мечей с Запада. В те века православная вера у нас вошла в строй мысли и людских характеров, в образ поведения, в строение семьи, в повседневный быт, в трудовой календарь, в очередность дел, недели, года. Вера была объединяющей и крепящей силой нации.

Но в XVII веке наше православие было подорвано злополучным внутренним расколом. В XVIII Россия сотрясена насильственными преобразованиями Петра, подавившими религиозный дух и национальную жизнь в угоду экономике, государству и войне. А вместе с однокоричным петровским просвещением донесся и до нас тонко-ядовитый ветерок секуляризма, за XIX век пропитавший образованные слои и открывший широкий проход марксизму. Перед революцией вера в России испарилась из кругов образованных. И повреждена была в необразованных.

Все тот же Достоевский, судя по французской революции, кипевшей от ненависти к Церкви, вывел: "Революция непременно должна начинаться с атеизма". Так и есть. Но такого организованного, военизированного и злоупорного безбожия, как в марксизме, — мир еще не знал прежде. В философской системе и в психологическом стержне Маркса и Ленина ненависть к Богу — главный движущий импульс, первее всех политических и экономических притязаний. Воинствующий атеизм — это не деталь, не периферия, не побочное следствие коммунистической политики, но главный винт ее. Для ее дьявольских целей надо владеть населением безрелигиозным и безнациональным, уничтожить и веру и нацию — и то и другое коммунисты повсюду совершенно открыто провозглашают и открыто осуществляют. Насколько атеистический мир нуждается взорвать религию, насколько она ему поперек горла — можно видеть и по недавней паутине покушений на Папу Римского.

20-е годы в СССР — это длинная вереница поголовного мученичества православных священнослужителей. Два расстрелянных митрополита, из них петроградский Вениамин, избранный всенародным голосованием. Сам патриарх Тихон, прошедший ЧК-ГПУ, а затем умерший при загадочных обстоятельствах. Десятки архиепископов и епископов. Десятки тысяч священников, монахов и монахинь, которых чекисты, заставляя отказаться от слова Божьего, пытали, расстреливали в подвалах, слали в лагеря, ссылали в безлюдную тундру на крайний Север, выбрасывали стариков голодными и бездомными на бедствия. И все эти христианские мученики стойко шли на смерть за веру, лишь редкие единицы дрогнули и отказались. И десяткам миллионов мирян загородили путь во храм, запретили воспитывать в вере детей, отрывали от них в тюрьму, а самих детей угрозами и ложью отбивали от веры. Можно утверждать, что и бессмысленное разрушение российской сельской экономики в 30-х годах, так называемые раскулачивание и коллективизация, погубившие 15 миллионов крестьян и не имевшие никакого хозяйственного смысла, были жестоко проведены с главной целью: разрушить национальный быт и вырвать религию из деревни. И тот же замысел душевного разврата распростирался над зверским Архипелагом ГУЛАГом, где людям указывалось выжить за счет смерти других. Только ополоумевшие безбожники могли решиться и на задуманное сегодня в СССР последнее убийство и самой русской природы: затопить русский Север, повернуть течение северных рек, нарушить жизнь Ледовитого океана, и гнать воду на Юг, уже раньше погубленный предыдущими, такими же вздорными "великими стройками коммунизма".

Лишь на короткое время, нуждаясь собрать силы против Гитлера, Сталин затеял циничную игру с Церковью — и эту обманную игру, продолженную потом брежневскими декорациями и рекламными публикациями, — увы, более всего и усвоили на Западе, приняв за чистую монету. Но насколько ненависть к религии укоренена в коммунизме — можно судить по самому либеральному их лидеру Хрущеву: решаешь на некоторые существенно освободительные шаги, Хрущев, рядом с этими реформами, снова воздул остервенелый ленинский запал

уничтожения религии.

Вот чего не ждали они: в стране, прокатанной от храмов, где атеизм торжествует и разнузданно свирепствует уже две трети века, где до предела уничтожены и лишены воли иерархии, а остатки внешней Церкви терпят лишь для пропаганды на западный мир, где и сегодня не только сажают за веру в лагерь, но и в самом лагере бросают в карцер собравшихся помолиться на Пасху, — под этим коммунистическим катком христианская традиция выжила в России! Да, миллионы у нас опустошены и развращены безбожием, внедренным властью, однако сохранились и миллионы верующих, они лишь внешне вынуждены и сегодня молчать, — но, как это бывает в преследованиях и страданиях, сознание Бога достигло на моей родине острой глубины.

И тут мы видим зарю надежды: как бы ни был коммунизм ошетилен ракетами и танками, и как бы успешно он ни захватывал планету — он обречен никогда не победить христианства.

Запад еще пока не испытал коммунистического нашествия, религия свободна. Но и свой исторический путь привел его сегодня к иссушению религиозного сознания. Тут были и свои раздирающие расколы, и кровопролитные межрелигиозные войны, и вражда. И само собой, еще с позднего Средневековья, Запад все более затопляла волна секуляризма, а эта угроза вере — не от внешнего выжигания ее, а от внутреннего червоточенья силы — как бы не еще опасней.

На Западе незаметно, подтачиванием десятилетий, утеривалось понятие смысла жизни более высокого, чем добиться "счастья", — а это последнее ревниво закреплялось даже конституциями. Уже не первый век высмеиваются понятия Добра и Зла, и удачно изгнали их из общего употребления, заменив политическими и классовыми расстановками, которых срок жизни быстротечен. Стало стыдно аргументировать к извечным понятиям, стыдно промолвить, что зло гнездится в сердце каждого человека прежде, чем в политической системе, — а не стыдно: уступать интегральному Злу каждодневно — и по оползням уступок на глазах одного нашего поколения Запад необратимо сползает в пропасть. Западные общества все более теряют религиозную суть и беззаботно отдают атеизму молодежь.

Какие еще нужны свидетельства безбожия, если по Соединенным Штатам, имеющим престиж одной из самых религиозных стран в мире, шел глумливый фильм об Иисусе Христе? Если американская столичная газета бесстыдно помещает карикатуру на Божью Матерь? Когда распахнуты внешние права зачем же удерживаться внутренне самим от недостойности?..

Или зачем тогда удерживаться от раскала ненависти? — расовой, классовой, иступленно идеологической? Она и изъедает сегодня многие души. Атеисты-преподаватели воспитывают молодежь в ненависти к своему обществу. В этом бичевании упускается, что пороки капитализма есть коренные пороки человеческой природы, расвобожденные без границ вместе с остальными правами человека; что при коммунизме (а коммунизм дышит в затылок всем умеренным формам социализма, они не стойки) — при коммунизме эти же пороки бесконтрольно распушены у всех, имеющих хоть малую власть; а все остальные там действительно достигли "равенства" — равенства нищих рабов. Эта разжигаемая ненависть становится атмосферой сегодняшнего свободного мира, и чем шире наличные свободы, чем выше достигнутая в обществе социальная обеспеченность и даже комфорт — тем, парадоксально, напряженней и эта слепая ненависть. Так нынешний развитой Запад ясно показал на себе, что не в материальном изобилии и не в удачливом бизнесе лежит человеческое спасение.

Эта разжигаемая ненависть распространяется далее на все живое, на саму жизнь, на мир, на его краски, звуки, формы, на человеческое тело — и ожесточенное искусство XX века гибнет от этой уродливой ненависти, — ибо искусство бесплодно без любви. На Востоке оно упало потому, что его сшибли и растоптали, на Западе оно упало добровольно, в издуманные претенциозные поиски, где человек пытается не выявить Божий замысел, но заменить собою Бога.

Снова, и тут, единый исход мирового процесса, совпадение результатов западных и восточных, и снова по единой причине: забыли — люди — Бога.

Перед натиском мирового атеизма верующие раздроблены и многие растеряны. А между тем и христианскому — бывшему христианскому — миру хорошо бы не упустить из зрения напри-

мер вот Дальний Восток. Недавно мне пришлось наблюдать, как в Японии и в Свободном Китае — при, кажется, меньшей отчетливости их религиозных представлений, а при той же невозбранной "свободе выбора", как у Запада, — и общество, и молодежь еще сохраняются более нравственными, чем на Западе, менее тронуты опустошительным секулярным духом.

Что говорить о разъединении разных религий, если и христианство так раздробилось само по себе? В последние годы между главными христианскими Церквями сделаны примирительные шаги. Но они слишком медленны, мир погибает стократно быстрее. Ведь не слияние же Церквей ожидается, не смена догматов, но только дружеское стояние против атеизма, — и для этого медленны те шаги.

Есть и организационное движение к объединению Церквей — но странное. Всемирный Совет Церквей, едва ли менее занятый успехами революционного движения в странах Третьего мира, однако слеп и глух к преследованиям религии, где они самые последовательные, — в СССР. Не видеть этого невозможно — значит политично предпочтено: не видеть и не вмешиваться? Но что ж тогда остается от христианства?

С глубокой горечью я должен здесь сказать, не смею умолчать, что мой предшественник по этой премии в прошлом году, и даже в самые месяцы ее получения, публично поддержал коммунистическую ложь, вопиюще заявив, что не заметил преследований религии в СССР. Перед всеми погибшими и подавленными — пусть его рассудят Небеса.

Сегодня все шире нам видится так, что при самых изощренных политических лавировках — петля на человечестве с каждым десятилетием затягивается все туже и безнадежней, и выхода нет никому никуда — ни ядерного, ни политического, ни экономического, ни экологического. Да, очень на то похоже.

И перед горами, перед хребтами таких мировых событий кажется несоответственным, неуместным напоминать, что главный ключ нашего бытия или небытия — в каждом отдельном человеческом сердце, в его предпочтении реального Добра или Зла. Но это и сегодня остается так: это самый верный ключ. Обещательные социальные теории — обанкротились, покинув нас в тупике. Свободные западные люди могли бы естественно понимать, что вокруг них немало и свободно вскормленной лжи, и не дать так легко себе ее навязать. Бесплодны попытки искать

выход из сегодняшнего мирового положения, не возвратя наше сознание раскаянно к Создателю всего: нам не осветится никакой выход, мы его не найдем: слишком бедны те средства, которые мы себе оставили. Надо прежде увидеть весь ужас, сотворенный не кем-то извне, не классовыми врагами, а внутри каждого из нас, и внутри каждого общества, и даже в свободном и высоко-развитом — особенно, ибо тут-то особенно мы все это сделали сами, свободною волей. Сами же мы повседневным легкомысленным эгоизмом эту петлю и затягиваем.

Спросим себя: не ложны ли идеалы нашего века? И наша уверенная модная терминология? И от нее — поверхностные рецепты, как исправить положение? На каждом поприсе их надо, пока не поздно, пересмотреть незамутненным взглядом. Решение кризиса не лежит на пути усвоенных ежедневных представлений.

Наша жизнь — не в поиске материального успеха, а в поиске достойного духовного роста. Вся наша земная жизнь есть лишь промежуточная ступень развития к высшей — и с этой ступени не надо сорваться, не надо и протоптаться бесплодно. Одни материальные законы — не объясняют нашу жизнь и не открывают ей пути. Из законов физики и физиологии нам никогда не откроется то несомненное, как Творец постоянно и ежедневно участвует в жизни каждого из нас, неизменно добавляя нам энергии бытия, а когда эта помощь оставляет нас — мы умираем. И с не меньшим же участием Он содействует жизни всей планеты — это надо почувствовать в наш темный, страшный момент.

Опрометчивым упованием двух последних веков, приведшим нас в ничтожество и на край ядерной и неядерной смерти, мы можем противопоставить только упорные поиски теплой Божьей руки, которую мы так беспечно и самонадеянно оттолкнули. Тогда могут открыться наши глаза на ошибки этого несчастного XX века, и наши руки — направиться на их исправление. А больше — нам нечем удержаться на оползне, ото всех мыслителей Просвещения — не набралось.

Наши пять континентов — в смерче. Но в таких испытаниях и проявляются высшие способности человеческих душ. Если мы погибнем и потеряем этот мир — то будет наша собственная вина.

*Александр Солженицын*

# О НЕКОТОРЫХ МЕССИАНСКИХ МОТИВАХ У С. Н. БУЛГАКОВА

С. Булгаков был сторонником трансцендентальной историософии. Как так? — спросит читатель, ведь исследователь учения о. С. Булгакова Л. А. Зандер писал: "Главы, посвященные критике трансцендентализма, мы находим и в "Философии Хозяйства", и в "Свете Невечернем", и в "Трагедии философии", и в "Философии имени"<sup>1</sup> В том-то и дело, что трансцендентализм трансцендентализму рознь! Рассмотрим, поэтому, сперва семантику и употребление этого термина.

Слово *трансцендентный* означает "переходящий куда-либо или через что-либо". Обычно ему противопоставляется слово *имманентный*, т. е. "остающийся внутри чего-либо" или "по природе присущий чему-либо". Оба слова латинского происхождения. Они принимают разные значения в зависимости от данного окачествования. Заглянем, сперва, в область гносеологии, ибо там они впервые были употреблены Кантом (оставляя в стороне схоластическое употребление, ставшее уже архаическим). Каждый акт познания предполагает субъект познания и объект познания, т. е., скажем, человека и внешний по отношению к нему предмет или вещь. Кант утверждал, что вещь-в-себе, т. е. в своей сокровенной сути, принципиально непостижима человеческим разумом, которому доступно только явление этой вещи, т. е. некоторый ее аспект или же совокупность некоторых ее аспектов. Вещь-в-себе Кант назвал

---

1. Л. А. Зандер, Бог и Мир, т. 2, стр. 437.

ноуменом, а ее явление, т. е. какой она нам кажется или какой мы ее постигаем, феноменом. Соответственно, он считал, что ноумен вещи трансцендентен нашему познанию, имманентен же ему только лишь феномен вещи. Такая гносеологическая установка получила название трансцендентализма. Она преодолевалась многими русскими мыслителями интуитивистского направления, в том числе и о. С. Булгаковым. Отметим здесь же, что производное слово *трансцендентальный* тоже было введено Кантом и означает "предшествующий опыту, но его обуславливающий", или же "относящийся к априорным формам нашего познания". "Трансцендентальному" противопоставляется "эмпирический, опытный". Итак, выше мы определили понятие *гносеологического трансцендентализма*.

Термин "трансцендентный" употребляется и в метафизике, а именно, для выражения *инакоприродности*, сущностной иности. Так, например, мы говорим, что Бог трансцендентен миру. Здесь выступает на первый план запредельность Творца твари, отсутствие онтической точки соприкосновения между Богом и миром. Это — позиция христианского учения, отвергающего всякие виды пантеизма. В этом словоупотреблении термин "трансцендентный" насыщен в некоторой степени ароматом апофатики. Это — *метафизический трансцендентализм*.

Можно выделить и третий аспект этого термина, который мы называем *зидетический трансцендентализм*: это такой подход, при котором любую данную реальность следует объяснять не на основании ее частей, а наоборот, — в свете той непосредственно высшей реальности, частью которой реальность, о которой идет речь, является. Это есть объяснение вещи (или явления) ее иерархической смысловой средой, посредством определения ее соответственного места. Такой трансцендентализм А. Ф. Лосев называет "объяснением сверху вниз и изнутри наружу"<sup>2</sup>. Этот метод характерен своей априорностью, дедуктивностью, аналитичностью и "катаволичностью".

Именно в этой, последней перспективе о. С. Булгакова

2. См. нашу статью "Безипотесный принцип" Платона и "Абсолют" Гоэнэ — Вронского" в "Зарубежье" NN 3-4, 1974 г.

можно рассматривать как трансцендентального историософа.

О. С. Булгаков трансцендентальным субъектом истории считает многоипостасное, но единоприродное человечество, история которого интегрирует в себе истории имманентных исторических компонентов разного иерархического уровня, а именно: отдельных цивилизаций, народов, племен, обществ и индивидов. Существование отдельных историософских компонентов обретает свой смысл в свете той общей цели, в виду которой Творец создал человечество как таковое: "История совершается в пределах творения, она принадлежит "веку сему", находящемуся в преддверии "жизни будущего века". Она имеет начало и конец, с той и другой стороны она обрамлена пропастями: начало граничит с сотворением человека, его вступлением в мир, конец же — с началом нового времени и будущего века. В этом смысле история есть известное *состояние* становящегося бытия".<sup>3</sup>

Такое понимание истории логично вытекает из общей софиологической мировоззренческой концепции о. Сергия, оно созвучно всем тем русским мыслителям, которые являются сторонниками учения о "всеединстве". Это понимание уходит своими корнями к Платону, который, припомним, понимал "единое" не только, как счетную слагаемую, но и как *целое*, интегрирующее в себе все частное и частичное. Именно этой своей идеей завершенности исторического процесса, завершенности, как бы наблюдаемой "sub specie aeternitatis"<sup>4</sup>, о. Сергей отличается от всех историософов-имманентистов, которые рассматривают историю, как бесконечный процесс. Но он отталкивается и от историософов-апокалиптиков, считая, что завершенность исторического процесса предполагает такой момент, когда историческому творчеству человечества будет подведен "родовой итог": "История не может, — пишет о. Сергей Булгаков, — произвольно или случайно оборваться в любой точке, она должна внутренне закончиться, созреть для своего конца"<sup>5</sup>.

3. Прот. С. Булгаков, "Невеста Агнца", стр. 343.

4. "с точки зрения вечности".

5. "Невеста Агнца", стр. 346.

О. Сергей — эсхатологист, но его эсхатология окрашена в космические (в древнем понимании этого слова) тона: "Конец этого мира и его преобразование изображаются (в Св. Писании) одновременно и как действие Божие над миром, и как зрелый плод его жизни, подобно тому, как бабочка вылетает из кокона, или птенец разбивает свою скорлупу"<sup>6</sup>. Свершение истории — явление синергическое. Однако, это историософское уравнение, как каждое уравнение математическое, предполагает неизвестную; в этом случае таким иском является человеческая часть свершения, до времени скрытая его взору: "Человеку самому не дано знать и определять меру этого исполнения и ... поэтому конец неизбежно содержит в себе для человека нечто неожиданное и катастрофичное, как это и свидетельствуется в слове Божиим... Переход мира в иное его состояние, — жизнь будущего века, — не есть момент эволюции самого мира, но творческая в нем катастрофа, однако, она содержит в себе его же исполнение и продолжение"<sup>7</sup>.

Рассматривая судьбу земли и историю живущего на ней человечества как процесс богочеловеческий, о. Сергей удачно синтезирует два основных историософских направления, вернее настроения: *хилиастический* и *эсхатологический*. Оба эти настроения устремляют свой взор к грядущему Царствию Божию, однако, понимание этого царства у них различно. Вот что пишет об этом о. Сергей: "В одном случае история рассматривается, как процесс, ведущий к достижению некоторой предельной, однако, истории еще имманентной и ее силами достигаемой цели, условно назовем это рассмотрение хилиастическим (хилиазм — тысячелетнее царство с торжеством добра на земле и в истории). Хилиастична в этом смысле всякая теория прогресса, как религиозная, так и нерелигиозная: можно говорить не только об иудейском и христианском хилиазме, но и о философском, культурном, социалистическом... В отличие от этого, эсхатология есть "учение о последних вещах", лежащих за пределами не только истории, но и самого этого мира с его

---

6. "Невеста Агнца", стр. 347.

7. Там же, стр. 350.

дискурсивностью, пространством и временем. Мир [должен] обновиться чудесным сверхестественным образом, и тогда, по обычному выражению апокалиптики, этот век (эон) уступит место новому эону”<sup>8</sup>.

В своем чистом, полярном виде оба направления ложны и возведение одного из них в догму является историософской ересью. Как же о. С. Булгаков сам объясняет апокалиптическое пророчество о наступлении перед концом истории “тысячелетнего царства”? Этому предмету он посвящает в своем труде “Апокалипсис Иоанна” особую главу. Его толкование соответственного текста сводится к тому, что это пророчество нельзя принимать дословно, ибо *миллениум* есть некое символическое изображение сверхвременной, а потому и сверхисторической реальности, существующей в любой момент истории во всей своей растяжимости. Общее свершение имманентной истории будет когда-то иметь место, но в любой момент истории каждый человек может включиться в реальность Царствия Божия, которое, по словам Христа, “внутри нас”.

Тысячелетнее царствование Христа с праведниками и соответственную скованность духа зла в течение этого периода о. Сергей понимает как “некоторый временный паралич злой силы, а через это и общее изменение духовной атмосферы, ошущительное явление победной силы добра... В этом смысле в нем нужно видеть предельную победу Царствия Божия на земле, его предварение в истории, как оно было символически предварено в земные дни Христа в царском входе Его в Иерусалим. В таком значении 1000-летнего царства мы имеем богооткровенное осуждение как исторического пессимизма вообще, так и той лжеэсхатологической паники, в которую нередко окрашивается христианская историософия”<sup>9</sup>. И дальше: “1000-летие есть для нас ведущая звезда истории. Его идея есть выражение христианской идеи прогресса, освобожденной от ограниченно-гуманистического понимания. Она свойственна христианскому гуманизму, в отличие от языческого или прямо

---

8. Прот. С. Булгаков, “Апокалиптика и социализм”, стр. 73, 76.

9. “Невеста Агнца”, стр. 366, 368.

антихристианского. Ею обосновывается правомерность истории с ее предельными достижениями в этом мире, более того, она их предполагает и повелевает... Идея миллениума может явиться душой христианского прогресса, движущей силой христианского гуманизма, вдохновением христианского творчества. Возможно, а следовательно, и должно быть историческое творчество во имя Христа и со Христом в борьбе с разрушительными, богоборческими и антихристианскими силами в истории. Этим укрепляется и обосновывается наша вера в историю и чувство ответственности за нее... История включается в общее дело ософии мира в человеке и через человека. Т. о. историософия вводится в софиологию, как ее необходимая часть"<sup>10</sup>.

Если трансцендентальным субъектом истории является все человечество, то ее имманентные исторические деятели суть отдельные народы. "Ни в чем, может быть, тайна и глубинность жизни не обнаруживается с такой силой, как в жизни национальной", — писал о. С. Булгаков. Самое слово *отечество* имеет глубокий смысл, указывающий на родство, на связь родителей с детьми; гений языка указывает ясно на это. О. Сергей считает, что народы создаются их религиями, аналогично тому, как культуры вырастают из культов. Здесь он отмечает закономерность, подмеченную и другими историософами, даже современными не-трансценденталистами. Поэтому для о. Сергея не только русский, но *каждый народ* в потенции — богоносец.

Вопреки всем тем, кто считает, что национальность есть лишь служебная и переходная стадия в общем процессе исторического развития, о. Сергей настаивает на *онтической ценности* нации: "Родовое начало, психея есть для человека непреложный факт его собственной природы, от которой он онтологически не может, а аксиологически не должен освободиться, ибо это значило бы развоплотиться, *перестать быть в своем собственном человеческом чине*. Космополитизм, под предлогом мнимой духовности, есть такая же ложь, как и зоологический интернационал, упраздняющий целостное восприятие психеи

---

10. "Невеста Агнца", стр. 369.

ради одной лишь стороны родового существования, именно классовой, социальной солидарности... Для человека естественно любить свою психею, как род и родину, народ и землю... и потому и должно любить, греховно не любить, ибо это было бы онтологическим уродством, извращением, оскудением"<sup>11</sup>

Любовь к своей нации, будучи одним из высших достоинств человеческой личности, имеет свои границы и не должна, как и ее объект, быть абсолютизирована. "Однако, понятие родины и нации исторически относительно. Оно может расширяться до пределов мировой империи, до общечеловеческого вселенского сознания... но в данном виде оно есть фактическое состояние, исторически обусловленное. Нация все время изменяется, переплавляется, расширяется, суживается, живет в нас... Национальному чувству и его ценностям не принадлежит автономного самодовлеющего бытия, оно должно быть покорено духом — его богоустремленностью. Бог выше нации, и единение в Боге — выше национального единства"<sup>12</sup>. "Инстинкт национальности" есть "некоторое глубинное, мистическое влечение к своему народу... некоторый род эроса, рождающего крылья души..., как нахождение себя с другими, как переживание соборности"<sup>13</sup>.

Если соборность в духе есть Церковь, то соборность в теле есть нация. Но и здесь может возникнуть множество соблазнов и искажений, наподобие того, как в природном мире наряду с нормальностью встречается и патология. Последняя возникает тогда, когда искажается правильность иерархического соотношения, в данном случае — между Церковью и нацией. При абсолютизации народа ему отводится то место, которое принадлежит Церкви, и тогда солидарность граждан становится лжесоборностью; любовь к нации становится нациелатрией, если можно так выразиться, или, попросту, тем, что нам теперь известно под понятием *нацизма*.

При правильном понимании нет противоречия между общечеловеческим и национальным. Но *такое* понимание обуслови-

---

11. "Нация и человечество", стр. 31.

12. Там же, стр. 33-34.

13. "Размышления о национальности", стр. 286.

вается мессианической перспективой: "Единая, сверхнародная, воистину католическая религия Воплощенного Слова обращается ко "всем языкам"... Однако, будучи сверхнародной по своему содержанию, она не остается безнародной по своему усвоению"<sup>14</sup>. Христианская религия обращается к каждой личности, независимо от ее национальности, но каждая личность слышит этот зов прежде всего на языке своей нации.

По аналогии с трехчастным составом человека, в каждой нации можно выделить три начала: разумное, психо-физическое и волевое. Здесь мы имеем в виду, само собой разумеется, аналогии. Поэтому всякая обстоятельная историософия должна включить в объем своих построений и философию государственной воли, т. е. начал власти. Здесь возможны два крайних подхода и один средний, синтетический. В тоталитарных государствах на первый план выдвигается власть правящей партии, воле которой все и вся должно быть подчинено. Это — "партолатрия", "партократия", явление весьма зловещее, с христианской точки зрения. Здесь все сосредоточено в руках диктатора, будь он единичным лицом или же группой лиц. Другая крайняя позиция, занимаемая по отношению к государственной власти, грешит манихейской тенденцией, как мы это находим в трактате епископа Кассиана (Безобразова) "Царство Кесаря перед лицом Нового Завета"<sup>15</sup>. Его рассуждения производят впечатление чисто кабинетных, теоретических, упускающих из виду то обстоятельство, что в жизни совершаются события, не предусмотренные теорией. Так, еп. Кассиан считал, что церковное начало совершенно гетерогенно государственному, а потому и несовместимо с ним. В упомянутом труде он писал, что "на протяжении своего многовекового исторического пути христианская церковь... пыталась привлечь государство на служение Христу, пронизать государственные учреждения светом Христовым, вдохнуть Его дух в государственные формы. Но ни одна из них [попыток] не удалась... Наши предки в XV веке были свидетелями крушения Византии. Третий Рим рухнул на наших

14. "Размышления о национальности", стр. 298.

15. "Возрождение", стр. 49, 50.

глазах. И трагедия России, причина ее падения заключалась прежде всего в том, что она пыталась соединить несоединимое: тоталитарное государство с христианским строем жизни, царство Кесаря с Царством Божиим. Если всякое государство в своей сущности тоталитарно, надо думать, что всякая попытка построить государство на законе Христовом роковым образом обречена на неудачу. Нам не дано соединить несоединимого. Опыт прошлого и познание истинной природы государства не позволяют мечтать о христианской державе на земле”.

В жизни нельзя быть максималистом, но надо всегда находить выход там, где, на первый взгляд, его как будто бы и нет. Если нет надежды на построение совершенного христианского государства, то все же нельзя отказываться от попыток — постоянных попыток — строить, *в меру возможности*, такое христианство. Епископ Кассиан неправ, говоря, что история не знает удачных случаев “симфонии”: такие случаи бывали, хотя и редко. Но ведь и праздник Пасхи бывает всего лишь раз в году! И фаворский свет осиял в свое время Иисуса Христа и его ближайших учеников только на короткое время! Что же касается государственных учреждений, якобы непроницаемых для света Христова, то пример русского пореформенного суда достаточно очевидно опровергает пессимизм автора. Власть есть власть, она существует и в самой Церкви. Отчего же надо одну власть освящать, а другую отдавать “князю мира сего”? Еп. Кассиан был замечательным знатоком Нового Завета, но он не был историософом, и поэтому его заключения грешат пессимизмом и поспешностью выводов.

Иначе к этой проблеме подходит о. Сергей Булгаков. Но сперва — краткий этимологический и семантический экскурс.

Что такое власть? Власть есть способность осуществлять свою волю. Власть есть конкретное применение энергии могущества. Недаром мы Бога называем *владыкой*, как в прекраснейшей христианской молитве Ефрема Сирина: “Господи и Владыко живота моего!” Один из ангельских чинов называется “власти”. Иисус Христос учил “как власть имущий”, а оставляя этот видимый мир, передал Своим ученикам власть “вязать и решать”. Да и о Себе Самом Он сказал: “Дана Мне всякая власть на небе и на земле” (Матф. 28, 18). Подобных примеров можно

было бы привести много больше. Многие отцы Церкви образ и подобие Божие в человеке усматривали, между прочим, в его способности *владычествования* над землей и животным миром. Слово "аутократис" имеет несколько значений, из которых нам интересно выделить следующие: право владения, владение, гарантия, влияние, престиж, значимость, сила, вес, воля, мнение, беспрекословность... Подобные значения имеет и греческое слово "экзусия". Гений английского языка хорошо выразил это понятие в двух словах — "authority" и "power", оттенив в первом случае духовный характер власти, а во втором — физический. Власть есть могущество "ин акту", господство воли и духа над материей, над косностью, она сродни теоретворческой мощи. Власть есть миродержательное начало, если ее рассматривать *sub specie divinitatis*, а в товарном порядке — начало, сохраняющее и охраняющее, слерживающее стихийную хаотичность, которая сама по себе есть начало разрушительное, смешивающее, нивелирующее. Власть есть вид энергии, и нравственная ее оценка зависит от точки приложения. Если хаос — анархия, то власть — чиноначалие.

О. Сергия Булгакова прежде всего интересует мистическая и религиозная сущность власти. Инстинкт власти, — говорит он, — есть орудие Высшей Воли. "Власти, как таковой, — писал он, — неизменно присущ известный религиозный и мистический ореол, который позлащает не только корону наследственного монарха, но и ликторскую секиру республиканского консула"<sup>16</sup>.

Как абсолютное могущество, истинная власть *над всем* принадлежит только Богу, земная же власть есть только некий символ власти божественной. В качестве последней, власть есть нечто *естественное*, тварно-плотское или, вернее, психосоматическое, относительное. В ветхозаветных книгах пророков начало власти называется *звериным*, т. е. животным. Власть — антиномична. "Облеченная в стальные латы государственно-правового строя, [власть неизбежно] ищет своего оправдания в абсолютном: звериное начало власти через человека ищет обожиться, увидеть себя в теократическом свете... Человечество

---

16. Прот. С. Булгаков, "Свет Невечерний", стр. 391.

внутренно не мирится с властью в ее обнаженном виде, с ее жестокостью и бездушием... оно хочет озолотить эротическим ореолом железо власти, ищет в ней уже наличествующих теократических элементов, стремится к сверхправовому оправданию власти и права... Это бессознательное стремление к замене власти эротическим союзом присутствует во многих утопиях государственного строя. Именно об этом, а не о чем другом, вещает Платон в "Политике" когда выставляет в качестве идеала власти правление философов, которые опираются не на меч, а на авторитет своей мудрости и справедливости и сильны своей любовью и желанностью: право и меч упраздняются здесь в гармонии взаимного эротического влечения всех классов. Подобный же сверхправовой и сверхгосударственный идеал лелеяли относительно русского самодержавия наши славянофилы, — и они мечтали о замене железа власти ее эротикой. О том же самом, хотя слепо и глухо, говорят и разные политические мечтатели, в частности, и анархисты"<sup>17</sup>.

Власть и благодать — полюсно противоположные реальности. Власть почивает на принуждении, а благодать — на любви и свободе. В абсолюте, который есть "сочетание противоположностей", власть и благодать тождественны, в товарном же мире — разделены или смешаны. Власть монархов по своей природе ветхозаветна, она еще только ожидает своего новозаветного откровения.

Личное отношение о. Сергия к власти претерпело свою эволюцию. Об этом он много пишет в своих "Автобиографических заметках". Если К.Леонтьеву *тождество православия с самодержавием* казалось основным свойством "русскости", то молодому Булгакову, поддавшемуся современным "интеллигентским" настроениям, такая связь между религией и строем казалась "великим и непреодолимым соблазном, не только политическим, но и религиозным".

"Всю свою молодость, — вспоминает он, — и сознательную жизнь до первой революции я был непримиримым врагом само-

---

17. "Свет Невечерний", стр. 394, 395.

державия, я его ненавидел, презирал, гнушался им, как самым бессмысленным, жестоким пережитком истории. ...Самодержавие — это полиция, жандармы, тюрьма, ссылка, придворные, ни для кого ненужные и неинтересные приемы и парады и убийственная жестокость к русскому народу. Всю гамму интеллигентской непримиримости к самодержавию я изведаль и пережил. В студенчестве я мечтал о цареубийстве (хотя, разумеется, меня начинало трясти уже при мысли об исполнении акта); когда я вступил на путь религии, самодержавие казалось мне главнейшим религиозным врагом, с которым связана основная ложь нашей церковности”<sup>18</sup>.

Будучи деятелем “Союза освобождения”, Булгаков принимал участие в подготовке революции 1905 года. Однако то, что он увидел в этой революции, навсегда отрезвило его. “Я постиг мертвящую сущность революции, по крайней мере, русской, как воинственного безбожия и нигилизма” — писал он, вспоминая первые же впечатления... По закону контраста, вероятно, рождалась в нем *идея священной власти*, как имманентного отблеска трансцендентного, метаисторического явления Царства Божьего. Абстрактные мысли постепенно преображались в личное, полное любви и благоговения отношение к царю, как носителю этой священной власти.

Наблюдаемый им надвигающийся апокалипсис монархической России Булгаков стал переживать, как свой собственный. “Революцию я пережил трагически, как гибель того, что было для меня самым дорогим, сладким, радостным в русской жизни, как гибель любви ... Я любил [уже] Царя, хотел Россию только с Царем, и без Царя Россия была для меня и не Россия”, — пишет он в своих воспоминаниях<sup>19</sup>.

Патриотическо-монархическое чувство Булгакова было уязвлено тем больше, что он наблюдал революционный процесс не только как возрастающую атаку на строй извне, со стороны революционной интеллигенции, но и как воспалительный процесс загнивания строя изнутри.

18. Прот. С. Булгаков, “Автобиографические заметки”, стр. 17.

19. Там же, стр. 73.

”В сущности, агония царского самодержавия продолжалась все царствование Николая II, которое все было сплошным и непрерывным самоубийством самодержавия... Я ничего не мог и не хотел любить, как Царское самодержавие, Царя, как мистическую, священную Государственную власть, и я обречен был видеть, как эта теократия *не удалась* в русской истории и из нее уходит сама, обмирщившись, подменившись и оставляя свое место... интеллигентшине. И теперь только я вижу и понимаю, что эта *неудача* была глубже и радикальнее, чем я ее тогда умел видеть. Самоубийство самодержавия, в котором политические искажения в своевольном деспотизме соединились с мистическими aberrациями в Распутине и даже семейным психозом в царице, *не* имели виновника в Николае II, ни в его семье, которые по своим личным качествам были совершенно не тем, чем их сделал их престол. Это самоубийство было предопределено до его рождения и вступления на престол, — здесь античная трагедия без личной вины, но с трагической судьбой... Николай II с теми силами ума и воли, которые были отпущены, не мог быть лучшим монархом, чем он был: в нем не было злой воли, *но была государственная бездарность и в особенности страшная в монархе черта — прирожденное безволие.* (Курсив мой — Г. Э.). Но разве он сам восхотел престола и от его ли воли зависело то, что он на нем унаследовал? Но такой, каков он был, он мог только губить и Россию, и самодержавие. И добавлю еще: разве не правого он восхотел, когда он, теократический царь, как это он верно и глубоко понял в царском сердце своем (вопреки всем окружающим, хотевшим видеть в нем только политического монарха, самодержавного императора), взывал вдохновения свыше, духа пророчественного, и обрел его... в Распутине”<sup>20</sup>.

Отвергнуть революцию не значило для Булгакова занять ретроградную позицию. Для него одинаково неприемлемой была как ”красная сотня”, так и ее противоположность — ”черная сотня”. А одна вызывала к жизни другую. Таилась еще надежда, выраженная авторами ”Вех”, что можно найти для России

---

20. ”Автобиографические заметки”, стр. 73, 74.

третий путь, средний, внереволюционный, "опираясь на который можно было бы освободить царя от революции... Культурный консерватизм, почвенность, верность преданию, соединяющаяся со способностью к развитию — таково было его задание, которое и на самом деле оказалось бы спасительным в истории, если бы было выполнено". Русские же почвенники "были культурные консерваторы, хранители и чтители священного предания, они были живым отрицанием *нигилизма*, но они не были его преодолением... Их истина была в том, что прошлое *есть* настоящее, но настоящее-то не есть только прошлое, но оно есть и будущее, и притом не только будущее, которое есть выявление прошлого через настоящее в будущем, т. е. *только* прошлое, а будущее, как новое рождение"<sup>21</sup>.

Оставалась еще некоторая надежда на русский парламентаризм, на Думу, но и она рухнула. Булгаков сам был членом Второй Думы, но после четырехмесячного "сидения" в ней, он ушел и оттуда, отряхнув с омерзением ее прах со своих ног. "Нужно было пережить, — вспоминает он, — всю безнадежность, нелепость, невежественность, никчемность этого собрания, в своем убожестве даже не замечавшего этой своей абсолютной непригодности ни для какого дела, утопавшего в бесконечной болтовне, тешившего самые мелкие тщеславные чувства", чтобы навсегда потерять вкус к этой деятельности. В Третью Думу он уже не пошел.

Личности о. Сергия Булгакова была свойственна некоторая экзальтация: так, от ненависти к царю он переходит к безграничной любви, от презрения к благоговению. Такие переходы у него были в жизни и в других отношениях. Но все же, на наш взгляд, в том, что он пишет о царской власти, есть много правды. Все-таки не лишним будет в этой связи поставить некую предостерегающую веху. Даже если мы считаем, что из всех возможных форм государственной власти самая лучшая — это монархия (правовая), мы никогда не должны ее абсолютизировать. Сам факт помазания монарха на царствование еще не

---

22. "Автобиографические заметки", стр. 77. 78.

гарантирует автоматически его безошибочности, ибо даже благодать Божия не насилует воли человеческой, а чудеса совершаются не обязательно тогда, когда мы этого желаем. Как и в каждом человеке, так и в лице монарха софийное начало должно "ологосняться" в индивидуальном, личном порядке.

В цитированном выше тексте о. Сергей упомянул Распутина. Там же он писал по этому поводу: "Это был — *позор*, позор России и царской семьи, и именно как позор переживался всеми любящими царя и ему преданными. И вместе с тем это роковое влияние никак нельзя было ни защищать, ни оправдывать, ибо все чувствовали здесь руку дьявола. *Про себя* я Государя готов был еще больше любить, и теперь вменяю ему *в актив*, что при нем возможен был Распутин, но не такой, какой он был в действительности, но как *постулат* народного святого и пророка при Царе. *Царь взыскал пророка*, говорил я себе не раз, и его ли вина, если, вместо пророка, он встретил хлыста. В этом трагическая слабость нашей Церкви, интеллигенции, чиновничества, всей России. Но что этот Царь в наши сухие и маловерные дни возвысился до этой мечты, смирился до послушания этому "Другу" (как в трагическом ослеплении зовет его Царица), это величественно, это — знаменательно и пророчественно"<sup>22</sup>.

Хотя это нам и неприятно признать, но мы не разделяем этого, на наш взгляд, прельщения о. Сергия. Такая религиозная смиренность, о которой идет речь выше, может вменяться в актив Николаю Александровичу Романову, но не русскому царю Николаю II, ответственному за судьбы всей России. В этом случае мы имеем пример рокового смешения *личных* добродетелей с ответственностью официального лица. Да простит мне читатель следующую аналогию. Если у судьи дома украдено было его пальто, и судья этот простил пойманного воришку, то он поступил как хороший христианин; если же к нему в суд приведут того же воришку за новую кражу у третьего лица и наш судья, во исполнение христианской добродетели всепрощения, отпустит воришку с миром, то он поступит как плохой судья и за

---

22. "Автобиографические заметки", стр. 85.

такое вершение судебных дел его прогонят со стыдом с его судейского поста. Надо знать, когда следует быть кротким, как голубь, а когда — умным, как змий!

Старчество есть благородное явление в православной Церкви. И если бы Царь на богомольи обратился к святому старцу в его пустыне, келье за религиозным или нравственным советом, то в этом проявилось бы его религиозное смирение — христианская добродетель. Однако, взыскание пророка или святого старца в качестве *надворного советника* никак нельзя называть актом благоразумным, ибо старчество не призвано к управлению государством. "Если Распутин — грех, — восклицает о. Сергей Булгаков, — то — всей русской церкви и всей России, но зато и самая мысль о святом старце, *водителя монарха* (курсив мой — Г. Э.) могла родиться только в России, в сердце царевом"<sup>23</sup>. Именно, именно! — добавим горестно.

Миф святого старца "водителя монарха", на наш взгляд, является лжемессианским мифом. Это та же "мистическая аберрация", которую критиковал сам о. Сергей. Вера в возможность удачи такого неестественного, я даже сказал бы — иррационального — эксперимента на троне есть *требование* чуда, прямого промыслительного воздействия со стороны Бога, но... "знамение не дастся" тому, кто его таким образом взывает. Пути Господни неисповедимы: иногда по действию "закона щепки" (Н. Мандельштам) незначительное событие меняет курс течения, иногда же, когда совершается исторический "донный провал" (Солженицын) и туда устремляется водоворотом водная стихия, не помогают и усилия гениальных людей!

Существуют две поговорки, применительные к данному случаю: "Если Бог хочет кого-либо наказать, то отнимает у него разум", и "Кого Бог любит, того и наказывает" (Евр. 12,6). Вот в их свете и следует разгадывать русскую трагедию начала этого века.

Приведем еще несколько высказываний о. Сергия Булгакова о будущем России. В этом отношении о. Сергей был всегда

---

23. Там же.

оптимистом. В самом начале войны, в 1914 г., он писал: "Новая история" кончается, и Запад уже сказал все, что имел сказать. Экс Ориенте люкс! Теперь Россия призвана духовно вести европейские народы, на нее возложена страшная ответственность за духовные судьбы человечества. Но для этого она должна стать духовно свободной... Религиозное пламя, которое зажигается ныне в сердцах людей, не пропадет втуне и не погаснет, ибо на религиозных путях таятся сокровища религиозного духа — религиозно-историческое призвание Св. Руси"<sup>24</sup>.

В 1931 году, сопротивляясь пессимистическим настроениям некоторых эмигрантских кругов, о. Сергей писал: "Что случилось и что происходит с Россией? Мы малодушествуем... пред лицом религиозных гонений, опасаемся, что христианство может быть истреблено. Но может ли упраздниться Христос? Ведь все, что происходит, происходит с Ним и пред Его очами. Ведь не только душа человека по природе — христианка, но и Сам Христос живет в Своем человечестве, которому уже не уйти, не отделиться от Христа. Что происходит сейчас в России? Предательство Иуды, мучение Христа, крестная смерть Его. Но жив Христос в Своем человечестве, ибо Он смертью смертью пограл. И чем глубже смерть, чем непрогляднее ночь, чем безнадежнее тьма, тем ярче в ней засветится свет. Надо умереть всей силой и глубиной смерти, вкусить смерть для того, чтобы ею, в ней и из нее воссиял свет воскресения. И христоубийство в сердцах и душах в России таит воскресение Христово. Оно ныне и происходит, в России воскресает Христос"<sup>25</sup>.

А в 1941 г., уже подходя к концу своей земной жизни, о. Сергей пророчествовал: "Нам неведомы конкретные судьбы России, вместе с временами и сроками их свершений, но явные уже и теперь духовные плоды его; небывалые испытания имеют дать и небывалые достижения через углубление веры и новые откровения жизни... Русский народ имеет великое религиозное призвание явить силу и глубину Православия в творчестве и в жизни, в осуществлении откровений, столь тяжелым путем добы-

---

24. "Родине" — "Утро России". Август 1914 г.

25. Прот. С. Булгаков, "Иуда Искариот", II, стр. 41.

тых. Но уже сами эти судьбы его — свидетельство об особой его избранности... В этом смысле Россия есть энтеллехия мировой истории, ее подлинная "ось", и это всегда знала русская душа. Это сознание завешано нам из прошлого и коренится в ее глубинах и его не может в ней угасить ни сатанизм большевизма, ни горе эмиграции. Россия воскреснет и воскресает, и сие буди, буди"<sup>26</sup>. Аминь!

*Игумен Геннадий Эйкалович*

## СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

### ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ●

Не так давно я получил от кн. С. Г. Трубецкого копии писем к нему проф. Клагенфуртского университета А. В. Исаченко, которые поясняют историю находок в Бродянах, владении баронов Фризенгоф.

Проф. Исаченко, посетивший замок Бродяны вскоре после окончания войны, получил от Анны Бергер, бывшей камеристки дочери Александры Николаевны (герцогини Ольденбургской) часть сохранившихся материалов. Одну партию материалов он передал в Словацкий Национальный музей, а большую часть отослал Правлению Союза Писателей в Москву, о чем появилась заметка в 1947 г. в "Литературной газете". Исаченко продолжал интересоваться дальнейшей судьбой материалов, попавших в СССР. Так, в письме кн. С. Г. Трубецкому от 28 февраля 1978 г. он высказывает тревогу, что ему не удалось получить сведения, "куда же делись большие портреты (писанные маслом), альбомы и пр. Ничего из материалов не выставлено публично, а есть что показывать... Меня возмущает, что о Бродянах и связанных с этим материалах сейчас пишут, не ссылаясь на мои находки, не упоминая их пропажи. Теперь о Бродянах стал писать некто Раевский, увезенный из Праги Сов. Армией. Но он только видел часть вещей, а мне удалось их "выщарапать".

---

26. "Иуда Искариот", II, стр. 41.

В этом же письме Исаченко упоминает о том, что Анна Бергер принесла кольцо, которым когда-то владела Александра Николаевна, а потом ее дочь, Наталия Густавовна Ольденбургская, подарившая его А. Бергер: "Она просила его сохранить для Вари (дочери Исаченко). Кольцо (узкое, ношеное свыше 100 лет) было украшено невзрачной бирюзой. Так как оно сломалось, пришлось отдавать его в починку. А теперь Варвара говорит, что там не бирюза, а изумруд. Вот чудеса!".

Проф. Исаченко только упоминает имя Н. Раевского, но, как можно судить, ему была известна книга "Когда заговорят портреты", изданная в Алма-Ате в 1965 г. Вторая большая работа Раевского — "Портреты заговорили", — изданная в 1976 г., по-видимому, Исаченко не была известна. А в ней имя Исаченко называется и есть ссылки на его работы, на первое упоминание о Бродянах.

Раевский в статье "В замке А. Н. Фризенгоф-Гончаровой" (Пушкин, *Исследования и материалы*, т. IV, М.-Л., 1962, стр. 391-392), цитированной в "Портреты заговорили" (стр. 402-403), где он привел русский перевод выдержек из писем Густава Фризенгофа брату, как бы задает Исаченко вопрос, откуда тот располагает сведениями о том, что Н. Н. Пушкина-Гончарова встречалась с убийцей Пушкина Дантесом в Бродянах?

В письме к кн. С. Г. Трубецкому от 28 февраля 1978 г. Исаченко выражает сожаление, что его сведения приводятся с ошибками (цитирую): "Весь материал, найденный и приобретенный мною в Бродянах, трактуется почему-то всеми новыми авторами с рядом досаднейших фактических ошибок (вплоть до того, что пишут Геккерн вместо Гекерн, как писали раньше). Анна Ахматова, писавшая о Пушкине перед смертью, только понаслышке знала о "чешских материалах". А ведь для русского не безразлично, что Гекерн два или три раза гостил в Бродянах у своей бель-сёр, что у меня имеется его визитная карточка и в усадьбе был найден его портрет".

Второе добавление, которое я хочу сделать — о перстнях Пушкина, которые экспонировались в 1880 г. на Пушкинской выставке в Москве и в Петербурге. Помимо перстня-талисмана, переданного И. Тургеневым, был выставлен перстень с большим изумрудом, находившийся у наследников В. Даля, которому он достался после смерти Пушкина. Для выставки его передала дочь Даля, О. В. Демидова. На выставке экспонировалось еще одно кольцо с маленькой бирюзой, которое принадлежало Пушкину, было им пожертвовано для лотореи,

устроенной в доме генерала Раевского и выиграно дочерью генерала кн. М. Н. Волконской. Ее внук, кн. С. М. Волконский, подарил его Пушкинскому Дому.

Четвертый перстень Пушкина — золотой с бирюзой, который виден на портретах поэта кисти Тропинина и Мозера, был снят с мертвой руки его товарищем и секундантом К. К. Данзасом. В конце 1850-х гг. Данзас, снимая с руки перчатку, обронил перстень, который никогда не был разыскан.

Один из перстней Пушкина сохранился у его потомков. Сын поэта, А. А. Пушкин (1833-1914) при жизни не расставался с печаткой отца из дымчатого топаза. Перстень унаследовала его дочь, Анна Пушкина (1866-1919), по словам которой, "это подарок поэту Марии Николаевны Волконской, сделанный незадолго до отъезда ее к мужу, С. Г. Волконскому в Сибирь. На печатке выгравировано латинским шрифтом "А. Р." (Александр Пушкин). Сейчас печатка — собственность праправнука поэта, Сергея Борисовича Пушкина.

Среди нынешних экспонатов Всесоюзного музея Пушкина в Пушкине (быв. Царское село) находится два кольца друга поэта по лицу, И. И. Пушина, сделанные из железа его кандалов с внутренней облицовкой одно из золота, другое из серебра. Здесь же экспонируется золотой перстень с сердоликовым камнем (а не с бирюзой, как было сказано выше, на основании сообщения Гаевского о выставке 1880 г., см. "Вестник Европы", 1888, 2, с. 534), полученный от Волконских. Может быть вопрос идет о двух разных перстнях?

В. Гаевский принимал участие в создании пушкинской выставки 1880 г., видел и держал в руках перстень Волконских. Перстень закаталогизирован в выставочном проспекте и нет сомнений, что к последним владельцам он перешел от Пушкина. А вот кольцо с сердоликовым камнем иного происхождения, и в каталоге Всесоюзного музея А. С. Пушкина его дарителями считаются Волконские, что может быть и ошибочно.

И последнее. Почему Исаченко не ответили, как в Советском Союзе распорядились полученным от него архивом из Бродяж, почему распылили, передав часть альбомов, документов и вещей в Институт Русской Литературы (Пушкинский Дом), тогда как некоторые портреты выставлены во Всесоюзном Музее А. С. Пушкина, некоторые угодили в запасники, а кое-что исчезло? Не все бродяжские портреты заговорили в книге Н. Раевского. Раевский приводит снимки с портретов Александры

Николаевны Гончаровой-Фризенгоф в молодости, портрет первой жены барона Густава Фризенгофа, Наталии Ивановны (Ивановой), а также литографию с большого портрета Ксавье де Местр. Эти портреты А. В. Исаченко передал в Братиславский Национальный музей, а в музее сейчас находятся лишь копии. В ранее цитированном письме он писал: "...часть материалов была мною оставлена под расписку (и при свидетелях) Словацкому национальному музею в Братиславе. Наверняка там имеются снимки некоторых объектов, но я сомневаюсь, чтобы оригиналы там хранились. На запрос моего французского коллеги проф. Лермит, дирекция музея прислала снимки, большинство которых было помечено трогательнейшей надписью (по-французски): оригинал не существует".

По сообщению Раевского, в рукописном отделе Пушкинского Дома значится 26 единиц (объектов) хранения. В их числе письма Густава Фризенгофа и его невесты, впоследствии жены, Александры Николаевны, урожденной Гончаровой, ее письма к свояку, брату мужа, черновики писем супругов Фризенгоф к Ивану Николаевичу Гончарову, брату Александры. Упоминаются стихотворные опыты Александры Николаевны, сделанные в пожилом возрасте. Вероятно, к находкам Исаченко относятся и два альбома со снимками, сделанными в Бродянах и с фотографиями бродянских и венских знакомых Фризенгофов 50-60-х годов.

Как было известно и ранее, никаких пушкинских писем найдено не было. Из реликвий, как-то связанных с Пушкиным, имеется только декабристское кольцо, переданное дочери Исаченко, племяннице кн. С. Г. Трубецкого, проживающей в Вене Варваре Александровне Кумельт-Леддильн.

*А. Иванов*

---

Ввиду повышения цен по изданию и рассылке "Нового Журнала" редакция вынуждена повысить продажную цену на журнал.

С 1984 года годовая подписка на "Новый Журнал" — 30 долларов за четыре книги. Цена одной книги — 9 долларов. Во Франции за четыре книги — 140 франков. За одну книгу — 40 франков.

---

# Н О В Ы Й Ж У Р Н А Л

под редакцией

РОМАНА ГУЛЯ  
и  
Е. Л. МАГЕРОВСКОГО



В 1983 году выйдут ЧЕТЫРЕ КНИГИ



Подписная цена на 1983 год 24 доллара  
(за 4 книги)

Цена одной книги — 7 долларов  
Во Франции — 30 франков



ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ  
«НОВОГО ЖУРНАЛА»

THE NEW REVIEW, 2700 BROADWAY  
NEW YORK, N.Y. 10025

Телефон редакции и конторы 666-1692

Прием по делам редакции и конторы — по понедельникам и сре-  
дам, от 10-ти до 12-ти час дня

---